

3-81

ЛЕОНАРД
ЗОЛОТАРЕВ

Шриокская

Проза

КОРМИЛЬЦЫ



Орловский писатель Леонард Золотарев родился в Воронеже, но с малых лет живет и трудится на Орловщине. Учительствовал в школах Малоархангельского района. Работал в газетах «Орловский комсомолец», «Орловская правда».

Произведения Л. Золотарева публиковались в московских журналах и газетах, в Приокском издательстве, издательстве «Современник». Читателю известны его книги «Берестяные песни», «Костровый пояс», «Мед из подснежников», «Перепелиное поле», «Шептун-трава».





ЛЕОНАРД
ЗОЛОТАРЕВ

КОРМИЛЬЦЫ

РОМАН

А 37512

КРАСНОЕ
2009

Орловская областная
БИБЛИОТЕКА
им. Н. К. КРУДСКОЙ

ТУЛА
ПРИОКСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

Рецензенты:

В. М. Катапов, А. С. Логвицов, члены СП СССР,
А. И. Овчаренко

Художник И. МАТВЕЕВА

Золотарев Л. М.

381 Кормильцы. Роман. Тула: Приок. кп. изд-во,
1986.—352 с., ил.

В пер. 1 р. 60 к. 30 000 экз.

Новая книга писателя-орловца Леонарда Золотарева — это исследование важнейших проблем современности, связанных с деревней, человеческих отношений в борьбе за справедливость, за высокую нравственность. Это история жизни Егора Тиганова, утверждение его как молодого специалиста, укрепление его семьи в новых для нее условиях, где лирические, драматические эпизоды соседствуют с философским осмыслением современной, весьма непростой действительности.

Р2

70802—68
3 _____ резерв 86 г. 4702010200
М154(03)—86

*Ой, ты, степь широкая,
Степь раздольная.
Ой, да ты не стой, не стой
На горе крутой.*

Народная песня.

* * *

Поехал Святогор путем-дорогою широкою, и по пути встретился ему прохожий. Говорит Святогор-богатырь:

— Да кто ж ты есть такой, как тебя зовут?

— Я Микулушка Селянинович.

— И что у тебя в сумочке?

— А вот подыми с земли, так увидишь.

Сошел Святогор с добра коня, захватил сумочку рукою — не смог и пошевелить; стал вздывать обеими руками — по колено в земле угрыз.

Говорит богатырь таковы слова:

— И что это у тебя в сумочку наложено? Силы мне не занимать стать, а и сдвинуть сумочку не могу.

— В сумочке у меня тяга земная.

Былина.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

И одному он дал пять талаптов, другому два, иному один, каждому по его силе.

Из книги времен.

I.

В мелкой знобящей дрожи колотит в спину дюраль самолетной обшивки, деревенские бабы напротив, прямо как из божницы, с темными, одинаково одеревенелыми лицами, до груди угибаются над холщовыми сумками с бидонами: сели только что на промежуточном, едут в город, везут туда молочко. Егор Тиганов охватил взглядом всех троих, как сфотографировал.

«Кукурузник» ухнул в воздушную яму, и бабы напротив еще цепче схватились за свои бидоны. Одна из них, ахнув, остреньким голоском прохватила все помещение:

— Мамочки, ой, омоччиллассся-я-я!

— Дык это, товарк... молоко,— зыркнула под ноги соседка в коротенькой, явно с чужого плеча куртке-«болонь».

— А я про что? — натянула на грудь полу такой же короткой, но еще более изношенной «болонь» товарка.— И я про то ж... Не вишь, понче все перепуталось.

Засмеясь вместе со всеми, Егор осекся под взглядом своей жены Мили. Она сидела серьезная, важная, справа от него с белым свертком — грудным Устинчиком, вторым сыном; первый — Ивашка — остался в городе с бабкой — матерью Мили, Еленой Ивановной.

Егор прилип к иллюминатору: ах, земля, земля-матушка, вековая, всегдашняя, сколько всего на тебе! Вон от Малоархангельска до деревни Старое Горохово — и по сю пору видать «липию», бывшую «чугунку», «цареву дорогу», по волнистой хребтине которой совершали набеги на Русь еще крымчаки-басурманы; ступи на землю, обдуваемую ветрами и как бы заговоренную от грязи,—

как вольготно идется, отрадно представить, что плеснешь вправо кружку воды — стечёт она в конце концов в окское русло, после в Волгу, седой Каспий, плеснешь влево — в Сосну, Тихий Дон, Черное море. И еще отрадней припомнить, что именно этой дорогой по пути на Кавказ проезжал когда-то сам Пушкин... И по ней же в девятнадцатом году проскакали конники Олека Дундича в тыл денкинской армии. В сорок третьем наши провезли пушки, из которых, отбив танковую напасть врага, тут же, под Гремячим, те, что остались в живых, ударили в воздух на радостях — самый первый салют на Орловско-Курской дуге... Да вот же вдоль железной дороги воронки от бомб и траншеи и по земле шрапнелью окопы...

Над длинной сипью Оки самолет качнуло: какие ветра летят по створу реки, аж сизым от натиска ярого воздуха делается крыло. А по земле все холмы Средне-Русской возвышенности, суходолы, лески-перелески, все поля да поля, — красновато-гречишные, серо-пыльные ржаные, пшеничные, а воп то, как промыта, желтовато-зеленая колорадская пристань — картофельное поле. Эх да хлебшко ты наш насущный, и бывое и думы! И как ведь разграфлено все, расчерчено и вредписано, что кому делать, кому куда двигаться: как в кино, по дорогам ползут жуками машины. Повсюду глуховато-зеленые пятна: без крыш — следы отошедших деревенок; пятна, какие повеселее — с крышами, но без дымов, а еще веселее — с крышами и дымами; и под каждой крышей, какой бы она ни была, свое счастье, своя судьба. И неожиданно Егор почувствовал себя песчинкой где-нибудь на берегу речки Чистюньки и возмутился этим...

Он влился в иллюминатор: да вот же, там, внизу, и Тигановка — его родовая деревня, всего-то почка на испещренном городами, дорогами, стройками матером, обихоженном древе земли. Ишь, какая она под крылом: словно бабушкина лепешка — желтовато-прожарена (дело ведь к осени), пресная, в рубчик от садов и борозд в огородах, так вся аккуратна, непривычна сверху... Ох, да вон же — глядите! — и дом Егоров, родной корень, султан по-над крышей — мамой готовится угощенье. И что обидно — куснул бы лепешку-то, сел бы туда, за дедову хату, на серенький, выбитый копытами выгон, хотя бы на парашюте, а приходится мимо, в Алатырь до аэродрома.

И уже на отлете Егор углядел Арендный лес, всю

излуку речки, Тигановку к ней подковой и у самой Чистюньки, в тонком местечке, брошенный трактор. Торчит — Егор знает — с весны, рождая у тигановцев обильные пересуды: аи какой новый проект по преобразованию, какой новый подход к мелиорации в районе? Э, да мало ли горячих головушек перебивало в Алатыре: одни — сады сводили, другие — кок-сагыз разводили, так все чередом и шло...

Егор ощущал в кармане письмо, оно прямо-таки жгло сквозь материю алой полоской авиаконверта, в который отец запечатал его для верности: «...так что приезжай, сын, домой. Собираю весь род наш тигановский, всех дядек и теток своих увидишь, и мы на вас с Милей и внучатами поглядим. Живут в деревне сейчас скрозь хорошо, все есть, гусей и овечку зарежем, праздник устроим на всю Тигановку, пусть все глядят на Тигановых, какая у нас кругом общая такая семья. А Кузьке, брату твоему, стукнет как раз восемнадцать. Это ничего, что он у нас такой, а ты умный, он тебе все ж таки брат. И еще все вместе, советом, будем решать, что с дедовой хатой делать, а то уже валится... Твой отец Трофим Петрович Тиганов».

За отцовою подписью шла приписка, мама приписала, должно быть, украдкой: «Сыночек ты мой стопроцентный и ты, моя дочечка Миля, привезите внучека меньшенького хоть на погляд, Устинчика нашего ненаглядного. А отец пьет нет спасу, что-то надо решать. Ваша мама Усти»... И хвостик слова размыт, словно каплей.

Родичи съедутся в Тигановку, собирается весь их тигановский род: дядька Северин из Ленинграда, дядя Миша из Подмосковья, тетя Надюша — откуда и они с Милей, тетка Варвара тут близко, в соседней деревне. Все живут и работают, небезденежны, так чего не приехать в родную деревню, на корень, не свидеться? Северин домчится до Алатыря быстрее, чем они с Милей доберутся отсюда до Тигановки. Егор попробовал перебрать по лицам всех своих дядек и теток, но, кроме дядьки Северина, этакого былинного богатыря, в подробностях не припоминался никто. Второе поколение Тигановых, двоюродные Егора, еще учатся или работают на простых работах: у Тигановых испокон веков нет привычки гнаться за образованием, Тигановы предпочитают всему скорейшую денежную полезность, и только он, Егор, один у них такой, с институтом. Работает там же, где и учился.

Уже в Алатыре Егор зашел за угол автобусной станции, пыль опресняла рот, потоком по асфальту катили автомашины. Он вспомнил, что не так давно в этом городе, который на пару лет даже старше Москвы, не было и квадратного метра асфальта, и, взглянув на пузатенькую старушку-церквушку поблизости и бок о бок с ней современный девятиэтажник, этим, однако, не воодушевился: он слишком хорошо знал, что такое транспорт в Алатыре. Космос можно расчертить и исследовать, город протянуть до самой Тигановки, а транспорт местный — это тебе не космос, даже не девятиэтажники алатырские, это то, что уму пока непостижимо, никто в Алатыре еще не осознал, что такое здесь дороги и транспорт.

Приписка мамина выпимала всю душу. В ожидании оболешевского автобуса Егор усадил жену с Устинчиком в сквере на лавочку, извлек портативный магнитофон, тешии подарок, включил его и, смежив веки, тут же услышал, как бормочет у них в Тигановке за валуном речка Чистюпка, так шершава, так жестоко остра осока на Щукином перекате за валуном. Егор даже погладил мизинец левой рукой — белую ниточку прама, и далекая, еще детская боль на мизинце отдалась сюда, в грудь, ломящей, ни с чем не сравнимой тревогой: о маме, отце, о семье, что сейчас тут с ним, на автостанции, а частично там, в городе, где остался пятилетний Ивашка с Милипой матерью.

Вслед за пустой дедовой хатой перед глазами тут же возникла их однокомнатная, по сути дела, каморка, где ютятся они все вместе не первый год, а семья растет, и никаких надежд на расширение жилья. Даже доценты в их сельхозинституте, и те ждут очереди по несколько лет, а что говорить о каком-то лаборанте с кафедры органической химии. Но разве Миля хочет что-нибудь понимать, женщина есть женщина, а ты молодой, сильный мужчина, и это семья твоя, тебе и искать возможные варианты. А жить в однокомнатной, да еще в примаках — туда не ступи, то не возьми, — немислимо. Как это ухитрится втиснуть в такой пенал столько людей, на ночь раскладушку теща выносит на кухню, а ведь там, извините, газ.

А автобус не подавали; не возвратился из рейса. Надо было бы отбить отцу телеграммку перед отъездом, не отбил — все мальчишество, в голове ветер. Егор подтолк-

нул коленкой пузатый рюкзак, в нем лежал подарок Кузьке, выдавшие виды джинсы, фирменные, когда-то были вполне ничего, с тиснением на кожаном ромбе чуть выше кармана. Представилось, как Кузька запрыгает, хлопает руками, заверещит что-то на невнятном, тарбарском своем языке, скинет через голову свою рубаху и так же через голову напялит штормовку — его, Егоркин, подарок, и будет вприпрыжку носиться по улице — от их двора до Корсаковой Тоськи, попадая под горячую руку то к одному, то к другому дядьке, то снова к нему, Егору, все будет колотить себя в грудь кулаком...

Сколько сил стоило Егору уговорить жену ехать: Миля боялась до ужаса деревенских клопов; когда теща напомнила перед отъездом о каком-то случае, аллергические пятна пошли по Милиным рукам — от кистей по самые локти...

Тр-рр-р-р! Заскочил за спину мотоцикл, Егор оглянулся: из-за плеча рыжего мотоциклиста полоснули по нему два уголька. Сердце екнуло; смотрели внутрь его самого два блестящих, смеющихся глаза. Стешка!

Мотоцикл рвануло вперед, Стешка ту же обхватила рыжего парня, и тут же что-то порхнуло с ее плеч и, распластавшись, опустилось на куст колючей акации — белый платок с черной шелковой бахромой. Егор подержал платок на ладони и опустил осторожно в карман.

II.

Кузька встречал их у березовой посадки. Еще издали, завидев «Жигули», он отчаянно замотал руками, заметался, запрыгал, а когда вышли из машины, все порывался нести сверток с Устинчиком, но Миля Устинчика никому не доверила.

Эту посадку Егор любил, называл ее «Светлым березовым ходом». Выйдет, бывало, еще студентом, из облепешевского автобуса, пока спустится отлогой заростью к своему концу Тигановки, глядишь, кепку грибов и насшибает; завалится в дом: на-ка, баб, вари суп. И сейчас ему захотелось показать жене эти свои полкилометра. Он шел, поддерживая Милю с Устинчиком, а сам нет-нет да скашивал глаз то под пенышек, то за лопушок, то толкал носком комель подгнившей ольхи. Кузька забегал вперед, ласкался к нему, все говорил, лопотал о чем-то своем, захлебываясь от восторга. Егор разучился понимать Кузь-

ку, его горловые, несвязные звуки, одно было ясно: Кузька рад приезду гостей, празднику ради него, благодарен Егору.

Гости уже приехали, но пока разбрелись: кто на речку Чистюньку, кто в сад-огород; дядя Миша пошел в Кимочкин березняк проверить по старой памяти подобабки, дядя Северин приглядывался за хатой к отцовскому пчельнику. Сам отец еще не явился с поля, он теперь работал на тракторе. Сообщив все это, бабка Галя — мамина мать — тут же и сама куда-то исчезла. Егор вышел на середку двора и огляделся: пчелиные колоды, кормушки для гусей и кур, деревянное корыто для свиней, навес овечкам на главном месте, сеновальный сарай в полдвора, под крапом у самой завалинки грязи выше колеса. «Ну, дела, — огорчился Егор. — И газ вам нате, и электричество нате — в сарай, в подпол, даже на печку, а... Не-ет, ребенка сюда на лето нельзя, не-воз-можно!» И тут же заметил, что двор вообще-то метен, дом свежепобелен салатно-палевой краской. «Все же ждали, готовились», — отмякло у него сердце, и он любопытничал, заглянул за овечью сарайку, где слышался людской говорок.

Дядя Северин примостился на малюсенькой скамеечке, с какой доят корову, и беседовал с бабкой Галей. Егор за язычок ее недолюбливал, на глаза старался попадаться пореже, обходил стороной. Сидя на корточках, бабка Галя чистила картошку в полированный двухведерный чугуn.

— Садись, милай, — ткнула она в табуретку своим черным, истресканным пальцем. — Видал, что отец твой творяет, гляди, — мотнула она ножом на колею — тракторный след по двору. — Пахарь наш, вон как землю ворочает... Кувыркнулся отец с машины, ссадили его, дали скорость поменьше, и правдычка. На тракторе не враз разгонишься, кости будут целее... Как сцепится со Стюшей, так давай опосля трактором туды-сюды, туды-сюды, землю рыть. Я, говорит, отроду всем героям герой, только вы мне, бабы, жисть окоротили. Кабы не вы тут все, я бы, может, в городе жил, был бы бо-ольшим человеком, как вон старшой Северин или хотя бы как меньший Мишка. Надо было мне людей слухаться, не жениться на Стюшке, потому род у вас такой порченный. Братец был на голову слаб, дед и вовсе в больнице закончился... Где ж это, говорю я ему, ты остался тут из-за нас? Стюшка

первенького, Егорку-то, родила тебе стопроцентного. Что на разум, что на погляд. Экий, гляди-тко, литой, красавец, весь в мать. А что с Кузькой вышло, так это уж ты, отец, сатана, пил. Пьяным его и сотворил. Вот теперь свой крест и неси, да нас, баб, дьявол смоляной, не виновать. А ты, говорю, когда брал мою дочку, все пороги обил, добивался, а теперь во что ее превратил?..

Только бабка Галя собралась пагнать в голос дрожи, а в глаза влаги, как по шиферу сарайки кто-то заколотил шустрыми пятками.

— Куда тебя, идол? — вскинулась бабка.

Но Кузька уже перебрался с крыши на нижний сук разлатой, в полдвора липы и, как кошка, потащил наверх черный чемодан со змеистым шнуром.

— Купили в городе ему эту забаву, а пехай крутит, — уже как-то мягче глядела бабка Галя на старую липу, склонясь над чугуном.

«Мать тоже была молодой, — смотрел Егор на вековую липу. — Пела песни, кого-то ждала, на что-то надеялась, и вот оно все позади»... Хлопнули дверью — вздрогнул Егор: молодой женский голос выговаривал слова:

— Листья желтые нам под ноги ложатся,
И от этого не спрятаться, не скрыться...

«И эта женщина, что поет, чем-то так похожа на маму, но еще молода, без морщин, и потому уже не мама, а Стешка — в белом платке с черной бахромой. И откуда в ней эти слова, эти порывы звуков?..»

А Кузьку бесило от музыки, он хлопал себя по бокам, посылся по двору, вопил что-то свое песуразное, размахивая руками, как петушиными крыльями. Куры, спасаясь, с кудахтаньем подлезали под овечью сарайку, забивались в плетушки, деревянные бочки, под лопухи. «Кыгы-кыгы-кыгы», — стараясь понять что-то во всей этой заварушке, тянули из себя головы гордые, бестолковые гуси. Кузька показывал Егору на липу и прицокивал языком, разводил руками вокруг во всю ширь, и Егор начинал понимать его: пусть нас слышат окрест все поселки, деревни, пусть все знают — в Тигановке сегодня праздник, гуляют Тигановы, праздник нынче у них, у Тигановых.

Мимо Егора тяжело, видно, со взятком летели пчелы с июльских полей за сарайку, где выверенные в ряды,

стояли на колышках улья — отцова пасека. И липа слушала их, шелестела.

Вот бабка Галя унесла в подоле очищенные картошки — не вошли в двухведерный чугунок. Вот за курицей разогнался рыжий разбойный петух. И мама с Милей вынесли Устинчика на воздух в голубом, не знакомом Егору, костюмчике — ну, конечно, мамин подарок.

Мама ходила по двору, тетешкала Устинчика — счастливая и молодая.

— Гляди, хозяин, гляди, — наклоняла она его то над курицей, то над поросенком.

Гусь поднял голову и загоготал, и Устинчик заплакал, а все засмеялись. Смеялась и Миля. И Кузька подбежал к ним и гладил Милю рукой по плечу, Устинчика по голубому костюмчику, и Устинчик таращился на него темными своими глазами-черешенками.

— А мы не боимся его, мы не боимся, — ворковала Миля, заслоняя собой ребенка от Кузьки.

— А чего нам бояться, — улыбалась Устинья, — чего бояться его? Он хороший, Кузька-то, он хороший.

Кузька следил за мамиными губами, за лицом ее, за всеобщим движением, и лицо его умягчалось, добрело, он толкал себя пальцем в грудь, в новый свой, шевиотовый, темно-синий пиджак и повторял, улыбаясь:

— Эяа... ххогго... ффый...

И летело по округе известие, что праздник в Тигановке сегодня, к деревенским Тигановым — Трошке и Устюше — съехались городские, и надумали же повод: восемнадцать лет Кузьке, ну да, Кузьке, кому же еще.

Гости начали подтягиваться к Трофимову дому — с Щукина переката, из сада-огорода, из Кимочкиного березняка. Шли вразряжку, с лентой, в размышлениях: вон как оно стало здесь — гулко, зарощенно; колодчик за Афонькиной хатой па что, думалось, вечный, с живой водой, да и тот просел, завалился.

Первым к крыльцу подошел Северин — обширный такой, всем довольный, и Кузька кинулся к дядьке, Северин протянул ему пучок земляники, но Кузька поймал его руку и, взыв, приложился к ней мокрой бледной щекой.

Северин прошел в хату, а Кузька убежал к березняку искать дядю Мишу, а Егору досталось встречать старшую из отцовых сестер — тетку Варвару с мужем. Романов был председателем соседнего сельсовета, даже родня ве-

личала его по фамилии, при этом он всегда выделял ударение: не Рома́нов, а Романов, Романовы — это те, что были и сплыли, а нам, мол, еще жить да жить. Тетка Варвара тоже не любила, когда ее называли просто Варюша: она была на центральной усадьбе завмагом.

И вот их темно-вишневый «Москвич» колыхнулся в колее, выбитой отцовым трактором, чихнул и затих. Остальную часть двора Романовы степенно одолевали пешком. Тетка Варвара плыла в своем длинном парчово-серебряном платье, с короной из высоко уложенной на затылке косы, хотя и без того была выше своего Романо-ва. Сам Романов, обычно держась подальше от жены, сейчас шел от нее по правую руку, по левую — держался Егор, а впереди, попав врасплох, до самой веранды бежала и кыгыкала гусыня. Перед порожками тетка Варвара сунула Егору «презент» — тонкую, в листик, пачечку чая.

С этого края деревни уже кучковался народ. Проходили мимо бабы вроде так, невзначай: кто с фартуком травы, кто загонял гусят — во какой крюк — аж со Щукина переката. Косясь на Трофимовы окна своим неукрощен-по алкающим взглядом, дед Колчак катил середкой улицы колесо от комбайна. Устинья приглашала на вечер всех своих деревенских: и этих, кто на глаза попадался, и тех, к кому сама сходила, позвала-поклонилась.

А пацаны вокруг так и шмыгали — босота; те, какие постарше, стояли поодаль, спокойнее; женихи с девками проносились мимо на мотоциклах. Многих Егор уже не узнавал — вытянулись за лето, где же узнать, а иных и вовсе не знал — поналетели отовсюду на технике, как осы на сладкое.

— Кыш отседова, брысь, — незло, так, для порядка, отгоняла их бабка Галя.

Егор заглянул на веранду. Стол был заставлен чашками, тарелками, мисками. Да, пришлось покрутиться маме с бабусей, сколько всего — на целую армию. Истекая желтеющим жиром, гусиные ноги торчали из гусятницы, как зенитки. Куриное мясо изорвано, рассовано по мелким тарелкам. А индюшка лежала особо, что тебе в бомбоубежище, в бездонной, прижаренной, хоть саму ешь, аппетитной посудине. Мама как раз разбирала говяжий холодец, птичий уже покоился в зеленой эмалированной чашке весь в налое рыжего жира, как какой-нибудь пруд в зазимок, лишь подрагивая при близком шаге. Мама со-

гнала муху с индюшки, набросила рушник и обернулась к Егору: худенькая, острые хрупкие плечи... Наконец-то вдвоем без стороннего глаза...

— Егорка! — сделала она невольное движение к сыну и, поберегши ладони, выставила локти вперед.

Егор глотнул воздуха и, чувствуя, как застит что-то глаза, шагнул, как на солнце, в теплые мамины руки.

— Егорушка, Егорка! — только и молвила она, дрожа в руках у него своим маленьким, худеньким тельцем.

— Что с отцом? — отстранился он, наконец.

— Ничего с отцом, ничего, — говорила она, а сама смотрела лишь на него, на него лишь смотрела, и никого больше не было для нее, никого, кроме их двоих, и того, что было и есть между ними, что будет...

А Трофим все не являлся. Устинье надоело объяснять каждому, что сегодня у них там либо получка, либо премия, а сама и не верила этому, а поверив, еще пуще боялась, кабы и впрямь не заявился домой, как обычно с получки. И Егор боялся за мать, за то, что было устойчиво, кажется, всю его жизнь, а сейчас стало зыбким. Со смутой в мыслях ступал он за порог отчего дома. Его удивила необычная чистота и порядок уже в передней и дальше, из комнаты в комнату. Как просторно тут, как хорошо! Ремонт, видно, был сделан недавно. Правда, мама что-то писала ему, даже просила достать обои, но он не придал этому особого значения, и вот теперь видел, родители со всем справились сами.

— Это вот кто, — качнулась Устинья к тетушке Надюше, та листала какую-то, наверно, еще его, Егорову, книжку. — Все она, ей спасибочки, мастерица.

Тетушка Надюша проживала в том же городе, что и Егор, работала маляром в каком-то стройтресте, жила со своим мужем-прапорщиком давно, но детей не имела и потому весь свой пыл отдавала Трофимову дому, ухлопав на его ремонт прошлым летом половину отпуска. Надюша ни в чем никому не умела отказывать, тем более брату, Трофиму, чей дом после смерти отца считала своим, корневым.

Мужики слонялись по веранде, по дому, по всему подворью, не зная, куда деть себя.

Северин с Варварой бродили по огороду, в одной руке он носил за ней ведро с огурцами — веселенькие такие, дружные ребята, в другой — решето садовой земляники — ну крупна, ну красна-распрекрасна ядреная ягода, — и

был непривычно для себя возбужден: падо же, все живое, все свеженькое, все само на стол просится. Он уже отвык от земли и потому каждую грядку с луком, каждую делянку с помидорами или огурцами воспринимал как-то по-новому, радостно, даже немного завидовал Трошке.

Огород у Трошки был и в самом деле хорош, чище, пожалуй, всех в Тигановке. И откуда знать было Северину, что это бабка Галя елозит круглое лето по грядкам коленками, воюя день-деньской с вражьим отродьем: щирцей да чистотелом, гулявником да ползучим пыреем, с разнокайнным осотом. Ну Устюша еще кой-когда забежит сюда прямо с фермы.

— И огород у него в норме, и дом в порядке, — заметил старшей сестре Северин. — Значит, он мужик еще ничего, не потерял.

— Сделал выводы, — оборвала его Варвара и качнула короной. — Что ты петришь в этом, интеллигент?

Весь тон Варварин, особо последнее слово уязвили Северина: ну, живет в городе, так при чем здесь «интеллигент»? Ведь знает же, как убыл отсюда — по орнабору еще в конце войны в рваных штанах, так и везет свое в Ленинграде в общей рабочей упряжке, теперь кадровый рабочий, прошагал от фэзэушника до токаря высшей квалификации. Да вот он, неопровержимый факт — ладонь, как грабарка, не ладонь — экскаватор, только чуткая, говорят, с электроникой в пальцах, кожа в синей метизной, насмерть въевшейся пыли.

Огородная стежка кончилась, и Варвара потянулась к калитке, Северин едва успел заметить: «Ишь, царица, молчит», — как тут же мысль его перешла опять на среднего брата Трофима. Уже без обиды, спокойнее Северин стал обмозговывать сказанное Варварой, вспоминать свои кое-какие прежние выводы, какие он сам сумел сделать из редких, ничего не выражавших Устюшиных писем.

Незаметно братья и сестры подтянулись к дому с одним желанием: не пора ли за стол? Все на кухне давно простывало.

— Трофима нет? — заглядывала Варвара в глубину дома.

— Да где ж ему, нет, — спикла сразу Устинья, поджидая, что дальше-то скажут.

— Небось, уж нажрался где-то, — охотно отозвалась

бабка Галя с веранды,— да за куст, лиходея, трактором зацепился.

После этого гости еще отчаяннее стали ждать Трофима-хозяина, а хозяин все не появлялся. Разговор не клеился, наконец, Варвара не выдержала и провозгласила, что дело к вечеру, что-то стало, дорогие мои, холодать. После этого все потянулись к веранде, стали заходить в дом.

— Н-да, живете тут... как министры... пылесос, цветной телевизор,— кивнул Михаил в красный угол.— Не у каждого в городе, точно.

— Так работаем! Сам — на тракторе, я — на ферме, все на деньгах,— тихо сказала Устинья.— Приезжали бы почаще, а то сто лет не видались. Приезжали бы, а?

И тут Северин подал идею перенести застолье на тот край деревни, в общий их, отчий дом, к деду Петраке. И свободнее, не заставлено мебелью, и, главное, горница вдвое больше Трофимовой. Таилась у него при этом такая мыслишка: лишить Трофима фактора своего поля; если возникнет вдруг разговор, действовать как бы на нейтральной полосе, и в то же время иметь за спиной поддержку родительских стен. Вначале у Устиньи даже руки отвалились: что ж мы, право, не разместимся, что ли, куда идти со своего двора, таскаться с едой и посудой, а потом согласилась — к деду на корень так к деду, ладно, после меньше грязи возить за всеми. И потом оттянется время, может, все же дождемся Трофима.

Михаил вытащил из кармана брелок (запасной лежал в «Жигулях» у него) и, помотав на пальце, смехом-смехом сунул Кузьке этот брелок — голову сфинкса — со словами; мол, если Кузька — мужчина, то пора мужчине иметь и машину. Все это вышло как-то неловко, нехорошо. Тут подскочила Надюша — вечная примирительница — и вручила имениннику японскую куртку с молниями. И все оживились, задвигались. Никто не заметил, как Кузька улетел из дому в своей новой куртке и кто-то из тех ребят, что крутились возле дома, увлекли его подальше, на тот край деревни, к корневой тигановской хате, где уже с того лета, как не стало деда Петраки, а еще раньше бабки Агаши, не жила ни одна живая душа.

III.

Для начала пошли в отчий дом с пустыми руками, в разведку. С порога Егора кольнули злые, острые бусин-

ки. «Кыш, стервы!» — топнул он с омерзением. Из подпола шибало спертым духом из крысиного помета и давногого, едва уловимого, кислого запаха поросычьей мешанки, идущего из-за печки, где были навалены деревянные корытца, чугушки и лоханки. Егор шагнул в горницу и остановился: все лишнее было отсюда вынесено, и так все гулко теперь, просторно, не то, что в городе у них в однокомнатной. И в глазах Егора вдруг закололо, защемило в груди.

Дед Петрака выделывал этот дом, как сундук, вершил дело свое основательно, ладно. Каждая копейка тратилась им с приглядкой, толково, каждый гвоздь или банка краски шли с экономией. Когда умерла его старая — бабка Агаша, дед решил, что тоже зажился, пора уходить туда, к бабке. А пожил маленько — стал оттягивать срок, должно же что-то в жизни людской измениться, дети вернутся сюда, откуда ушли, нельзя швырять на ветер то, что добыто трудами. Прошвыряешься, недолго пойти и с сумой...

Егор заглянул в спальню — потолочный угол к окну почернел, штукатурка упала, обнажила голую дранку. Через сенцы Егор вышел во двор, а когда возвратился, дядьки и тетки, эти взрослые люди, словно став на время снова детьми, уже носились из комнаты в комнату, лезли на печку, сбивали с потолка паутину, хватали друг дружку за шиворот и смеялись там, где не было причины смеяться, и чуть не плакали там, где можно было молчать. И Егор завелся, стал носиться по дому вместе со всеми, хвататься то за одно, то за другое дело, и было ему хорошо, так естественно просто, без всяких задних мыслей и стесненности чувств, как никогда, пожалуй, во все его последние годы там, в городе.

— За воду, за тряпки! — командовала тетушка Варвара и первой гремела ведром за печкой.

Егор попробовал представить ее помоложе, ничего не вышло, как-то не получалось, так и стояла перед глазами серьезная, властная женщина с короной из тяжелых медных волос на затылке.

Он взялся налаживать свет во дворе, отыскал лестницу, почерневшую от дождей, с большими прогалами, полез к фонарю на столбе. Он был уж на самом верху, как гнилье под ним затрещало, хрястнуло; пересчитав хребтиной остальные проножки, Егор очутился на спине, в густой, лесистой крапиве. «Хорошо, не на камни», —

было первое, что пришло ему в голову. Лежал и соображал, цел ли, не искалечен; вроде бы цел, рука движется, спина разгибается, значит, будем жить и работать, а остальное приложится. Ну, а падая вот так, по крайней мере познаешь вес, свое тело, притяжение земли — тоже опыт. И все же поташнивало, на душе было смутно, как ряска в прудовой воде, покачивалось среди всего дурное предчувствие, что с ним может что-то случиться тут в будущем... Но ничего, ничего. Сейчас дом обживется, наполнится жизнью, голосами, теплом. Вот он, дедов корень, сбил в кучку всех их — Петраково потомство, а пу как вовсе не станет его, что тогда?

— Ой, глядите что, гляньте! Отец и мама, — подняла Надюша старую фотографию, отирала ее осторожно ладонью, очищала от паутины, от пыли.

То была их главная семейная фотография. Всегда висела в красном углу, а теперь валялась в мусоре, и крысы иссекли зубами ей бок в бахрому. И все смотрели на нее: отец и мама были еще молодыми, моложе, чем даже Надюша сейчас. И каждый, глядя на отца-матерь, думал о себе, своей жизни, о том, что уже прошло и что еще будет...

Надюша смахнула с дощатого поставца обильную пыль, приладила фотографию на свое законное место. Под родительским окном спокойнее думалось, спорее работалось, нет-нет да и взглянешь в красный угол, изловишь родительский взгляд и крепче чувствуешь себя, помоложе.

Северин стал помогать Егору. Прежде всего заменил в лестнице гнилые проножки, а уж после взялся за фонарь на столбе, за электропроводку. После этого они опять-таки начали перетаскивать в сарай махотки, лоханки. Варвара как плеснула из ведра по метёному Надюшей полу, как взялась скрести топором всякую закаленную печисть, а после как размахнулась на полкомнаты тряпкой, так половицы под ней ходуном и заходили.

— Ты у нас, как бульдозер, — топтался возле жены Романов.

Вот так когда-то они дружно делали все дела. И мама хлопотала над ними паседкой и когда только спала: то разбирала вóлпу на валенки, пряла шерсть на носочки-вязёнки, то чинила ношеное-переношенное, и оно, это латаное, переходило от старшего к младшему, носилось до блеска на локтях, в коленках, до дыр. После Победы,

когда даже те, кто задержался, повозвращались к себе в разоренную деревушку, отец все еще служил с топором и пилой где-то в лесах под Москвой, строил, кому следует, дачи. А когда его, наконец, отпустили, заявился домой с медалью, и был, всем помнится, праздник: вместо осточертевших «тошпотиков» из мерзлой, подбираемой в поле картошки, целый месяц мама пекла ржачной хлеб из муки, которую выдал семье, по случаю возвращения солдата, колхоз...

И дом на глазах преображался. Чистые, выскобленные лавки вытянулись вдоль стены, крашеные полы заблестели при электрическом свете: Варвара добавила в воду уксуса, когда мыла их начисто. Надюша разбросала по подоконникам венчики из полыни, наломанной тут же, под окнами, и теперь в хате стоял ее сладковато-першистый устойчивый запах.

Сгрудились к плите, как к чему-то живому. Красноватый отблеск сближал стены спальни, подрагивал на каждой морщинке, играл каждой подсвеченной прядкой.

В печи пыхнуло, молочный дым низом пополз от за-слонки, заклубился, потек в чистую комнату.

— Камень,— подумал вслух Северин.— Кто-то в трубу бросил. Или, может, подточило дождем.

А Трофима все не было.

Сильные, говорят, сами строят себе судьбу. Он, Северин, первым из Петраковых ребят подался в город искать себе места. Как понал туда, удивился: в городе, оказывается, всегда праздник, всегда люди в кино и на улицах. Значит, хлеб зарабатывать легче. Конечно, встречались и свои, деревенские, так издали было видать их — с мешками за спиной, «парашютисты». На городских жещин оглядывался по молодости: неужто так каждый день одеваются, красятся-чепурятся, сколько же на все это надо времени, денег? Пригляделся к домам: мать честная, с поясами, с фигурами, один камень — гранит или мрамор — стоит, может, дороже самого дома, а сам дом подороже всей их Тигановки. Сперва Северин ужаснулся, а после стало обидно за себя, за своих земляков, за свою деревушку. Это уж после, когда постоял у станка, пожил в городе, подступила мысль, что, стало быть, это так надо, должны же куда-то сбиваться материальные ценности, людские таланты, чтобы показать миру умение и величие народа.

Между тем Михаил незаметно исчез и сейчас держал путь в одно, ему известное, место по одному очень нужному делу. Перед глазами его стояла живо картина, происшедшая недавно там, где он жил, на соседней улице у лотошника перед магазином «Дары океана». «А тулово, чушка где?» — допытывались любознательные, окидывая рыбину с острого рыла по отсутствующий, но легко представляемый хвост. — «А там схекали, — показывал продавец в сторону ресторана. — Дети и инвалиды».

Михаил сейчас шел к домику на отшибе, в ракитах, Фоме Фомичу, прозванному за свой оптимизм Мажором. Много странного было в нем для своих деревенских. Например, его неискоренимая любовь ко всем тем, кто с «портфелями», она жила в нем с рождения и причиняла ему одно беспокойство. Сперва списывали все это на какие-никакие грешки, у кого их, простите, пожалуйста, нет, а после поняли, что он — человек все же честный, а это он так, из принципа. «Ты бы ранги различал, что ли, — поучал его председатель. — Кому чего можно, а то на всю катушку каждому без разбору! Должностей па тебя не папасешься». Дело в том, что, когда Фомич был кладовщиком, отпускал мясо каким-то «пешкам» из райсельхозуправления. Когда стал учетчиком, наливал, кому попадя, бензин. И тут же все разглашал, выславлял каждого со словами: человеку верить надо и в человека. Тьфу, ты, господи, — с таким только свяжись — балабон балабоном, оптимист несчастный, одно слово — Мажор.

Когда в колхозе ему уже не хватило работы, Фома Фомич перешел в рыбнадзор. Сейчас служил в лесной охране, но по старой памяти обслуживал рыбой директора школы и пока что про это умалчивал: дети есть дети, цветы нашей жизни...

Михаил заявился во двор к Фоме Фомичу, когда тот чинил бредень. Мотал туда-сюда деревянной иглой; ну и дырища, бугай колхозный пролезет.

— Здорово тебе, хозяин, — присел Михаил на бревнышко и кивнул, обрадовавшись отчего-то дыре. — Ну и рыло! С таким рылом не то, что стерлядь, — танк немецкий насквозь пройдет.

— Танк не танк, — прерывал шитье огорченный хозяин, — а вот на корягу нарвался... вроде видел, а не угадаю. Из чьих таких, а? — явно хитрил Мажор.

— Своих не узпасшь, — вытягивал Михаил левую но-

гу, чтобы достать сигареты.— Деда Тиганова, Петра Кузьмича, сын.

— Мишка? — загорелся Фома Фомич взглядом.

— Михаил.

И Мажор опять погас, надолго склонился над бреднем. «Офонарел, что ли?» — сидел, злился Михаил на его, мягко сказать, педеликатность.

Михаил бывал в Тигановке нечасто, в последний раз приезжал лет пяток назад и, конечно, не мог знать до тонкости каждого, тем более уследить за всеми их изменениями. Одно заставляло его быть сейчас сдержанным: свежая рыбка. Едва приехал — достал. И сюда к общему столу, и туда к себе, в город. Ему нравилось само действие — доставать. Что-то кому-то устраивать, юлой вертеться, быть у всех на виду. Не все обязательно из-за навара, себя уважаешь — и люди тебя уважают... Приезжал как-то зимой к нему на своем «мерседесе» ученый, молодой еще, а уже академик, член-корр. За ручку, по имени-отчеству с ним. Не могу, говорит, найти вот эту вот... износилась... хреновинку. Вас порекомендовали, вы невозможное можете. Ну, в доску, конечно, расшибся. Через третье лицо на пятое, через пятого на девятого. «А этот... злодей.. сидит, цену себе набивает,— смотрел Михаил в упор на Фому Фомича, пытаюсь раскусить его, нащупать пружинку.— Это факт, это точно. Если бы не было дефицита, его бы надо было создать. А иначе как людьми вертеть, и, с другой стороны, что человеку живому делать?»

— Приехал к вам специально... проинспектировать,— все еще ершась, сказал Михаил.— В общем, как тут у вас в речке со свеженькой рыбкой?

— Со свеженькой? — удивился Мажор, кольнув Михаила глазами.— А откуда?

— Что откуда? Из Москвы! — взял Михаил тоном повыше, столичнее.

— Откуда, говорю, быть ей, свеженькой,— начинало уже заводить, подгрывать Фому Фомича,— когда вода в речке тухлая? — И отложил бредень в сторону, посмотрел на Михаила теперь уже прямо и сквозь.— Значит, это... проинспектировать?

— Н-ну! — теперь уже, гордясь, как-то,— сказал Михаил.

— А по какой, извиняюсь, линии? — не сморгнул Фома Фомич.

— Ну, скажем, по линии автотранспорта. На первый случай удовлетворяет?

И Мажор ожил, затрепетал, так и взыграло в нем ретивое от ясности факта стоящего и факта, если мозгой крутануть, как динамкой, ему фактически противостоящего. Полюс южный и полюс северный, а посерединке контроль, а контроль есть контроль, это надо, а как же; перед ним, этим контролем, шапку ломают все. А между тем рыбка плавает по дну, не взирая на путевые знаки, и какая жизнь у нее, одинокой и склизлой, если все у нее только в одном экземпляре, без запчастей.

— Да, какая? Вот именно! Так что же мы тут сидим,— в конце концов спохватился Мажор.— Пройдем, что ли, в горницу... Все работаем, ползаем на пузе, живем на износ — вот какой изумительный случай.

В горнице было прохладно и сумеречно: окна занавешены одеялками. Хозяин сбегал в погреб и принес отварного мучного квасу. Сидел и смотрел, как гость осушает бадейку. Михаил цедил сквозь зубы,пил маленькими глоточками, соображая, как и куда плыть дальше.

— Сказали, кличку уже другую тебе пришпандорили — Стреляный,— попробовал Михаил пошутить, сам вчера услышал про это возле магазина.

— Во черти, ха-ха,— трепыхнулся Фома Фомич и опять сидел молча, уставясь в гостя.

— Стреляный Воробей — вот так, если полностью.

— Воробей? А за что? — удивился Фома Фомич и пересел поплотнее, на табуретку.

— Вот именно,— пожал Михаил плечами.— За что?

— А за мою любовь к живому миру,— соскочил Мажор с табуретки.— В борьбе с кажным нехорошим человеком,— понятно? — И голос его пересекся, щека дернулась.— Попервах был ягненок, доверчивый,— облизнул он сухие губы.— Все хотелось кажному угодить, особо — понятно кому? Вот как вы...

— А-а, какое там,— махнул, отпуская струну, Михаил.— Ты думаешь, если я из Москвы, так сразу тебе...

— Все хотелось всем угодить,— Мажор начинал впадать в откровенность.— На хорошее, думал, ответят хорошим. Опосля увидал: попади в переплет — кажный в кусты, не достучишься. Руки заняты, он же за креслице держится... Ну, я и решил, это уж когда с кладовщиков соскочил,— тут Мажору и вовсе развязало язык,—

буду действовать не словами, а делом. Знаю слабинку: у бригадира — самогопочка, у завтехника — пасчет баб, доярочек любит, так вроде бы чем могу — подмогу, а потом разнесу по народу. Людям что — развлечение, а председатель грозит: ишь, стихия, напелся какой народный контроль.

— Ну, а Стреляный?

— Воробей-то? Х-хи-и. Это уж года три тому, это уж... и неловко рассказывать.

— Ну и не рассказывай.

— Да нет уж, раз начал... Года три тому состоял я в госрыбнадзоре. — Хозяин испытывал к гостю все больше доверия. — И вот понаехало, как сейчас помню, машин — ужас сколько. У нас тут, вы знаете, приписное хозяйство, как раз на дикую гуску сезон открывался. Вижу: люди, по всему видать, сурьезные, крупные, хучь и в спортивных костюмах. Беспощадный народ. Взяли они, стало быть, ружьишки да бережком, по петле, по излучке. Расставились на номерах, хлоп — раз, хлоп — другой. Гляжу: ни одной гуски перед ними, как корова языком слизала. Мне с Лысого бугра все видать: все они пристыли к этому берегу, а гуска, умница ты моя, спасаючись, вмиг через перемышку и за спиной у них уже плавает, кормится.

Охотнички постояли-постояли, делать нечего, да и начали двигаться вверх по Кнубрю, в обратную сторону. А особо от них, вижу, мужик держится — такой видный, краснощекый — бо-ольшой, видать, человек, вылитый генерал. «Ну, — думаю, — одному хитрость гускину видеть не интересно, дай ему покажу». Я с бугра сквозь ивняк да к нему. Подошел по всем правилам, наклонился, стало быть, поманил за собой. Двинули мы вдвоем через протоку на тот бок петли, показал я ему старицы, а по старицам птица прячется, жметесь в тростник. «Вот, — говорю ему, — живая тактика. А вон там, — показываю на охотников, стоят сюда к нам спиной, — мертвая, понимаешь, стратегия». Засмеялся он, схватился за ружье и давай палить в белый свет, как в копеечку. Палил-палил, начал сердиться: то ружье ему виповато, то я... Гуски мечутся, а не улетают, жалко стало мне их, а тут, на грех, слышу, где-то блеет коза. Должно, с Кулижек, с ближнего хуторка. У меня и возникни мысль, чтобы его увести подальше. Привязал я к ольхе козу и к нему: тут, мол, близко дикие козы. Навострил он ухо: верно, козий

голос. А та, гляжу, отвязалась да бежать. Я за ней, ухватил веревку, и тут, слышу, ружье как жахнет — повалился, лежу. Живой, думаю, ай уже не живой? Штаны ощущаю, в штанах ощущаю — живой. Подлетел ко мне генерал: «Ты чего, испугался?» — «Да нет, — говорю, а сам зуб на зуб не попаду, — мне, — говорю, — не впервой, я, — говорю, — это... сытыррелянный выырабей»... Рассказал тут одному, и пошло-покатило: Стреляный Воробей да Стреляный. Ты, говорят, ему специально козу держал, пз подхалимажа... Хуже всего, что и генерал-то оказался не генералом, а прапорщиком. Только видом важный да седина генеральская...

Когда увольняли из госрыбнадзора, тут же в приписное хозяйство позвали: ты, говорят, человек незаурядный, стихийный, можно сказать, героический, лично бросился под ружье, а животный мир спас... И теперь я в приписном егерем, е-ге-рем, а не в госрыбнадзоре, понял меня?

— Понял, — сказал Михаил и продолжал смотреть в рот Мажору: сколько наплел. Как в бредне бьется, ищет дырку, куда бы вышмыгнуть, по у нас виляй — не виляй, не таковские.

— Я теперь все, не взирая, в открытую, — отвернулся Фома Фомич и смотрел вниз себе, на кирзовые тапки. — Так и режу, если что, правду-матку. Недавно соль велели на лосиные ходки вывезти, а транспорта нет. Я к главному лесничему, мы с ним в одном классе учились, это Петька Добарин с Кулижек. «Мы с тобой, говорю, скоро будем, как на маневрах. По глазам прямо». Эх, как он затопчет. «Элемент! — кричит. — Можешь искать себе новое место!» Накричать накричал, а машину выделил... Так вот мы тут и живем.

«Э, куда разговор увел, — теперь уже откровенно разглядывал Михаил Фому Фомича. — И водит, и водит, как стерлядь по дну. Но у меня, брат, не сорвешься, у меня мертво».

— Знаешь, зачем я пришел? — ахнул прямо в лоб ему Михаил.

— Знаю-знаю, — сказал тот спокойно: — Насчет свежей рыбки. — И уже резал из-под низких бровей: — Золотая рыбка, триста рубликов хвост, соображаешь?

— А это? — кивнул Михаил на бикредень.

— Это? — усмехнулся хозяин. — Это на птичек.

— Н-на птичек? — изумился Михаил, даже опешил. — На каких птичек?

— Какие в поле, — сказал Фома Фомич уже совершенно спокойно. — На перепелов.

— Ты даешь! — отпрянул от него Михаил. — С такой карной на перепелов?!

— Божья тварь — ни в почете, ни на учете. А рыбка с рыбопитомника триста рубликов хвост.

— Да ты не бойся меня, не бойсь.

— А чего мне бояться, что ты мне исделасшь?

— А вот можно исделать, — передразнил Михаил Мажора, уже взведенный, как самострел. — Да пока не хочу.

— Не исделаешь, — отвернулся Фома Фомич и зевнул намеренно. — Кишка тонка.

«Ну ладно, стервец, — вскипело все в Михаиле. — Сейчас ты у меня завертишься. Как блоха на стекле, как пескарь на сковородке. Людоблиз, подхалим, генеральский козел... Сейчас мы ис-де-лаем тебе сальто-мортале, деревня».

— Ну вот что, — поднялся Михаил, для солидности подтягивая штаны. — Пошутили, и отваливай. Я бы, конечно, сразу сказал тебе, кто я и что я сюда и зачем, но воздерживаюсь, — Михаил Тиганов поставил голос подтверже. — Но воздерживаюсь! Я не от себя, я — оттуда, — поднял вверх Михаил указательный палец. — Я оттуда, вам ясно? Сигналы есть.

— Как не ясно, — засуетился хозяин для виду, а внутри стоял, как скала.

— Так по письменному сигналу-то! — от нажима на голос даже в ухе у Михаила защекотало. И была после этого пауза.

— А директору школы можно? — как-то отчаянно, слишком уж по-мальчишески вырвалось у Михаила.

И это, как ни странно, подействовало. Фоме Фомичу стало вдруг не по себе, но успокаивало то, что противник сразу выдал ценные сведения.

— У директора своя голова, у меня своя, — сказал он уклончиво.

— Эх, дядя, — похлопал Михаил по спине Фому Фомича. — Век прожил, а не знаешь элементарного: от народа что-нибудь разве укроешь? Народ — он все видит, ему все известно... Кому еще поставляете свежую рыбку? Только не опускайте глаза, смотрите прямо.

— А я и смотрю.

— А еще, еще факты?! Все равно выясним.

— Ну, словил сома на Адамовой протоке,— смотрел Фома Фомич хмуровато на Михаила.— Поднял лодку сельхозтехниковскую, затопили тут на Кнубре. Так я уже признавался. И бабке про козу рассказал все, как было.

— То-то, стреляный-непристреленный, — был доволен собой Михаил.— Знаешь присказку? Начальство критиковать, что львицу целовать: страху много, а толку ма-а-ло.

Вот и все. Плод явно созрел, и он должен упасть.

— Подождите чуток,— сказал уже мягко Фома Фомич и нырнул в хату.— Вот,— вышел он через минуту с газетным свертком.— Тут все. Из холодильника, берегли для себя... Хорошая, очень даже вкусная штука.

Михаил отвернул газету: рыба щерила на него свою пасть.

— Ну что ж, спасибо, родина тебя не забудет,— тряс Михаил жестковатую, костистую руку Фомы Фомича.— Будешь там у нас в наших краях — заходи... Кулачковый вал, скажем, на сто тысяч пробега, износился, а где взять?..

И уже, выходя со двора, вернулся и взял хозяина за пуговичку на горле, сказал доверительно:

— Ма-аленький винтик, а большое дело делает,— де-фи-цит!

— Я вас понял, я вас понял,— провожал его за калитку Фома Фомич.

В такт его торопким шагам рыба качала-раскачивала под мышкой вялым, гибким хвостом. «Стерлядинка молодая, несклизлая... Сюрприз, привет главному инженеру с моей малой родины». Сырая газета поползла в стороны — глазам Михаила предстали серо-прозрачные, мороженые до заледенелости тушки — хек. Кровь бросилась в лицо Михаилу, он развернулся назад.

— А где этот друг народа?! — вбежал он во двор домика под ракетами и бросился к белобрысому мальчугану лет двенадцати.

— Чей друг? — отступил тот на шаг.

— Ну дядька твой, дядька.

— Пошел в Арендный, браконьеры там.

— На,— сунул Михаил сверток мальчишке.

«Ну артист, ну чертяка!» — кинулся Михаил к тростникам, надеясь еще увидеть, хоть издали, бурый пид-

жак Мажора. «Ну пройда, стерляжья твоя голова!» Держась за грудь, присел осторожно на кочку: «Покою нам пет, все мечемся. То одно давай, то — другое. А стерлядь уже, как ящерица, отбросила хвост, и остались лишь головы, и съедены, выходит, хвосты. А мы все гопяемся, а ловим... иифаркт».

— Вот и я,— появился, наконец, Михаил на пороге отчего дома и сбросил с плеча перед сестрами и перед братом мешок, из дырки которого выпали и покатались картофелины.

— Добытчик, однако,— обрадовался Северин.— Где взял?

— Да тут... в подвале,— опустил глаза Михаил.— Тут ее — гибель. Прошлогодняя, но вполне мир-ровая.

Возможность, как в детстве, отведать деликатеса — печеной картошки, воодушевила каждого из Тигановых.

Полегоньку плита занялась, разгорелась. Все вместе смотрели, как по жару перебежали, лохматились сишие газовые огоньки; каждый ждал, что, когда Северин начнет выкатывать на пол шершавые, угольно-бархатные кругляши, то первому выкатит непременно ему, почему — не понять, но ему обязательно. Все из прошлого так приблизилось, так стало явственно, как вчера было, будто и не было между всем, что ушло и что есть, стольких лет жизни, стольких наполненных лет.

Из одного конца деревни в другой, мимо глаз людских, мимо окон, где нет-нет да и расплущится чей-либо интересующийся нос, пытаясь по запаху из кастрюль и ведерок угадать, чем там нынче собираются потчевать, засновали — от Трофима до деда Петраки — Тигановы. Кузька первым сволок туда свой черный ящик, пристроил на дедовой крыше, и мягкие вдохи и выдохи молодого женского голоса пошли на кошачьих лапах бродить по деревушке, по ее единственной улочке, по бурьяну выше пояса.

Устинья псла в чаше подливу, чутко ставила ногу, боясь расплескать, остальные тащили в ведрах мясо, квасы и картошку.

— Не сказала Трофиму, комбайном, что ли, сбил бы бурьян,— обернулась она к Северину.

— Как комбайном? — замедлил тот шаг.

— А так, — откликнулась бодро Устинья. — Видал, травица? Мы теперь сено на улице косим.

Сама песня, молодой женский голос словно стекали с вянущих, уже предосенних раки, сладко толкались в душу Егора, и было смутно как-то, тревожно, и тревога росла. Мелькнула улицей все на той же красно-серебряной «Яве» Стешка, но уже сама, без того рыжекудрого. Егор ждал, когда она промчится со Щукина брода обратно, по мотоцикла все не было. Белый платок с черной бахромой жег карман ему, что-то иссиня-голубое, как то давнее Стешкино платье, стелилось перед глазами, перекрывало весь белый свет.

Впервые он встретился с ней в сельхозтехникуме, это рядом с их институтом, на вечере, и они оказались земляками. Правда, она из деревни чуть дальше по тракту — из Оболеншевой, а десятилетку кончала ту же, что и Егор, только позже, была пятью годами моложе, и Егор не мог ее помнить. Она была тогда в этом платье, и Егор сказал, что к ее смолистым волосам и смуглому цвету лица более подошел бы, пожалуй, цвет посильнее — ну, скажем, пупцовый. «И почему ты такая... цыганка?» — спросил он ее, провожая. — «А я и в самом деле цыганка, — взглянула она на него, заметно волнуясь. — Меня моя мама подобрала в разбитой цыганской кибитке. Но мне об этом ни слова... Все знают, кроме, как она думает, меня, ее дочки». После Егор женился на Миле, а Стешка бросила техникум и уехала к себе в Оболеншево, стала, как он слышал, на ферме дояркой.

Над столом хлопотали все, и стол получился на славу. «Не хуже, чем в городе», — тихо радовалась Устинья. Она выставила из-под рушника редкой огромности, прямо-таки великосемейный торт с нежно перевитой цифрой «18», доставленный сюда (ну, конечно же, Севериным) прямо с Невского, из Ленинграда. Тут же, на виду, гуртовалось и все Михайлово: на тарелочках порезана толенько колбаса, во всю тарелищу разлегся желтоватомраморным лаптем севрюжий балык. Михаил был у себя в Подмосковье автомехаником и, ясное дело, подрабатывал ремонтом частных машин. — «Да что далось тебе городское. Вот где царский стол — это да!» — повел Северип ручищей по всему, что было выставлено Устиньей

на главном столе, что поджидало своего часу на соседних, подсобных столиках, по всем этим клубникам, салатам в бордовых редисках, в зеленых луковых перьях, по всем этим изжелта-солнечным холодцам, суховато-белоснежной курятине и истекающей рыжим соком баранине, нежно-розовой, в бурую корку, индюшке, обложенной целиковой картошечкой, печеными яблоками, в подливе и соусе, которые друг перед другом шинели, шкварчали, потрескивали, выжимали у каждого в этом застолье слюну, нагоняли каждому аппетит.

Устинья чутко прислушивалась ко всему за окном, но трактор, на котором Трофим приезжал обычно с поля домой, голоса не подавал, и Трофима все не было.

Еда простывала, в сковородках уже не шкварчало, не трескалось, жирное начинало мутнеть, подергиваться пленкой. И тогда все как-то само собой получилось: братья и сестры присели к столу, дай пока посидим-потолкуем, глядь — и Трофим подъедет, и свои деревенские начнут подходить. Слева от Устиньи сидел виновник торжества — ее младший сын Кузька, по правую руку — ее «сто-процентный» Егор; Устинья красовалась как раз посередке, между сыновьями, счастливая и молодая.

Незаметно начали есть, выпивать без особых тостов, просто раз чокнулись за приезд, за хозяев — закусили. Разговор сразу же пересек ту черту первоначальной неловкости, за которой у каждого в общей линии открывается своя линия, свой интерес. Речь шла о корне, об отчем доме, конкретно об этой вот дедовой хате. И это, как понял Егор, было только предлогом, чтобы показать друг другу, кто что имеет и чего кто достиг.

После смерти бабки Агаши дед Петрака жил у себя, как в скиту, сам варил себе, сам себя и обстирывал. Раз в год Трофим завозил ему на зиму топливо да так еще заглядывал иной раз ненароком; только Кузька бегал к деду частенько, отнесет то горячей картошечки, то парного молочка. Кузьку дед принимал хорошо, может, даже любил внука, кто его, такого сурового, знает. Все у Трофима думали, что дед Петрака подпишет свою хату Кузьке, но тот либо не доверил корневище богом обиженному человеку, либо не успел составить завещание, сам не доплелся до сельсовета, а Трофима впутывать не захотел. Так и осталась усадьба ничейной. Предстояло решить, что с дедовой хатой делать.

Затеяв сегодняшний праздник, деревенские Тигановы

хотели показать городским, что живут они хорошо, ни в чем не нуждаются, неужто городские беднее, совесть ляжет на бросовый дом, тем более что в подвале у деда уже хранится Трофимова картошка, а в сарайке крихтит Трофимов подсвинок.

— Н-да,— сказал, думая о своем, Северин,— без порток мы когда-то тут... окна в старой хате — помнишь, Варь? — в землю ушли... А теперь не хата — дворец, а жить некому.

— Дворец этот мы все воздвигали,— живо откликнулась Варвара, качнув жгутом на затылке.— Кто, бывало, краску шлет, кто гвоздей, а кто деньгами... Продать этот дворец и на всех, без обиды.

— Да кто его купит-то, кому покупать? — сказала покорно Устинья и вышла в другую комнату.

— На слом купят,— бросил ей вслед Северин.

— Ну нет уж! — так и подскочил на диванчике, весь заалевшись, Егор.— Это же наш корень, единственное на земле родное такое местечко.

— Стало быть, пускай гниет, валится? — отвернулся к окну Северин.— Пускай все прахом возьмется?

— Кузька вон подрастает,— подала голос из другой комнаты Устинья.— Кузьке в дедовой хате и жить.

— Это все-таки общий наш корень,— решительно положил на стол руку свою Северин.— Все и будем решать.

— Без Трофима-то погодили бы,— шумнула с веранды бабка Галя и заворчала под нос себе, но так, что все слышали: — У, живоглоты тигановские...

Бабкины слова отрезвили собравшихся, и всем стало неловко, каждый схватился кто за рюмку, кто за салат. «Да где же, право, Трофим? — вспомнил Северин.— Пьем и едим тут без него».— «Да он теперь скоро, да вы ничего, ничего»,— повеселела Устинья, стараясь подложить кому кусок пожирней, кому протягивала, что получше, в тарелке.

— Да, вот что... гм... мы, тиганы, не последние люди, тянем жизнь за собой, выволакиваем на ровное место, как какие-нибудь локомотивы,— встал, откашлялся Северин, чтобы привлечь внимание.— Нас бивали, а мы бывали, одно в силе — крайнее слово за нами. Сколько нас кругом, там и сям — все свои, вот и деревня даже своя — Тигановка. И живем мы не хуже других, и всего отведали, всего много у нас...

— И горяченького, и холодненького,— встряла опять бабка Галя елеиным своим голосочком из комнаты-боквушки, с веранды, где когда-то содержалась у Агаши всякая утварь: поросячьи чугульки, гусиные кастрюльки, ложки — ямки — поварежки.— Тигапы, потому что все тянут.

— ...всего много, значит, можем работать,— поднажал на звук Северин.— Везде видны, никуда не запрядешь — козырные люди, торчим! Вот хоть я, приехал в город — ну что там? Так, горсть соплей, пацан, маломерка. Рабочий класс меня, деревенского хлопчика, выхлопотал, дал профессию, а главное — дал разумение в жизни. Без этого что — проценты, что — планы? Сознаешь, что делаешь свое дело, машину свою, и машина эта тебя человеком делает... Мне чужого не нужно, я и сам пока в силах...

Во дворе затрещал мотоцикл: первым навалился на подокошник Егор, за ним все остальные: не Трофим ли? А вошел Романов Володька — Кузькин сверстник, Варварин сынок. Чуб волной, лбом под самую притолоку, грудь мужская уже, меднокованая, а улыбочка нагловатая, стильная.

— Что ты, сынок? — встрепенулась, заговорила неожиданно тонким, не своим голоском Варвара.

— Иди сюда, племянничек, вот сюда,— расправляла Устинья рушник по скамейке рядом с собой, на освобожденном Кузькином месте.

— Какой он у тебя, однако, атлет! — выразил Северин Володькиной матери общее восхищение.

— Да уж постарались, выходили молодца,— ответил Романов скромно и кольнул Устинью исподлобья буравчиком: нашла, где посадить Володьку!

Егору давно хотелось покинуть застолье, выйти на свежий воздух, разговор по-родственному его тяготил. Кому достанется хата, дедова усадьба, не все ли равно. Ведь не вырежешь этот кусок из земли вместе с сарайками и пристройками для всяких там кур, гусей и свиней, для которых с топором, молотком и рубанком дед Петрака хлопотал всю свою жизнь до последнего издыхания; с огородом, выходящим задами к заливному дугу, к речке Чистюньке, откуда напозают туманы; с садом — гордостью дедовой — в старых, корявых антоновских яблонях, от одного только запаха этих яблок ведет голову в сторону, занимается дух. И чего дядья, тетки мучаются, чего решают, ведь есть иная, не материальная сторона жизни

ни. Все о хлебе насущном, а о том, как живут и чем живы, ни звука. Все работа, дела, все проценты и планы, все скользим...

Возвратиться Егору к застолью помогла мать, по ее враз опавшим плечам, по всему усталому виду Егор понял, что, пока он отсутствовал мысленно, тут что-то произошло. Пригляделся. Прислушался. Романовы — тетка Варвара и сам Романов — выставляли перед всеми Володькины «kozyри»: какой он у них разумник-послушник, кудесник-расчудесник, в школе самый главный по авиамоделизму, ездил даже на областные соревнования.

Сам Володька угибался, помалкивал. Иногда мать подталкивала его локтем, и, когда высказалась, что он занял бы в области чуть ли не первое место, если бы не подстроили что-то с моторчиком, Володька не выдержал, возразил. «Молчи ты!» — щелкнула его по затылку Варвара.

— Ты вот что, Варь,— пытался Михаил завладеть вниманием всего застолья.— Малый твой десятилетку кончает, давай ко мне его, в город. Коль он у тебя по моторам... А тут куда ему, орлу такому, летать,— по полям павоз развозить? Заберу к себе — обучу, чему ни в каких училищах не научат. А то Ванька мой в книжки вдавился, думает, книжки его кормить будут... И я тоже не кто-нибудь,— автомеханик! У того картер потек, тот в самосвал «жигуленком» врезался, передок смял — все ко мне. Во такусенькая штучка — контакт зажигания, а позиции, даже на базе техобслуживания не всегда есть... Сунулся туда-сюда, а после ко мне: «Михаил Петрович, ну, пожалста!» Зато перед кем дверь закрыта, а мне милости просим, а на базе все есть. Такая-то вот живуха.

— Ишь ты, снайпер какой! — одним взглядом осадил Северин Михаила и сам встал, заходил, треща полом, по комнате.— Рисковый ты, братец, нет основательности... В общем, Романов, ты меня знаешь,— обернулся он к мужу Варвары и глядел на него сильным, устойчивым взглядом,— я на зряшное не толкну человека. У меня самого ребята все повырастали, всем путя-дороги открыл, все инженеры. А теперь кто куда, разлетелись, мать по детям тоскует. Посылай, Варюш, говорю тебе, Володьку ко мне, человеком станет, краснеть не придется. У Мишки вон на балычке белый свет перемкнулся, а у меня фотография на доске, сам директор за руку:

ты, говорит, у нас золотой фонд, старая гвардия. Вас таких, говорит, у меня на заводе трое, кому можно поручить особо тонкий заказ. Вот так.

— Да, вы, Тигановы, народ башковитый,— подала голос из-за двери бабка Галя.

Северин и ухом не повел, продолжал:

— Так что, Варюш, давай ко мне Володьку... А че ему? Пробуй, Володька, себя, пока молодой. Может, такие в себе таланты откроешь — академиком станешь, нас узнавать перестанешь... Вот так, родная моя сестрица Варвара. Хочешь сыну хорошего, честного трудового пути — направляй ко мне в колыбель революции, в рабочие руки...

— Где это ты пасобачился так, Северин? — перебил Михаил старшего брата.

— Как где? — обернулся резко к нему Северин. — На общественных форумах.

— Говорят не по-нашему как-то... Форум! С чем его едят? — просунулась в дверь бабка Галя — нос крючком, подбородок востер.

— Ты бы там, как сова, не пряталась,— смягчился перед ней, наконец, Северин и подмигнул Варваре. — Ты бы, старая, шла к нам сюда, на народ.

— Дык я в грязном.

— Дык переоденься, праздник у нас или как?

— Ох, да век земляная, все хозяйство Устюшкино,— разохалась бабка Галя,— на себе волоку. Огородик — на мне, поросятки — на мне, коровенка своя, все на мне, все на мне. А они, сами, все по произво-одствам... А ну как руки вовсе владеть перестанут, всю в колоду сведет ай совсем упаду, кто тогда у вас, говорю Стюшке, дома дела будет делать, вы, что ль, грамотные, культурные, тракторами пашете, машинами доите?..

— Форум, спрашиваешь, что такое? — улыбнулся Северин во всю мощь, широко. — Это, бабк, когда тебя все приглашают. Всюду, как первого человека. Всем ты нужен, все спрашиваются совета. Или, скажем, как, к примеру, меня. В рабочий класс посвящать, руку пополнию жать — кого? Северина Тиганова. Паспорта молодым выдавать принародно — опять же Северина. Слыхала, бабк, про таких людей, про наставников?

— Как не слышать, земля круглая. Только мы люди ма-аленькие, бесталанные... ржаной народ, обнаковенная

кость... рази за всем угоняешься? Это вы там по городам, вы большие.

— Вот-вот,— уселся Северин поплотнее на свое место, в голову стола.— Даже старая и та «за»,— обернулся он с твердой улыбкой к Варваре.— Посылай Володьку ко мне — неограниченность в росте...

А мать, видел Егор, страдала от дядькиных слов. Какие они все нечуткие, грубые, сидят, насмеваются, видят только себя. А мама такая худенькая-дробненькая, такая заботливая-хлопотная, все старается угодить каждому, улыбнуться каждому, а улыбка-то, видел он, не получается: сердцем печется, а все внутри ее готово обрушиться. «Да где отец-то? — торчало гвоздем теперь и в Егоре.— Отец-то где? Застрыл на своей работе, нарочно, что ли, не едет?»

— Дак за что я,— вырулила, наконец, сюда, на свет божий, сразу заняв всех собой, бабка Галя с шаткой рюмкой в руке.— За что я... у меня своя, у меня своя, наливочка из черной смородинки, заховала, Трошка еще не добрался, не вылакал,— щурилась бабка сквозь рюмку на ближайшиe лица, на окно.— Дак за что?.. Про Кузьку забыли, за его восемнадцать лет, перво-наперво. Об Кузьке нашем и речь.

Все смутились: верно, совсем позабыли про Кузьку. Хоть, конечно, и не ради этого слетались большой семьей в родное гнездо, съезжались сюда, в Тигановку, из всех городов, да ведь, в самом деле, Кузьке нынче стукнуло восемнадцать — черта, за которой все отрезается, по сю сторону — уже спрос иной. Только какой с Кузьки спрос? Вот где закавыка. Поддержали молчком бабку Галю.

— Да где Кузька-то? — села бабка оглядчиво.— Где, мать, Кузька-то?

— Ушел,— выдохнула Устинья и отвернулась.

Выскочили на улицу. Мелюзга шмыгала возле веранды, закричали, запрыгали: кто видал Кузьку аж за соломенной ригой, кто только что за двором. Убежали куда-то, потом вели его под руки: новенькая японская куртка на Кузьке была расхвачена до живота, молния вырвана с мясом. Кузька то улыбался, то кому-то грозил кулаком, страшно ругался, лицо его было в пятнах, он едва держался на ногах, силился говорить, от бессилия снова кричал и ругался, и все звуки тонули в клубке рыданий и слез. Мать подлетела к нему, поглядела в лицо, завела руку себе за шею и гладила по плечам, по голове, по ще-

кам, вытирала рушником рот и щеки, что-то шептала, шептала на ухо, вела — валкая — в угол, к скамейке.

Кузька навалился на мать, сидел, вздрагивая, затихая.

— Кузька у нас хороший, хороший, — ворковала над ним Устинья. — Да кто ж тебя так, кто обидел?.. Он у нас безобидный, мухи не обидит, — говорила Устинья теперь уже всем. — И уступчивый, уважительный. Кому ведро налить из колонки, кому овечку пригнать... Это злыдень какой-то его, это злыдень... Завтехник его к делу приставил, в башню воду качать — по деревне, по ферме. Он работает у нас, он рабочий у нас человек, он пользительный всем. Так, Кузьма Трофимович, так? — вела мать его, уже покорного, в другую комнату, придерживала в поясе, укладывала на железную койку.

Вернулась. Затворила дверь позади себя: спит. Сидели все в тихих, редких словах.

— Да, Миша, — вздохнул Северин. — Он воду на ферму качает, а мы, брат, с тобой пьем... молоко.

Эти слова приободрили Устинью. Она ответила ему кратким благодарственным взглядом.

По-иному глядел на свою мать Егор. Рос трава травой, принимал в дому все как было, и ведь никогда не пришло в голову поразмыслить всерьез о ее судьбе, об отце, как прожили они, как живут. Дети всегда эгоисты, думают лишь о себе, это батьки взрослели рано, уже в ФЗО, на отмоствах, что пристраивали им к станкам мастера, да ведь то было время такое — война...

По-иному смотрела на Егора и мать: их единственный, их сбереженный. Как же стал он похож на отца: пройдет враскачку, приоткинет кивком непокорную прядку волос, сызмальства не был так схож, как сейчас, в этом возрасте; такого, бывало, она поджидала за ригой, такой же вот был, только чернявее, утягивал взглядом (у Егора глаза посветлее), являясь к ней на свидания, и она ухнула в эти глаза, и он трогал, притягивал ее за плечи к себе, шептал неслыханные прежде слова, от которых останавливалось сердце. Она вдруг подумала, что Егор — кровинка ее, ее материнское счастье.

— Да вот же он, вот, поглядите! — как подкинуло что-то Устинью. — Встань, Егор, ну встань, — просила она. — Глядите, вы глядите, глядите, — задыхалась мать, ее всю трясло. — Вот он, мой сын... Есть гордиться чем, и горжусь, и горжусь!! — ткнулась она в локоть Надюши и рыдалась.

— Ну чего ты, Стюшенька, чего тебе, родненькая? — прижимала ее, целовала Надюша. — Ну хороший у тебя сын, замечательный у тебя сын. — И сама готова была упасть Устинье на грудь.

Шелестела газета в окне, далеко-далеко на закат чистил горло петух. Сидели, не знали, что и сказать. А что скажешь, когда счастье так крепко смыкается с горем?

— Вы тут море нальете, — облегся Северин на обеих мягкой ладонью. — Приезжай, Стюш, ко мне всей семьей... В Ленинград — одно слово, есть, скажу тебе, что посмотреть. Приезжай, родная.

— Так коровы же, — смотрела на всех вишовато Устинья. — Куда от них, не разогнаться.

IV.

В соседней комнате что-то грохнуло: сметая огуречные плети и помидоры, с визгом и улюлюканьем уносились огородом ребячья ватага. Кузька метался перед окном, обезумев, швырнул куртку, таскал по полу кровать, норовя выломать металлический прут. Ком земли, брошенный с улицы, попал — рикошетом о стенку — ему прямо в лицо.

С воплем Кузька бросился на веранду, Устинья — следом, но Кузьки и след простыл.

— Кузька твой — золото, — говорила Варвара Устинье, занимаясь своей прической, держа шпильки в губах, шепелявя. — Помощник как-никакой... никого не обидит. — И двинула носом, как бы принюхиваясь. — А то вот, — шпилька, наконец, полезла куда надо в волосы, — не слышали случай? — И еще двинула носом. — Ну да, в Тайшицком поселке. Да ты, Стюш, ее знаешь, Шурка-московка... Собрались эти черти вот так же оравой да чуть не спалили Шурку вместе с ее хатенкой. Шурка-то после поездки в Москву отсыпалась. А они думали, хатенка пустая. Вот до чего дошли эти... нормальные дети...

— Уже установлено, не дефективные, — подтвердил легким кивком Романов и стал тоже дергать носом, вертеть шеей.

Беспокойство Романова передалось и тем, кто сидел подальше от двери, остальные тоже стали поглядывать па веранду и принюхиваться.

— Сами родители спустили возжу, — нагонял гнева на себя Романов. — Поакупили им всяких мопедов...

— Так в школу же, далеко.

— ...а они на тех мопедах по всему сельсовету. Лету-чая дивизия.

— Техника есть техника,— сказал Северин рассуди-тельно.— Это все же ребята, час настанет — им в армию... Да не в технике дело, дело в общественном понимании. Сколько, например, лагерей на территории вашего сель-совета,— повернулся Северин к Романову,— при школах, как сами понимаете? Ну вот, ни одного... А у нас на за-воде их несколько: и в самом городе, и на Финском за-ливе.

— Так то же завод,— все подергивал то носом, то ще-кой Романов.— Крупная финансовая единица.— И все ко-сился на веранду.— И все-таки что-то горит! — не выдер-жал Романов. И все повскакали, лавка бухнула об пол.

Стояли, с оттяжкой смотрели друг другу в глаза: черт их знает, что у них на уме, даже у нормальных-то! Бабка Галя метнулась со двора на веранду: ах, боже ж мой, мясо забыла, поставила разогревать. Синий, удушливый дым клубился под потолком.

— Совсем, старая, из ума выжила,— причитала баб-ка Галя, хватаясь за пустые ведра, чашки, кастрюльки.— Вылили, домовые, выхлестали, окаянные, а принести пе-кому, черта с два.

Крутанула кран — захлохотал, ни единой капли и в кране. «Заставь дурака, он тебе накачает башню, он тебе всех снабдит, инженер водокачки»,— думали городские Тигановы.

Поуправившись по дому, все свои, деревенские начи-нали сходиться ко двору деда Петраки. В Тигановке, если глянуть, почти все Тигановы, а копнуть глубже — так, может, они все и с родства, ближе — дальше, а кровь еди-на, своя, тигановская. Вроде так отцы говорили отцам: жила-была в третьем-четвертом колене общая бабушка Глаша, а у бабушки — второй муж (первого похоронила) Тиган, так она у него тоже другая. У самой были дети да у деда дети, да еще совместные дети — вон ведь сколь-ко всех Тиган в люди вытянул. Вот и пошли Тиганы, сей-час уже и не знают, кто от кого, только помнится бабуш-ка Глаша — всегдашняя, общая, как Чистюнька неисся-каемая, как земля в полях, логах, косогорах, своя изна-чальная мать.

Тигановы-то Тигановыми, а чтоб всех различать, каждому в деревне к фамилии еще приставляли и прозвище, так и ведется: кто от деда Петраки — Петраковы, у кого хата под бугром — Бугровы, иные — Корсаковы, другой — теперь самый старый из своих — по прозвищу Колчак, по фамилии Бобырев, из Тигановых у него жена — тетка Параша. И вовсе не потому Колчак, что с Колчаком воевал против красных, а как раз наоборот — сроду в Сибири не бывал, за Сиваш, говорит, лазил с винтовкой на белые пушки. А вот Колчак, хоть убей. Может, потому, как ногу одну подволакивает — колченогий, а скорее всего (так мужики воображают) не язык у него — колючка, жало змеиное.

Первым со своей суковатой — из дикой груши — палкой, хоть и живет сейчас на центральной усадьбе, притащился этот Колчак. Задрал востроватую бороденку, обнюхал воздух, сунул свою утлую, слабую руку старшему из Петраковых:

— Северину Петровичу — наше уваженьице за ваши достиженьица... Дали команду в ружье, и я как на войну — подпоясался, и готово дело. — И все вострил бороденку, принюхивался, подмигнул на приотворенную дверь: — Котлетками пахнет, вкусно. Я котлетки люблю, мягкота... Уж и обедать дома не стал. Раз за обчий стол, значит, за обчий. Это Парашка моя задерживается. Ты, говорит, дед, поешь, а то не заложишь фундамент, повалишься, как какая-нибудь водокачка в том году на центральной, а я есть дома не стал. Зачем, говорю, мне твоя картошка, когда там котлеток лукошко...

Следом за Колчаком заявила жена его — тетка Параша, внук подвез на машине. Она захватила с собой малосольных огурчиков: вот хороши огурчики — с хреном, с горчицей, берите, кладите. Потом пришли Индюковы — Тигановы, отец у них индюка соседского принял за своего, отхватил башку и в суп, а хозяин заметил — Индюков, Индюковы. Пришла из поселка Житень Пестимея, тоже — по матери — Тиганова, Стешина тетка. Пестимея и сказала, что проходила только что мимо Корсаковых, так у них там сейчас семейная драма: Федька-конюх Тоську гоняет, попрекает этим слюнтяем, стариком-зоотехником, и Тоська сейчас дает Федьке достойный отпор. Следом за Тоськой как-то бочком-бочком втиснулся в дверь учитель местной начальной школы Селиван Данилович Добарин, но его тут же заметили, протащили

вперед, нашли Селивану достойное место: он учил все же добрую половину из всех здесь сидящих.

Последним хлопнул калиткой Фома Фомич по прозвищу Мажор, тоже из Тигановых, только из дальней какой-то, боковой ветки. Этот пришел с газетным свертком под мышкой, сунул на веранде Устинье: вот, мол, тебе на хорошую сковородку. Михаил отчего-то обрадовался ему, все пытался поймать его взгляд, но Мажор на него и не посмотрел, и Михаил опустил голову: «Чертова молотилка, триста рубликов хвост».

И вдруг все подняли голову: над двором пролетела чайка.

Егор заметил ее еще издали, от Щучьего брода. Она летела в ту сторону, куда умчалась на «Яве» Стешка. И когда сизовато-белая птица оказалась над крышей, поразился Егор, как пластает она широко, только подрагивают черные кончики крыльев. «Откуда ей взяться, чайке-то? — разглядывал ее, речную, Егор. — Ах да, на Кнубре подперли воду плотиной! Чайки там теперь поселились, живут». И руки у Егора сами махнули ей, всего его покачнуло и понесло. Они летели с чайкой, она и он — оба чайки, и об острую грудь его в белой рубашке секся ветер, и душа вся искрилась: до чего же просторна, красива и хлебна полевая родная земля. Крылья перебирались порывами, руки вздымали на верховые потоки, и с каждым вздохом и вымахом открывались новые горизонты...

Егору вспомнился огромный, непостижимый город с его узкими улицами, тесным бетоном, переполненными троллейбусами и электричками, где все ходят и мыслят в точно очерченном круге. Весь подавшись вперед, провожал он ее, птицу вольную, взглядом...

И мать Егора, Устинья, тоже увидела чайку, подумала: «Зачем она здесь, а не там, где большая вода, где устье Чистюньки, где Кнубрь?»

И Северин заметил чайку, и Варвара, и Михаил с Надюшей, и Пестимея, и все, все тигановцы, коренные жители этого уголка.

А Трофима все не было.

Устинья подошла к Северину, наклонилась, что-то сказала, тот кивнул.

— Пожалуйста, дорогие гостечки, — взошла на порог дома Устинья. — Проходите.

Вот и сошлись за одним столом все свои, свояки и

сваты, городские и деревенские, Тигановы и тигановцы. Настал тот редкий час, когда можно посидеть рядком, взглянуть друг на дружку, поговоришь ладком, послушаешь каждого — лучше узнаешь себя. «Это только кажется, что ты сам себе строишь жизнь,— оглядывал Северин застолье.— Это жизнь — она строит нас. Все рассчитано за нас, предугадано; каждому отведено свое место, поставлена своя боевая задача... Но тогда где сейчас все остальные, почему тигановцы уместились в одной этой хате, за одним этим столом? И поселка Адамова почти нет возле мельницы, нет Марусиных Ключей, кутка Кержачки возле Щучьего переката. А лога остались, и речки остались, луга и сенокосы, перелески и вырубки, орехи, грибы и ягоды — все, что было не так давно на двести, а туда подальше, может, и на две тыщи душ, теперь на этих всех, на какие-то сорок...»

Сидели, накладывали по тарелкам закуску — поменьше хлебушка, побольше мяса.

— Ну, и как там, в городе? — совался к Северину ехидной своей бороденкой Колчак.— Вот где машин, я гляжу по телевизору, жутко глядеть.

— Ты даешь! — не выдержал, уморившись молчать, Фома Фомич.— Это ж прогресс. Развороту больше, масштаб.

— Ну и что дает тебе тот масштаб? — аж подпрыгнул Колчак, как на шиле.— Что дает большой масштаб маленькому человеку?

Все за столом обратили на них внимание, вслушивались в перепапку старого и помоложе.

— Ты, Бобырь, местечко себе на кладбище... там у себя на центральной... подыскивай. И для меня рядышком. А то закроют нашу деревню — возись со мной, таскай с погоста на погост такого бревнистого, костей дюже много.

— Видали? — так и взвился Колчак.— Закроют! Как это закроют? Переселять? А где они столько миллион возьмут? Да нашу с бабкой хату только толкни — гнилушки.

— Ладно, ты, дед, живи,— подмигнул Фома Фомич близидящим.— Хорошо, что внуки взяли вас с бабкой к себе на центральную. А тут в Тигановке твоя хата дорогая, не тронь. Это кому помоложе, неоперенным, надобно на центральную, а ты, устарелый, мог бы, к при-

меру, еще жить и тут. Это я хочу на асфальт, к телефонам, как в городе.

— Ну, и зачем же их... неоперенных-то... на центральную? И тут в Тигановке есть, где работать. Что же, баб с центральной будут сюда на ферму возить? Зря, что ли, тыщи на крышу выкинули, той осенью перекрывали железом... А ты говоришь, захлопнут ее, деревеньку-то... Вон Васька Оковалок сбрехать не даст,— кивнул Колчак на Тиганова Василия — двоюродного брата Майора,— он уже принимает меры: переводит сюда лесхозовскую пасеку, чтоб поддержать Тигановку.

— Да там с гречи уж взятка нет, пчела гуляет,— развалясь небрежно, внес Оковалок ясность.— А тут подсолнух пошел...

— Всегда стояла пасека на солонцах,— упорствовал дед Колчак,— а сейчас к Тигановке жмешься, вознадобилось.

— Пасека! — подобрался весь Фома Фомич.— Производство, ядрена шишка, цыганский табор. Подхватил ульи да на колеса. Тигановку пасекой не удержишь.

Больно было слушать все это Егору. А чайка все летела в мыслях его, все летела — туда, к Адамовой мельнице. Смуту душевную, ощущение тревоги перекрывало посвистом крыльев, притишало дрожанием их черных перьевых кончиков. Возникла Шешка — тоненькая, она улетала в Оболешево на мотоцикле в белом платке на плечах с черной, дорожкой, каймой... Мать стояла рядом, тоже смотрела на чайку. Он тогда и не заметил ее лица, только сейчас, как из сна, приходила она оттуда, вся светилась, тянулась ввысь, видать, такая красивая в молодости. Как земля, как родные поля и овраги: приустила за лето, иредосенняя, полная мыслей пора...

— Тихо! Потише! — встал Егор и сам для себя неожиданно заколотил по стакану. И все сразу как оборвалось, запахнулись горячие рты. И он сказал порывисто, сердечно:

— Что ж вы, люди, деревню свою хороните, кочку родную на всеобщей земле? Да от нашей Тигановки хоть листик, хоть одна хата, хоть один-единственный человек останется, и то никуда не денется, будет! А там поглядим...

— Ну сказал, ну выразил! — вскочил дед Бобырев.

— Не перебивай... не сбивай человека,— раздался голоса.

Горло перехватило Егору, он махнул рукой и осекся. И тогда («Да постой, погоди») встал рядом учитель Добарин. Всю жизнь Селиван Данилыч только школой своей и занят, колхозное вроде ему нипочем, а тут, оглядевшись, сказал серьезно, даже грудь защемило, перехватило дыханье:

— Вот вы тут, городские,— глядел прямо он, не уклоняясь, в цепкие, стальные глаза Северина,— да не только вы, братовье Петраковы, многие Тигановы покинули свою Тигаповку, раскатились кто куда, как горох. Так надо, а как же? Лучших утянул город, а мы тут остались, бесталанные. Все талашные там... А теперь вы, таланные, приезжаете оттуда, из городов, да, гляжу, нас и кострошите: то не так, это не этак. Культурка, мол, у вас того, технику вы курочите. Да, уехали вы туда, а кто же хлеб должен тут растить? Кое-кто, бесталанные? Да ведь на хлеб тоже пужен, еще какой, скажу вам, талант. Поле — это, известное дело, не цех, а колхоз — не завод. На заводе спланивали, рассчитали — сделали. Ну, конечно, не без отклонений, а все же, над тобою не каплет, солнышко не печет. А в поле, сами знаете,— сплошь одни исключения. Какая нужна тебе голова, еще какой дар, чтобы растить хлеба. И опыт природный, и от дедов: по крупинкам его собирали. Скажем, как по крещенским морозам понять, сырое будет лето или жаркое? Или, скажем, с весны созрела земля — можно сеять или подождать? Так ведь сами знаете, мудрости столько — и-и... Миш, я тебя понял (посиди-посиди, дай скажу!..). В классе к доске тебя, бывало, не вытянешь, а сейчас, ишь, какой... а по-твоему, Миш, так выходит: в городе всюду нужны башковитые, хваткие, одним словом, таланты, а сюда на землю можно любого? А ведь и тут без этого никуда, столько ниток тянется всяких к земле, к солнцу, к дождичку, к че-ло-веку... Никакая машина тебе не учтет, потому у машины нет сердца, любви нет, это у человека любовь, уважение друг к дружке, и тогда машина уже не железка холодная, когда с ней сердечный, живой человек...

— Пrrрравильно, верrrрна-а! — переключая разговор, хлопнул по столу кулаком Михайл.

— Ну дак это,— поднялся Фома Фомич за столом, чтобы затихли, обратили на него внимание.— Ну дак, что я хотел сказать?.. Все, соскочила шлея. Разбежались нитки, не свяжешь... Да, так вот, когда мы тут все были,

когда нас было много,— помните? — собирали восемь-девять центнерочков с десятины. Заметим себе, с десятины! А сейчас двадцать на круг, заметим себе, с гектара. Почему? Переваривайте.

Сидели и ели. Тигановы и тигановцы, городские и деревенские. Городские яства — торт, колбаска сухая, консервы — шли в жару хуже; отдавалось предпочтение привычному, своему, деревенскому: холодцу с хреном, поломанным на куски курам, которые заедали луковыми перьями, фирменными бабкиными помидорами — вот такими, с овечью голову, запивали окрошкой с горчицей и просто квасом. Михаил приберег бутылочку минеральной, но вода быстро согрелась, и тогда он попросил себе тоже квасу. Ели молча, сосредоточенно, переговаривались только для виду — ближний с ближним, соседи с соседями. Сидели и отдыхали, доходили мыслью, чем ответят городские Тигановы на слова Мажора и учителя.

Михаил посмотрел долгим взглядом на старшего брата, и Северин собрался, поднялся медленно, как на трибуну.

— Да, верно ты, Селиван Данилыч,— сказал он, взвешивая слова, не спеша,— верно ты попал, в самое яблочко. Да, было по девять центнеров с десятины, стало больше чем двадцать с га... Что, само оно так получилось? Вот, скажем, ты знал еще в январе, что будет дождливое лето, и это решило судьбу? Решили, конечно, вы тут, крестьяне,— кто в поле, на тракторе, на зерноскладе. А мы из города вам помогли. Техниккой, удобрениями, передовой технологией...

— Слышь, ладно,— вскочил, как катнулся на своих двоих, дед Бобырев.— Объясните вы мне эту хреновину, все мозги переела. Вот Трофим ездил, скажем, на «ДТ-54», а теперь на «К-700». Или, скажем, летал из Алатыря в область на «кукурузнике», а сейчас на этом... на реактивном. Праз, и тама. Вот ответьте вы мне, люди умные, счастливее стал он от этого ай нет, что ему это дало?

— Э, старый,— рассмеялись все,— куда хватил, в какие материи, в прямо женский вопрос.

— Да ну его,— покраснелась тетка Параша из-за супруга.— Да сиди ты, господи! — ткнула в шею она Колчака. И тут все решили перекурить. Пора выйти на воздух, потолковать ин-ди-ви-дуально. Как куры, разбре-

лись гости по двору, кто куда. Побежали в Трофимов дом за гармошкой. Ах, да перламутровые пуговицы, раз-го-вор-ный бордовый развод.

V.

Егор схватил ведра, разогнался было к колодцу, но на полпути как загнулся: с луговины, где там и сям вострились копенки, тянуло заварной, вечереющей сырью, крутой свежестью сеголетнего духовитого сена. На рожок месяца можно было накинуть ведро, значит будет ведро — ведренная погода, были дождички — будут грибки.

Тишь-то какая, звучная, редкая. Где-то возникла гармонь. Она то уплывала вдаль, то придвигалась. Егор шел на нее, и в нем рождалось молодое, сильное чувство близости к этим полям, косогорам, и молодое, сильное чувство его высветлялось и высылось по мере того, как всходила луна. «Жить в деревне, — думал Егор, — черт возьми, все-таки хорошо! Уже то хорошо, что дышишь этим воздухом, идешь этой стежкой. Живи и радуйся, что живешь... У земли этой есть прошлое, а у прошлого есть свое прошлое — и так до кургана на горке, до славянской юдоли, до вятичей со Сторожевого, с которых скатились сюда и идем... Куда это чайка летела, зачем?..»

На корневом дворе былолюдно. Из хаты веселье переместилось сюда, под фонарь на столбе; тут, на свежем воздухе, гулены плясали и кричали частушки.

Егор поставил ведра на лавку, шмыгнул в хату и увидел в красном углу отцовых братьев. Северин держал в руках фотографию деда Петраки и бабки — оба вместе, совсем еще молодые; когда снимались, обонм было, наверно, меньше, чем сейчас одному Северину. Северин отер глянцевое фото ладонью.

— Возьму? — сказал он Михаилу.

— Валий, — махнул Михаил и плюхнулся на диван. — А это мне нравится, — ткнул он пальцем в рога косули, висевшие тут же над головой.

Северину стало стыдно за брата: с дерьмом не расстанется, он вспомнил о третьем из них и тут же дал себе слово: «Приеду домой — вышлю ему сюда свой палас». И, успокоясь этим, снова зауважал себя и, любя всех, кого только видел сегодня, принял от бабки Гали кружку молока — огромную, литра на полтора, почти

кастрюлю, опростал ее одним махом и, положив голову на валик дивана, заснул.

Егор еще раз окинул комнату взглядом и вышел на свежий воздух.

Играл черный ящик. Вокруг фонаря столбилась всякая летучая дрянь. Подходили и подъезжали на технике девчата и парни — свои тигановские и соседи, прихлынули из города на выходные. Один раз за забором (это точно) мелькнула Стешка — белый платок на плечах с черной каймой. Егор напрягся весь, но на свет вышла совсем не знакомая, чья-то не здешняя, даже не деревенская девушка, приехала, видно, с кем-то из города. И когда Егор решил, что Стешки нет и сегодня не будет, где-то за березняком, на оболешевской дороге, заколотился — даже сердце подпрыгнуло — подзванивающий звук мотоцикла. Вскоре через свет пробежала во двор она, Стешка, — в джинсах, волосы по плечам, бросила кому-то пару словечек, кто-то взорвался смехом. И только Егор решился наконец, окликнул ее, как из-за сирени, щурясь на свет, вышла сюда к нему... Миля. Взяла под руку, прилегла грудью.

— Проснулась, а тебя нет, — зевнула она, улыбаясь. — Ну я и сюда, догадалась.

— Догадалась? — взглянул на нее Егор.

— Ага, — сказала она простодушно.

Привалясь к столбу, Егор смотрел на танцующих. В тени под сиренью вокруг Стешки так и пыhalo смехом, закручивалось все в разговоре. Подошел парень — тот, рыжий мотоциклист, потянул за белый платок...

Егор заставлял себя думать, о чем угодно, только не о ней — Стешке, но о чем бы ни подумал, все сводилось к ней, Стешке. И близким, вертким было все ее тело, сверкали с неба глаза ее, пахли отволглые волосы... И вдруг невыносимо тяжелой, чужой сделалась Милина рука и вся она у него на плече. Это испугало Егора. «Черт знает что, — с трудом переключался он на то, что видел сейчас перед собой. — Почему вьется возле Стешки этот рыжий?» Временами спазм перехватывал Егоркино горло, руки рвались из карманов.

Начал паясничать, приставать к девчатам Кузька, они шарахались от него, в притворном ужасе прятались за парней. Между тем Кузька вошел в азарт, подошел к одной, совсем молоденькой девушке и притопнул ногой, приглашая, а она отказала. И тогда Кузька замахнулся

на нее, плюнул в ноги, и двое парней подхватили его под мышки и поволокли; когда выводили, Кузька дико вращал белками, переставлял под напором складные свои деревянные ноги и что-то кричал. «А ведь она отказала Кузьке», — возникла в Егоре обида на эту девушку и перешла в боль, сострадание к брату.

И тут далеко в лугах послышалось тонкое, как сверло, ржание. «Если Стешка сейчас отойдет от него, — словно воткнулось в горло Егору это сверло (так хотелось, чтобы отошла), — если она отойдет, — загадывал Егор, — значит, она меня... любит». Зачем это было ему, он не знал, просто любит, просто хотелось любви, столб хотелось сломать, стенку пробить кулаком.

Тонкое ржание повторилось и — пересеклось. Глазам своим не поверил Егор: вызывала Кузьку она — Стешка, выплывала с руками-крыльями, выплывала-плыла. Егор даже зажмурился, а когда разлепил веки, увидел Стешку прямо перед собой. Жар бросился в щеки Егору.

Танец зазвучал порывистее, и Стешка отступила, дернула Кузьку в круг. Стоя на месте, повторял Егор всей душой движения Стешкины — все живее, все темпераментнее, вот уже не смог устоять, переступил с ноги на ногу. И тут же ему в ладонь легла Милина ладонь: она была тверда и холодна.

А Кузька совсем потерял голову. Взвыл, заметался перед Стешкой, поднял кисти над головой, завертел руками, руки его мотались, как палки, брызги летели в стороны, рваные, дикие звуки клокотали в горле, и он бил каблуками, то приседал, то вскакивал перед Стешкой, кричал что-то свое, непонятное — радостно и победно.

Включили усилитель — в черном ящике заклохотало, затрещало, забулькало, как вода в стакане, и выплеснулось уже слышанное-переслышанное, — капли стекающего дождя:

— И от осени не спрятаться, не скрыться.
Листья желтые, скажите, что вам снится?

Напротив себя Егор увидел того рыжего — мотоциклиста. Так все и заняло в Егоре от желания, как в былые времена, подойти и взять молодца за грудки. И чтобы не искушать себя, Егор отвернулся, отошел в сторону, шагнул со света прочь.

Ночь ударила щедрой россыпью звезд. Вот одна разогналась, прочертилась, упала прямо в густые, подсту-

пившие сверху запахи из картофельной ботвы, антоновских яблок, лопухов на пустынных усадьбах, смешалась с едва доходящей снизу, от речки, пресновато-йодистой гнилью ракушек, лежалой осоки, склизлых камней. Чувства Егора обострились: тонко тлеет аромат лугового сена от ближайшей копенки, там, где упала звезда; и вдруг все перекрыл тот же, подзванивающий цокот мотора. «Опять мотоцикл?» — так и вскинулось все в Егоре.

Ближайшие две копенки на луговине серебрились макушками, третья — подальше — половинилась, пересеченная слоистым туманом. Трепанула губами лошадь, тень ее, увеличенная влажностью, протянулась сюда к Егору. И тут же, повыше холки, мигнули два огонька, сначала Егору подумалось, что это сверкнули на месяц глаза лошади, а может быть, волка? Там в ночной темноте была деревня Стешкина — Оболешево, оттуда верхней дорогой прострочил мотоцикл. И вдруг чья-то тень мелькнула на острие месяца.

Гармонь увлекла молодежь за сад, на старый «пятак». И почевать Тигановы решили здесь, на отчем корню, в дедовой хате. Северин с Надюшей вышли за сеном, направились к ближней копенке, тут услышали отдаленный, осадистый постук мотора. «Это Трофим», — догадалась Надюша.

Принесли по огромной охапке, растащили по полу; отволглое сено едва топорицилось, слабо пружинило, почти не шелестело; постелили домотканый, еще мамин ковер «каролинку» — праздничную пестрину из немешаной, чистой овечьей шерсти; славна постель. Широка постель, вались впокат все большое семейство.

Тигановы лежали на маминей «каролинке», касаясь друг друга то плечом, то локтями; под плотной пестриной подшебуршивало сено, вся эта духмяная луговая братия — овсяница, кипрей, медуница. Тигановы лежали и вслушивались в свое дыхание, в дыхание каждого. Судьба разбросала их по городам, случай свел за столькие годы. А ведь ради него сюда, на отчий корень, и ехали. Они, свои, приструнят Трофима по-свойски: в самом деле, сдурел он, что ли? И если что с Трофимом случится, что станется с корнем, с семьей?.. И все-таки прошлое забивалось сегодняшним, ведь дом родной, общий — поскрипывает бревнистыми стенами, постаныва-

ет в пазах, как от ломоты старые кости, все движется, шевелится, живет. Сколько смеха и слов, сколько надежд, сожалений, сколько всего в этом смолистом сосновнике, глянешь назад — вроде бы разумения больше, как оно дальше быть...

— Когда на Доску вешали,— шевельнулся Северин где-то под дверью,— так и сказали: почет тебе, Тиганов, означает даже не то, что ты за свой век много чего наточил-наслесарил, а что умеешь трудиться, культурно работаешь... А помните, как отец работал по молодости — до упаду, до грыжи. Уже прогрызло дырку в паху, так он обмотался холстом и давай пахать дальше — темный, одно слово, чего с него взять.

— И мама так,— подала голос Надюша.

— Варвары, чистые варвары к своему состоянию здоровья, ей-бо,— в тон сестре подстраивался Северин.— И ели, если подумать, как зря, не умели питаться. В горячую пору отец как завьюжится, домой уж со звездами. За день куска, ей-бо, в рот не кинет, зато вечером давай всякое варево-парево. Напрется на ночь, да какой же надо желудок, чтобы все это выдюжить,— железный?

— В желудке у крестьянина и золото сгниет,— чиркнул Михаил спичкой.

— Еще чего? — вспыхнула Варвара.— А ну марш курить за порог.

— Заводских наших посылали в подшефный колхоз,— переменил Северин локоть, и сено под ним зашелестело.— Так целый день, говорят, тоже в поле на тракторе, а кроме пыли да, в крайнем случае, сухого ломтя, во рту ни черта...

— Такой, стало быть, колхоз,— опять возник голос Варварин где-то с краю, возле стены.— А у нас по сельсовету столовые на колесах, термоса с горячим.

— ...а во рту ни черта,— продолжал свое Северин.— А к вечеру один скажет: сухой кусок глотку дерет, а другой уж пятерку в шапку кидает, тут же, в борозде, дали премню...

— Жить уметь — многого надо,— задумчиво подтвердила Надюша.— Жевать да лямку тянуть — это и волы могут. А ты все-таки человек, совесть надо иметь... А то водкой глаза залиют и куражатся над семьей. То сына не такого ему родила, то похлебку вовремя не разогрела.

Кто-то заходил по потолку широкой, размашистой поступью; размеренные, грузные шаги шли из одного места: сверху, по-над плитой. От них подирало кожу, сбивало дыхание — шаги судьбы, судьба ломится в дверь. Лезла в голову всякая чертовщина: домовой в пустой, брошенной хате, ведьма с желтым кленовым лицом, напоминающим Устиньину мать, души усопших хозяев... Но нет, у отца шаг был полегче, дробнее. Вот так, скок-поскок, воробьиный, с подтаскиванием. «В детстве у него был перелом», — вспомнилось вдруг Северину.

— А-а-а,— рассмеялся он в темноту.— Это же лист железа на крыше, оторвало. Ветром, должно, потянуло от речки, вот и хлопает. Спите.

А никак не спалось. Дом жил отдельной жизнью, еще той, очень давней, дышал теплым воздухом детства. И все само заполнялось здесь их еще теми — галчиными головами, на печурке вплотную стояли, сушились их еще те — разновеликие валенки, на столе в общей миске чадила еще тем — никогда не надоедаемым борщом, а из темных углов не глазами, а зелеными стрелами еще того — полусибирского кота Васьки сверкали на них страшные и расчудесные сказки, много всяких историй...

Не спалось, да и только. Лежали в потолок носом, молчали.

Надюша: «Понаехало нас сюда... справлять семью, судить человека,— совестливые. А вывернуть каждого, каковы сами? Мишка, что ли, будет судить? Или Северин? Ну, Северин — человек рабочий, прямой. Ему, такому прямому, вынь да положь, что положено, много он там у себя понимает. Почаще бы нас сюда звали в Тигановку, в нижние горизонты».

Михаил: «Пьет Трофим, и дурррак! Выпил и — сиди себе, не выступай. Так нет же. Знаю таких, примет для смелости, и то не так ему, то не этак. Может, оно и по делу, а начальству есть за что зацепиться. На местком после тянут: вот теперь излагай давай. А теперь он, как кролик. Только слава, дурррак!.. Совесть, я так понимаю,— это когда себя в обиду не даешь и другого человека не обижаешь, сам живи и другому давай».

Варвара: «Ну шумны, ну нагрянули братцы — дают искру, ревизоры. Все-то они знают, все они понимают, разумники, нахватались всего в своих городах. Северин — это, правда, еще ничего, сурьезный, в отца. А Мишка,

паразит, как помело, и где, дьявол, брехать научился? И так складно все это, и мне прямо при Романове-то: ну что, Варюш, живем — молодеем, работаем — не потеем, вам товар — мне навар, за ваш счет нам почет... А ты, говорю, чего бы хотел: сухой бы я корочкой питалась? Паразит, говорю, мне, стало быть, хлеб «забайкальский», а тебе, стало быть, балычок?.. Совесть, братец, надо иметь, совесть!»

Северин: «Приеду — позовут в ПТУ. Так и скажу: совесть — дело, скажу вам, великое. Совестью города строились и держались деревни. Совестью станки на заводах крутятся, летят, братцы мои, космические корабли... А тут, в Тигановке, из мужиков нашей семьи только Трофим и остался. Я, понятно, рабочий, вон когда еще от земли, чиста моя совесть. А вот Мишка... Эх, да все мы хороши, поухали, обездетили отца с матерью. На кладбище надо завтра сходить, проведать Петра Кузьмича и Агафью Матвеевну... Трофим, прохвост, небось, и оградку не поставил».

Одиночество сжимало всего Егора. Усилием воли он поднял голову и там, в заветном уголочке ночного, черного неба, увидел знакомое, волнующее еще со школьных уроков светлое пятнышко — созвездие Волосы Вероники. Это пятнышко вытягивалось, сливалось с Млечным Путем, пересекало все небо. Светлые, бесконечные, как этот Млечный Путь, Стешкины волосы неожиданно обхватили горло Егору, стало трудно дышать... Как видение, на рожке острого месяца, Егору виделась Стешка. Она возникала из-за копенки, стояла перед ним — тихая, без дыхания. Все было так живо, так явственно видно ему, все происходило, как наяву... Он сделал шаг к ней: лицо заслонилось его, Егоровой, тенью. Взял за плечи и повернул ее глазами к себе: узкий золотой серпик там, на донышке, ткнулся в самое сердце. Он притянул ее еще ближе, она не сопротивлялась. Неожиданно и для самого себя Егор резко сел и взял ее на руки. Он нес ее, сам не зная куда, по скошенному и опять затравеневшему лугу, и отава подламывалась под ним, проседала вместе с пухлой землей, и витой, бесконечный след тянулся к темной громаде Курганной, по седой, слабо курящейся равнине.

Он наткнулся вдруг на копейку, от толчка макушка

копенки упала, и тут же шею ему обхватили мягкие Стешкины руки.

Они были впервые так близко. Стешка прикрыла глаза, и, когда открыла, там, на донышке, где золотился только что серпик, уже плескалось что-то иное — его, Егора, лицо; кажется, оно поднялось сюда из нее самой, а возникнув, опять задрожало, опустилось ей в грудь, стало слабостью тела, она ударила правой рукой по земле, и земля качнулась, ушла из-под руки, ударила левой рукой, и земля опять покачнулась, ушла и больше не возвращалась...

Они стояли дышаще в дыханье. Он не спрашивал ее ни о чем. Где-то близко скрипел ржавой доской коростель. Ветерок, вещая утро, перебирал вокруг сенные былки, они покалывали лицо.

Время от времени с того края деревни, от дедова дома, печатались глухо шаги, словно кто-то, сам дед Петрака, шел по крыше, и железо ухало, говорило под ним. Месяц перебрался на тот бок, за речку, к Курганной горке, смягчился светящей мглой и померк.

Он хотел бы сказать, что она у него одна такая из тысяч, но промолчал.

— Смотри,— словно сказал он ей,— как быстро сходит месяц.

— Всегда так... быстро.

— И завтра будет все то же, а ветер другой.

— И ветер другой,— будто бы отстранялась она.

Он искал губами Стешкины губы — горячие, плотные, с сильным запахом молока.

— Я вернусь сюда, я приеду к тебе,— говорил он сам себе вслух, не зная, что говорит.

— Я приеду,— сказал упрямо Егор еще громче.— И буду жить в дедовой хате.

Слова эти сами скользнули с его языка, и он удивился их ясности и простоте.

— Решено: буду жить в дедовой хате,— повторил он уже неуверенно, тише.

Они брели лугом — логом, к оболешевской дороге, оставляя в росной траве перевиваемый след. За спиной у него оставалось видение — встреча со Стешкой, а впереди за речкой; уже проступала в рассеянном свете Курганная горка.

На Ярищенской дороге он услышал дизель — далеко, вроде в конце Тигановки. «Отец? — встрепнулся

Егор.— И почему он так рвет мотор?» Ему было стыдно теперь и подумать о той копенке, стыдно, но и хорошо.

Назад Егор возвращался бегом. Из обочины перед носом вымахнул конь, запрыгал — спутанный — по дороге. Остановился, взмахнул гривой, весь лоснясь под месяцем, — стройный красавец. Изогнув шею, скосил глаз на Егора и, вдруг присев на задние ноги, высоко вскинул передние, замесил, заколотил копытами воздух прямо перед собой. Звякнули пúты — о железо железом, и жеребец закатился тонким, сверляще-режущим ржаньем, постепенно съезжая к звериному рыку, потрясающему все его бугровое, жеребчиное тело; этот рык, словно бритвой, так же неожиданно срезало, и звенящий, молодой жеребичий призыв, дробясь о стволы ближних березняков, сшибая первый желтеющий лист, покатился по полям и балкам, по спящим деревьям и поселкам, до Курганной горки и выше, выше — до звезд. «Ишь, ты какой!» — восхитился Егор и обошел жеребца стороной.

Трофим проехал через весь двор под липу, где ставил обычно технику — сначала «газон», а с того дня, как ссадили с машины, — дизель. Когда ссаживали, председатель сказал ему для успокоения: тебе же, мол, лучше, на малой скорости меньше шансов сломать себе шею и, как обещал, закрыл глаза на эти его поездки домой в Тигановку. Как ездил человек после работы домой на машине, так пусть и ездит, только на тракторе: не терять же из-за пустяка хорошего механизатора.

С утра сегодня собирались выезжать на дальнее поле — на «колыму», пахать под зябь; был у Трофима при этом свой особый расчет: поработать ударно, до обеда вспахать норму и айда домой встречать своих честь по чести. Но выезд перенесли на завтра, и от ставшего вдруг лишним времени, стало искрить в мозгу: «Чего это они, братья и сестры, понаехали? Не ехали — не ехали, и нате, все враз. Это Стюшка стукнула, Стюшка им написала. А бабка подзудела, больно надо». Обида перехватила Трофиму горло, не давала дышать.

Для смелости — семь верст не крюк — он решил проехать в свою Тигановку «через гастронам». У магазина всегда кто-нибудь да толкается, словно ищут друг друга. Выпить выпили, а закусывали крапивой. Кто-то пу-

стил этим летом пушку, что, мол, крапива, так сваривается в желудке, что не токмо жена — автоинспекция, и та дух не приемлет. После такой закуски Трофима сразу же потянуло на изъяснение с окружающей его в данное время средой.

— Братья едут из города, — сказал Трофим своим ребятам — «крапивному семени». — Они меня будут... э... критиковать.

Сказал и тут же пожалел, но слово не воробей, вылетело — назад в карман не засунешь.

— Крры-ти-ковать? — удивился Замуруев Володька. — Они там орехом грецким закусывают, а ты... крррапивой. — И, сморщившись, пустил через зубы такую длинную зеленую змейку, что перепоясал кабину Трофимова дизеля.

— Учить будут, — выкладывал Трофим начистоту свою боль, — как жить, того-сего, — и ему становилось легче.

— Ну, и плюнь ты на ихнюю критику! — сказал в сердцах бригадир Семибратов, на что уж всегда невозмутимый, спокойный мужик. — Что ты у них кусок, что ли, просишь? Сам живешь, сам работаешь.

— Это факт, — согласился Трофим, — это точно. Сам живешь, сам работаешь.

Пока ехал, все старался те хорошие слова сохранить, не потерять по дороге, а как въехал к себе во двор, как поставил дизель под липу, так все и вылетело. Сидел, ждал, когда явятся к нему назад те слова, потому что выбегут эти родичи его городские и начнут сразу с пол оборота, вот тогда он им все и выдаст. А вышла только Устинья.

— Где мои... наши родичи? — сдвинул брови Трофим.

— Посидели все вместе, поговорили в дедовой хате, как люди, и, должно уже, на боковую улеглись.

— Как... посидели? Как... поговорили? Без меня, без брата рѳдного? Не дождалась, со мной не посчитались?

Руки сами рванули рычаг, Устинья едва отскочила, как дизель уже мчался зверем на липу, за липу, заходил вокруг курятника кольцами, взрывая землю, швыряя ее из-под гусениц на овечек, таращившихся из загонки, на будку Шарика, на саму Устинью. След становился все глубже; кадка, детские сапки, пионы в па-

лисаднике — все летело под гусеницы, кольца приблизились к дому...

Устинья стояла, как столб.

Наконец дизель повело снова на липу, лину трянуло, гусеницы взрезали воздух и замерли; листья сыпались на кабину. Устинья уже мчалась к нему с кулаками: ай сдурел? — но увидела его, своего мужика, и да лучше не видеть.

— Не посчитались, — плакал, сграбастав лицо в ладони, Трофим.

— Пьяные слезоньки, слезоньки пьяные, — говорила Устинья все слабее, все мягче, подставляя под мужа свое худенькое плечо. — А на дворе, гляди, ночь, — и сама боялась за него: таким еще не видала Трофима. И душа обламывалась, замирала, и ранился о него, такого раскисшего, взгляд.

— Да ведь не дождались, мать, не посчитались, — сказал Трофим уже совсем трезво. — Судить приехали меня, осуждать.

И тут же обмяк, навалился на плечо жены. На крыльце оба остановились, Устинья всхлипнула, удержалась за ручку двери.

А ночь была глубока; месяц совсем обволокся туманом — таким въедливым, плотным, от речки, что, кажется, нитки сухой не осталось ни на самой Устинье, ни па всей Тигановке, — такой был он, теплый, слезистый, падушый, этот туман, так гасил все живое. И только коростель драл из сухой доски свои ржавые гвозди. И тут на другом конце деревни, от отцова дома, раздавалась грузная, неостановимо железная поступь шагов. Звук никуда не сдвигался, держался на месте. Устинья остановилась на порожке, прислушалась и — покачнулась, едва ухватилась за дверь, ей показалось, что сердце ее, захоловув, оторвалось от нее, как желтый листик от лица, и вон уже где-то там летит и колотится, бьется болью своей о глухие овраги и косогоры, и сама она колотится всем телом своим вместе с ним.

— Железо у трубы оторвалось, — хватанул поздрями Трофим свежий ток от реки. — Надо прибить, лестницу тащить туда.

— Спать, спать, спать, — успокаивала его и сама себя Устинья и, как маленького, подталкивала его через порог.

— А они... чего? — тормозил он спиной.

— Городские-то? В дедовом доме,— упиралась она ему подбородком в плечо.— Надюшка прибежала за «каролинкой». Говорит, выгребли, вымыли, сена постлали.

И тут где-то в ночи возникла гармонь.

— На старом «пятаке»! — определил Трофим и устался вдруг в Устинью: — Моя гармонь!.. Ты, что ль, кому отдала?!

— Да приходили тут... праздник же,— похолодела Устинья.

А Трофим уже рвался в ночную темь на звук гармошки, увлекаая жену за собой.

Гармонь вывела Егора со Стешей к старому «пятаку». Давненько здесь не плясывали, не голосили частушки, потому «пятак» зарос мелкой, плотной травой, его обступали спутанные, лесистые заросли бурьяна.

Егор увидел отца: тот сидел, привалясь затылком к давней щербатой раките, и наяривал на гармони. Чуб его свалился на планки, время от времени Трофим выкрикивал искусственно, как-то слишком уж магнитофонно, очередную припевку и опять валил чуб на планки. За одно плечо придерживала его, тянула к себе Устинья, другое — клонилось к Колчаку.

— Э, да разве так игралось, бывало, на свадьбах? Сутками,— дышал отец на ухо старому Бобырю.— Ажник руки вздувались по локоть.

— Каналья! — кричал дед Бобырь.— Ты это... мою давай, эту... «Подгорную»! — И ставил левую, тонкую ногу на правую, кривую, в черном подшитом валенке, пришаркивал пяткой, строясь под звереющую в сильных руках Трофима гармонь.

С частушек Трофим скользнул на песни, с песен — на танцы времен своей молодости, на все эти военные и послевоенные вальсы, фокстроты и танго, переходя с одного на другое без каких-либо остановок. Что-то давнишнее, сладкое, из далекого детства толкнулось в Егоре. На каком-то, не помнится, празднике мать, еще молодая тогда, подошла, гуляючи, к отцу — гармонисту, прислонилась к нему, подтянулись другие женщины; даже бабка Галя притащилась с кухни, подперев губы пальцем, все глядела раздумчиво, как Трофим, укрыв мехи чубом, вслушивался в то, что дела-

ется там, в гармопике, как в своем собственном сердце. И вдруг, не выдержав, отец отвел плечо, вскрикнул:

Целый вечер с Клавою
Я по речке плаваю,
А причалить не могу:
Муж стоит на берегу.

И пошло — покатило — поехало весело, игриво, под один, под другой наигрыши.

Вот когда Егор до конца почувствовал себя, что он свойский здесь, человек земной, деревенский. Кто-то двигал ногами, как заведенный, растирая в труху все эти лопухи, лебеду, глухую крапиву. Кто-то принес отцу квасу, тот выпил, не бросая играть.

— Домой, домой,— тянула Трофима Устинья.— Ну идем же, пусть молодые веселятся, а нам пора, нам домой.

Все еще кобенясь, Трофим припечатал гармонь к табуретке. С того края деревни продрал горло петух, сухо зашлепал крыльями, но его не поддержали, не отозвались на клик: все его боевые товарищи пали сегодня под бабкиным топором, а по другим дворам кур не водили.

Отец с матерью шли домой верхней дорогой. Егор узнал их по голосам и двинулся следом. Ракиты прикрыли небо, хоть глаз коли, ни звездочки. Сухие молнии обозначали иногда краешек степи; беззвучные, они вспарывали небо синими саблями и так же уходили — беззвучные — в землю. Было глухо, даже рожь, созрев, не звенела в ожидании своего часа,— и оттого еще больше давило тревогой, ощущением того, что в мире что-то не так, неустойчиво, вот-вот это что-то подломится, раскатится, как ванька-встанька. Так долго не сможет висеть эта стеклянная, оцепенелая тишь. «Но почему, почему не умеем счастливыми быть мы все одновременно? — смотрел Егор вперед по дороге, куда ушли отец с матерью, отец загребал ногами толстую летнюю пыль.— Почему так: кто-то радуется, а кому-то страдать? Неужели счастье одного строится на несчастье другого? Неужели нельзя, чтобы все были счастливы разом?..»

Отец, как в трубу, гудел, материн голос вился вокруг отцова, то сливался с ним, то затихал. Кажется, небо стало еще ниже, легло тучами прямо на плечи; синесухие, беззвучные молнии ширяли где-то уже за спиной. Егор провел ладонью по волосам и услышал легкий шорох — электрические разряды.

Мать тащила отца, временами они останавливались, мать встряхивала его, снова подталкивала вперед. Наконец, они добрались к сеновальному сараю.

— Опять напился,— укорял отца голос матери.— А ведь не крапивой закусувал... Все льешь и льешь, никак не зальешь брюхо свое ненасытное.

— Уmmm,— мотал головою отец.

— Какой пожар заливаешь? — упрекала она отца.— Все качаешь, качаешь в себя эту геенну.

— К-какой п-позор заливаю? — остановился отец у сарая.— Зачем гармонию мою отдала, зачем?!

— Гармонию? — рассмеялась мать нервно.— Все, брат, отыгрался, уж седые виски.

— А гармонию не трожь, поняла? — сказал отец почти трезво.— И письма им не пиши.

— Трофимушка, да ты что?? — удивилась мать.— Милый мой, да какие-такие письма? Кому?

— Братьям и сестрам моим — вот кому! — сказал отец совсем трезво.— На позор меня перед всеми — смотрите! Дожил до такого, видали? — дернулись у отца плечи.— Понаехали, учить меня будут... Я тут в деревне лошадь, из дерьма и навоза не вылажу, а они там в городе смену кончили — белую рубашечку надели, портфельчик под мышку и айда по асфальтику семечки лускать... Написала письмо им, эх ты!

— Ну написала,— сказала мать низким голосом, твердо.— Ну написала!!! Не пей, не губи себя...

— Ты?! Написала?!! — опешил отец и кинулся за ней, пытаясь схватить за волосы.

В доме зажглось окно. На порог выскочила бабка Галя: ах, да зачем же трогать его, такого, да завтра бы с ним поговорила. Мать закричала не своим голосом, и невесть какая сила выбросила Егора из-за ракиты.

— Не смей,— вырос он перед отцом.— Не смей!! — И надавил отцу на плечо.

Отец так и присел. Смотрел на Егора, ничего не соображая, наконец, в мозгах его что-то сдвинулось, переломилось.

— Отца родного? — опадал он плечами.— Родного отца-а??

И ткнулся лицом в ладони себе и зарыдал.

— Иди проспись,— сказал Егор ему уже мягче.

Но отец не слышал, он брел от людей, от деревни

куда-то в выкошенные и снова заматеревшие в жесткой отаве лога.

За березняком начинало брезжить. Устинья вздохнула кратенько: уже вот-вот и на дойку. И ступила через порог, а коридор одолевала на цыпочках.

VI.

С утра Северин проснулся с желанием что-то делать. Солнце согнало рассветную хмурь. Ветер колыхал огромными, в рост человека, метлами крапивы, и они качались под окнами, доставая острыми пиками наличники, карниз и даже крышу.

Северину вспомнилось, как трепало с вечера лист железа где-то возле трубы, и он сравнил эти мрачные размеренные шаги с кукованием кукушки, отбивал такт рукой — раз, два, пять, десять — многие лета; он так и заснул вчера с легким сердцем. Прогнав вчерашнее, Северин засвистел под нос «Коробушку», собрался пройти по кладовкам-сарайкам, поискать отцовы топоры-молотки, рубанки-фуганки.

Вышла в сени Варвара, собиралась к себе, в свои Синие Дворики. Северин присел на порог и задумался. Строили-строили дом, выделявали-охорашивали, сколько сил, сколько времени, и все в пыль, на распыл? Да заведется ли эдак хоть что-нибудь в нашем кармане, когда так легко бросаем на ветер добытое муками, потом-кровью, трудом?.. Как довелось провожать его, старшенького, в ФЗО, мама всю ночь не спала: зашивала, латала одежду, пекла на дорогу «тошнотики» из мерзлых, подобранных в поле картох, из последней муки...

Подкатил все тот же темно-вишневый «Москвичок»: Романов — за Варварой.

— Я, Сева, скоро, — сказала она и развела руками. — Хозяйство — корову подоить, поросенку дать, гусям...

Столярка была в угольном сарайчике. Оклеенная пожелтевшими газетами, она сейчас больше походила на склад всевозможной рухляди. Северин скрипнул дверью — ударило спертой смесью из запахов керосина, пыли, затхлой муки, проросшей картошки. Окошечко, засиженное мухами и все в паутине, пропускало света столько, чтобы не ткнуться носом в какую-нибудь кадку, не сломать себе шею. Постепенно глаза привыкали. На верстаке лежала недоструганная доска, воткнул в нее на по-

лувзмахе рубанок; здесь из дерева делали, что хотели, что нужно. В железной бочке похозяйничали все те же мерзкие, долгоносые существа — комбикорм перетерт, перемочен, непонятно, чего в нем больше — корма или еще чего-либо.

Буравчики-глазки кололи Северина из-за бочки. Северин повернулся спиной — они следили за ним уже из-за ящика. Северин взялся ходить по сарайке, что-то делал, о чем-то думал, а они все кололи, буравили — из угла, со стенки, из-под верстака. Крысы, крысы, всюду они, эти крысы, мерзкие, лобастые, ушасто-глазастые твари; не укрыться от них, не побыть с собой наедине, всюду они — за спиной, перед носом, над головой. Северин толкнул от себя оконце — стекло поддалось, и свежий, на сене настоенный, воздух ворвался в столярку.

Словно мальчишку, увлекала Северина каждая вещь, каждый предмет из бывшего. Ярче всяких слов говорили они, как здесь вековали отец с матерью. Мальчишески острое любопытство заставило Северина шагнуть дальше вниз, в неприкрытую дверь, на порожки из пористого природного камня. И вдруг шибануло холодом, гнилостным духом. Северин хлопнул себя по карману, зажег спичку, зыбкое пламя поднялось над головой. Так... закром, отгороженный досками. В закрое мерки три еще прошлогодней картошки. Сюда, видать, и навывался Михаил. Северин чиркнул еще — спичка сломалась, еще... Так, а вот на досках, в самом углу, еще курит от трубок едковатый свекольный душок.

Это открытие удивило Северина. Тут же кучка сахарной свеклы; тоже еще прошлогодней. Дела-а...

— Северин, Сева, — как с того света, полыхнул снаружи голос Варвары.

Все еще думая о находке, Северин заторопился из погребка. Взял с верстака молоток и пожевку, искал глазами банку с гвоздями, вышел из столярки наружу, на голос сестры.

— Долго ли на машине, — мягко стелила Варвара. — Раз, два — и в дамки... И корову подоила, и в стадо выгнала...

— А я вот крышу решил починить, — приподнял Северин руку с ножовкой. — А то течет, хлопает, как вальком по белью.

— Как вальком, как вальком, — подхватила Варвара. — Починить крышу надо, чего ее не починить, — хо-

дила она по пятам за братом в своем ярком кримпленовом платье, не знала, как к Северину подступиться, разговор вчера затеялся так хорошо, а сегодня она боялась его продолжения — дважды подряд хорошо не бывает.

Подпустив дымку, «Москвичок» с Романовым укатил по своим неотложным делам. Северин искал лестницу: перерыл все постройки-пристройки, заглянул даже в сарай, здесь когда-то стояла корова, а нашел ее перед хатой, в крапиве, где вчера ее бросил Егор.

Северин приставил лестницу к крыше, едва наступил — проножка хрясь под ногой; переступил выше — опять гнилушка; ударил кулаком по третьей, четвертой, прибитым вчера Егором, — те, поновее, еще ничего. Вернулся в столярку, стал налаживать верстак, выносить мусор, вид давать рабочему месту, а уж после принялся строгать, пилить, приколачивать. Стружка мягко шла из-под фуганка, вилась-завивалась румяно; пахло вкусно, смолисто, обжито.

— Северин... — сказала Варвара и выдохлась.

— Чего, сестра? — сдвинул Северин свои сросшиеся, отцовы брови.

— Как ты думаешь, Романов у меня ничего?

— Живешь, однако.

Закрепить лист было для него парой пустяков. Да не в листе оказалось дело: рядом сквозили такие дырищи, что не только кулак — сам головой с плечами пролезешь. Принялся прибивать железо, а тут доски кое-где провалились, с потолка крепить надо, заводить под стропила. Руки Северина привычно задвигались, мысль заработала — где что отрезать, куда что приставить. Крыша под ним загудела, заохала, молоток шумно проехал вниз до самого края.

Варвара извлекла его из полыни, высокая прическа с короной вновь появилась в конце крыши над лестницей.

— На, — протянула она молоток. — Так, что я говорю, — присела она внизу на большой зернистый песчаник и тянула голову вверх, на крышу, к Северину. — Работа у меня такая, каждому угоди. Вы, говорят, продавцы, так теперь наловчились — и от яйца отольете. Вы на кого, говорю, прете, как на буфет? Думайте, что говорите. — Вон в Алатыре продают масло крестьянское, так, заметьте... пятьдесят на пятьдесят маргарина. Где это вы видели, чтобы крестьянин в масло пихал марга-

рин. А напиток молочный — на две трети воды... А вы меня, говорю, чуть что — по глазам стებაь, от яйца отольешь... Невозможно работать, народ хамский пошел.

— Так деньги же платят, кровное, заработанное, — между делом бросал сверху ей Северин. — И хотят иметь настоящий товар. Пятилетка качества, понятно?

— Пятилетка пятилеткой, а от прилавка требуют невозможное... Так я что, — заговорила Варвара иным, вкрадчивым голосом, — в наше время ничего невозможного нет, все возможно. А как заболела, так эти на дом ко мне, все бабы: когда да когда магазин откроешь? Открою, говорю, когда здоровычко позволит, не лошадь, одна на полсельсовета... Так я про что? Ах да, вот про что. Намедни приехали тоже из Ленинграда, такие культурные; говорят, отдыхать будем у вас, изучать эту... этнографию ай географию. В магазин заходят ко мне на цыпочках — чаек, консервочки спрашивают. Шурка-московка их к себе жить пустила, а у самой, ясное дело, ни коровки, ни черта, лодырь. Ну, я им то молочка из дому, то вот, хек привозили, хека взвесила. Стараешься, стараешься для людей, а никакой благодарности... Верно говоришь: надо Володьку мово определять, десятый кончил, и хватит. Он у меня не что-нибудь — с головой, Володька-то, и послушной. Верно говоришь, надо туда его, Сев, к тебе, в хороший город, в хорошие руки...

Северин рыскал по двору, искал посудину, в чем бы навести раствору, обмазать трубу. Песок с глиной он заметил в столярке; мама всегда содержала печь в чистоте — вовремя затираала, подбеливала, и этот песок с глиной, верно, еще она на зиму припасла. Конечно, трубу надо укрепить, пока совсем не развалилась: глину между кирпичинами вымыло, верхнего кирпича нет, сбоку один, как на ниточке, и ребенок пальцами вылучит. Но, оказалось, ни корыта, ни бадейки. Чертова жизнь.

— Чего тебе? — таскалась следом Варвара.

— Грубку бы растопила, — буркнул ей Северин. — Вчера тяги не было. Ай в дымоход камень попал, перекрыл дымоход?.. Хотя погоди, полезу на потолок, пробью кожух, может, все дело в саже.

На потолке чего только не было: соломенная, еще отцова севалка, худой эмалированный таз, в тазу кукле-

нок, оцинкованная детская ванночка с чем-то серым, слежавшимся в камень: соль, запасец на всякий случай. Северин взял в руки кукленка в выцветшем, голубеньком платишке: тряпочный, с жидкими льняными волосиками, из дырки в животе сыплются мелко опилки, и живот на глазах опадает; то ли мышь потрудилась, то ли так было. Чем-то далеким, хорошим, как сказка, поскребло Северину сердце...

— Попал бы к тебе туда, в хороший город, в хорошие руки,— доносился снизу из сенец голос Варвары,— душа материнская была бы на местушке.

— А че ему в городе? Тут разве плохо? — отвечал Северин сестре и вертел голубого кукленка на свету, перед дыркой в крыше.

— Человек ты трезвый, работник,— твердила свое Варвара.— Делу научишь, глядишь, малый и заценится и пойдет...

Острее солнечного луча вдруг просквозило память Северину. Это было давно, так давно, когда в житейских списках еще не состояла ни Варвара, ни Михаил, ни даже Трофим. Отец привез из города этого голубого кукленка — льняные волосы, веселенькие глаза. Как раз сели обедать, когда отец вытащил из-за пазухи голубенького человечка. «Вот», — сказал он и подал его маме. — «Значит, будет девочка?» — улыбнулась она. «Какая девочка?» — наострился он, тогда еще просто Севка, болтая над полом ногами. — «А такая, сестренка твоя, — смеялась счастливая мама. — На кого мы, по-твоему, все это время денежки собирали?» И кукленка отдали ему, Севке. Он играл с ним на травке, на солнышке, ходил с ним за речку и, когда ложился спать, клал под ушко к себе на всю ночь... Но родился тогда Трофим, а уж после Трофима — Варвара...

— А, поди, дом пустой,— вздохнул Северин.— Где жить людям негде, а где пропадает.

— Первое время, может, и поживет,— как эхо, отзывалась Варвара.— Так у вас хоромы. Три комнаты на двоих, Витька же от вас это... отделился.

— Так что я — разве негде, живи.

— Ну вот,— обрадовалась Варвара.— Да мы разве сына забудем? Это же на первое время. А потом и кооперативную построим, и на машину дадим. Будет вас с Зиной раскатывать по Ленинграду, в леса по грибы...

— В леса по грибы,— смотрел Северин на сестру

сверху вниз, с потолка.— А тут, в дедовой хате, жить некому.

— Ну, мой Володька тебе не какой-нибудь, не последний,— поджала губы Варвара, поправила на затылке корону.— Да и мы с Романовым пока с руками — с ногами, не бесталанные. Уж одно дитя как-нибудь определим. Найдутся добрые люди...

— Вот, гляди, узнаешь? — протянул Северин ей голенького кукленка.

— Чертик с рожками! — всплеснула руками Варвара.— Это же чертик, мы с Мишкой ему приделали рожки.

— Голубой человечек,— подтвердил Северин.

В самом деле, в кожухе столько сажу скопилось, мудрено, как печь вчера затопили. Северин извлекал из «окна», пробитого в кладке, уже третий тазик. Рукава он закатал по локоть и теперь не стеснялся, выгребал сажу прямо ладонью. Слова, сказанные Варварой, шли к сознанию издалека, задним ходом. «Я-то уж и не помню, когда жил в деревне,— возражал он сестре молчком, про себя.— Сейчас бы, может, и не поехал обратно. Все, отпочковался, Северин Петрович, ты человек теперь завершительно городской. Все твои коммуникации в городе. И годы не те, чтобы все это обрубать. А здесь, в деревне, только память и боль, вот-вот, как под снег, уйдет вся твоя фамильная деревушка...»

Он заложил и обмазал «окно» в кожухе и стал спускаться, Варвара придерживала шаткую лестницу.

— Мой Володька-то, сколь заработал на свекле в колхозе, все принес домой до копеечки. Кто из дому тянет, а этот домой. Как девка какая, оболъется лицо краской: ты, мам, перстень купи мне, печатку (где-то в городе видел) или этот... портативный магнитофон... Ну, а как же, говорю, сыночек, ты у нас десятилетку кончаешь, тебе надо. Разве, Сев, такому откажешь? У нас деньги дома везде: по карманам, в столе, на шифоньере, мода такая — никогда не считаем. Так Володька ни копеечки, никогда, боже избавь. Экономист такой, голову куда зря не сунет...

Присели во дворе на пенек. Северин слушал сестру — не поддакивал, но и не возражал. Перевел взгляд с Варвары на крепкую, свежесмазанную трубу над крышей: ишь, какая — стоит и еще постоит, куда денется. Ветерок с полей перебирал седины его когда-то льняной головы, охлаждал голубые глаза.

— А я думаю, кто ж это спозаранку грохочет, а это вы тут... частный сектор,— вышел на порог, потягиваясь после сна, Михаил.

— Завтракать, дорогие наши госточки,— вбежала во двор, запалившись, Устинья.— А Трофим случаем не заходил? А Кузька, не было Кузьки? С утра сорвался куда-то и как ключ на дно.— И побежала дальше, в сторону водокачки.

Северин привстал с пенька; подскочила, как на пружинах, Варвара. Они шли деревней на другой, Трофимов конец Тигановки, и размеренно, тяжело шаги старшего из Тигановых бухали по земле, по стежке, натоптанной ближе к хатам, возле штакетников, отдавались в луже на самой середке дороги. Варвара подсеменовала рядом, старалась попасть брату в шаг.

— Ты вот что,— косил голову к ней Северин,— я же не против Володьки. Кровь родная, племяш... Только в городе тоже не медом мазано. А тут корень все же, деков дом...

— Не Володьке мому его подпирать,— пыхнула, сказала, как отрубила, Варвара.

VII.

В то же утро Кузька поднялся не с той ноги, ходил с желтоватым лицом, болезненно морщился на обильный солнечный свет. И был он худее обычного, за какую-то ночь истончился в лист, штаны висели на нем, как на колу.

— Поди гусей отгони,— приказала бабка Галя.

Кузька и ухом не повел; как сидел на дощатом ящике подле липы, у трактора, так и остался сидеть.

Загыгыкали гуси жестяно, стали охлопывать себя крыльями, словно пробуя, способны ли они лететь на кормежку в поле, под комбайны, но близость месива, которое бабка Галя заводила для поросят, отягчала им тело. Бабка Галя в какой раз шугала их, и они в какой раз отскакивали от чугуна с благородно поднятыми головами, делая вид, что они пошутили.

— Отгони ты этих чертей! — утвердила свое приказание бабка.

Кузька, наконец, отыскал хворостину и погнал их благородие к речке. Движение сделало свое дело: Кузька зацвел лицом, заметался по подворью под бабкину

дудку — слетай на грядки за луком, вычисти у овец, накачай в бочку воды. Мать еще не возвратилась с фермы, и Кузька, войдя в колею, исполнял привычную работу, ожидая гостей из дедова дома — городских дядек и тетку. Иногда, пробегая мимо, скидывал он мохнатые ресницы на зашитое жестью оконце в чулане, где еще спал отец.

Первым прибыл Северин, подходили и все остальные.

— Ну и как вы тут? — кивнул Северин бабке Гале, сунул Кузьке огромную руку, спросил: — Трофим еще не появлялся?

— Хозяевуем, — изловчась своим сухоньким тельцем, бабка Галя подхватила и потащила на животе поросяткам ведерный чугунок.

Прибежала с фермы Устинья, стояла на пороге с кружкой молока, ела с хлебом и говорила, как и что у них там было сегодня на ферме. Все стянулось к Устинье, интересно все же, с чего вообще-то начинаются у нас молочные реки — кисельные берега.

— Ты бы прикорнула маненько, — пожалела старая дочку, — с ног собьешься не спамши.

— Да ладно, — отмахнулась та куском хлеба, а сама все заглядывала в сеновальный сарай, не висит ли на столбе Трофимов пиджак. — Нынче слили, как никогда. Федька, молоковоз, говорит, и жирностью выше всех.

— Да уж городу что ни дай, — закричала бабка Галя. — Каждый день доють, доють, доють... Да когда ж хоть напьются?

— Миллионы, мать, в городах людей, миллионы, — поднял Северин указательный палец. — Знаешь, если каждого в ряд поставить, какая линия вытянется?

— Линия-то? По прямой ай по кривой? — хитрила бабка Галя, и глаза ее сделались маслянистыми. — Ежли по прямой, то у кого ты видал ее, прямую-то? А ежли по кривой, наш колхоз, небось, разов пять подпояшут?

— Язва ты, бабка, — подкалывал ее Михаил. — Все кусаешь. В рай, когда помрешь, не пройдешь по конкурсу, не возьмут.

— В ад попаду, тебе дверь отворю.

— Ты даешь! В привратники метишь? В аду чаевых не дают.

— Я, милоч, век отжила — на чаю еще не сидела, — не сморгнув, смотрела бабка Галя на Михаила. — И тебе

молочка надоим, надоим, милок. Оттерпужим этими вот мозолями, а надоим.

— Да это я так, пошутил, бабусь,— пошел на снижение тона Михаил.— Ну, возьмут, возьмут тебя в рай.

— Мне, милок, рай, где работа,— смотрела прямо в него бабка Галя.— А где работа, там и рай.

Едва гости разбрелись по дому и по подворью, как под крыльцо подкатил новенький темно-вишневый «Москвич» — вышли Варвара со своим Романовым.

— Явился? — кивнула она на трактор, уткнувшийся в лицу.

Только тут все, кто был, и заметили трактор и следы во дворе, кольцом вокруг дома, может, конечно, и раньше заметили, да ничего не сказали. И бабка Галя ничего не сказала, чуть свет они с Устиньей обивали лопатой рваный тракторный след, закрывали Трофимов позор.

А в это время Трофим сидел, понурясь, на постели в чулане и думал, выходить к братьям или, может, сразу махнуть на работу. Голова гудела, как пустой котел, и ныла, переворачивалась душа. И стыдно было перед самим собой, перед братьями, горько перед Устиньей, как он гонял ее ни за что, ни про что этой ночью. И видеть никого не хотелось, городские только и ждут момента, чтобы вцепиться в него. Но все же не виделось столько, все же братья...

Трофим вышел, наконец, из сеновального сарая и двинулся к своим. Братья обнялись крест-накрест, облобызались, отстранясь, оглядывали один другого, да, годы — это тебе не шутка, день ко дню — и пролетает вся жизнь. Хотя бы он, Трофим,— еще в той пятилетке куда был моложе: цыган волосом, боров телом и вообще здоровее. А сейчас, и сам видит, полегчал фигурой, изжелтелся лицом: или какая болезнь завелась, или осень к годам подступила? Было-было лето, да сплыло. В ворот рубахи три пальца всунутся, под глазами всего изветвило, а сами глаза молодые.

— Тут вот что. Вчера... это,— пускался Трофим в объяснение и отводил глаза в сторону,— собирались пахать «колыму».

— «Колыму» так «колыму», ядрена шишка,— подмигнул ему Михаил.

— Да вот так мы тут и живем,— обрадовался его улыбке Трофим.— Ты хозяйство им, бабк, показала?

— Не ходил бы сегодня на пчельню-то,— заворчала

старуха.— Ты сегодня плохой, не понравилась пчелкам.

— Ничего-ничего! Сейчас мы их обстукаем, обглядим.

Вот что гостей подцепило, что гостям интересно — пчельня. А прежде решили пройти по огороду, по постройкам со всякой живностью. Кузька вился тут же у всех под рукой: то нырнет на бакшу, выхватит из спутанных-перепутанных плетей огурец и, обтерев о штаны, сует каждому с радостным клекотом, то, приотстав от всех, подведет под куст свой картуз, сдоит ягод черной смородины, а потом догоняет, насыплет каждому в горсть. Тетка Варвара поглядывала на Кузьку, на его всегда сырую ниже подбородка рубаху и сама брала с ветки в рот по яголке, по одной.

Трофим хотел обойти стороной помидоры: сам сроду не ел и другим не советовал, но гости еще издали завидели их — подвешенные на палках и лежащие на земле, солнечные и жарко-пунцовые, сочные и мясистые, зрелые-перезрелые, кровяные — все эти «наполеоны», «шатиловские», «бычьи сердца», «груши» и «сливки». Помидоры были бабкиной гордостью, не один год собирала она по округе семена и рассаду, всякий раз наказывала привезти из города то-то и то-то.

— Огород-то как вроде поменьше был,— заметила Надюша.— До вишен.

— До вишен,— подтвердил Трофим доброй своей, белозубой улыбкой и махнул вдоль реки.— А видала, сколько земли? Берр-и-и... Алтаховы в город уехали, к полю их огород не прирастишь. Бабка и взяла, еще хомут себе на шею навесила.

Через все остальные грядки он, Трофим, проскочил еще быстрее — к пчелкам, на пчельню. Вишняк вокруг нее высох, осерел, стоял неживой плотной щеткой. На вопрос Михаила пришлось только пожать плечами: а черт его знает, то ли захват с речки — «мертвый туман», то ли в корне червяк завелся. А то, может, какая новая болезнь, или старые сорта, в самом деле, не выдерживают нынешней атмосферы.

Из омшаника пришлось вынести сушнячку — сосновые шишки, попробовал Трофим развести дымарь — не получалось. Плюнул, двинул к примеченному улью без дымаря.

— В этом улье что-то есть... не бойсь, своих не ку-

сает,— поднял он тяжелую крышку, спимая за подушкой подушки, палоченные сверх рамок для утепления.

Кузька уже слетал за пожом и тарелкой, стоял перед отцом навтыжку, зорко следил за его пальцами.

— Главное — не спешить,— весь ушел внутрь улья Трофим, пытаясь ногтем подцепить рамку,— главное — не делать резких движений.

Раздался радостный клич Кузьки: рамка оказалась удачной. Трофим попытался тут же пожом вывалить соты, полные меда, в тарелку — тарелки не оказалось. Не было рядом и Кузьки. Трофим огляделся: и Кузька, и гости выглядывали вон откуда, из-за курятника. И тут у него (аж засвербело за ухом) близко-близко и звонко висела, вела свою боевую песню пчела. «Надо было хоть сетку надеть»,— последнее, что вспыхнуло в Трофиме, как вдруг резкая, острая боль пронзила его чуть выше губы — в самое чуткое место.

Молниеносно он тоже был за курятником.

— Ну, чего тут стоишь? — намахнулся он на торчком стоявшего Кузьку.

— Не тронь его,— подвернулась откуда-то бабка Галья,— не обижай малого,— и, заохав, на ходу причитая, поплелась, потащила к пчельне прикрыть развороченный улей.

Тут же поблизости возился подле липы Егор, этот — надежда семьи, его — отцова — опора. Егор делал уголок для Устинчика: счистил лопатой глухую крапиву, ссек древистый речейник, огораживал повеселевшее местечко досками... С недавних пор Трофим пытается копнуть его глубже, отделить в нем свое, деревенское от городского, прислониться к сыну. И вдруг тот этой ночью отца вот так... за грудки... И сейчас Егор косится на Кузьку, думает о чем-то своем, он, отец, знает о чем. Это, мол, только у нас в деревне ведется так: держат гусыню, которая не сидит — не несется, корову с козьим удоем, хромого на все четыре копыта мерина, исправно веснами окапывают в полдвора кроной яблоню, с которой не помнят когда и кто пробовал яблоко.

Трофиму всегда казалось, что старший сын — Егор — любит мать больше отца. Вот и сегодня с утра так и прилип к ней, жалеет за его, отцова, ночное буйство; ходит за каждым ее шагом, следит, как старается, хлопчет она возле каждого из гостей. Собралась подвалить те-

лепочка: пусть мясца возьмут себе в город, разве в городе парной телятинки купишь?..

Солнышко припекло Трофимову голову, и он прошел через сад, скрылся в тенечке за сеновалом. Вскоре туда к нему прошли братья, присоединились к Трофиму, сидели на травке все вместе, выясняли общие точки, каждому — для сугрева родственных отношений — есть, само собой, что сказать.

— Видали, а? — поспешил выискать Трофим узкую щель в разговоре. — Егор — в городе, а Кузька... — тут. — Теперь нельзя было упускать слова, давать, чтобы братья повернули разговор в свое русло. — На днях новый комбайн... это... пригнали в колхоз из города. Позвали меня, пересаживайся, будешь хлеб на новом косить. Ну косить так косить. Дали помощником парнишку из школы... Да вы знаете Верку Андупову с Костина Лога, так это ее сынок — Васька... Такой наперсточник, от горшка два вершка, а все спрашивает, за все хватается, ну парнишка! Весь комбайн протер-перетер. А потом и говорит: ты, дядь, еще на старом комбайне, на «Коммунаре» ездил, а это — «Нива», понял? А на «Ниве», вишь, какие устройства: вентиляция, кондиционер. А ты взял да и снял этот... кондиционер. Давай, говорит, отремонтируем. Для того и мороковали там, в городе, инженера, чтобы мы тут с тобой делов больше сделали и не уморились. Верно, говорю, надо глянуть... Вот наперсток, вот шпингалеток, этот Васька!

Трофим дернул щекой — не дергалась, как одеревенела. «Должно, в нерв попало», — подумал Трофим о пчелином укусе. И так ярко, осязаемо представился снова этот пчелиный укус, что он даже потрогал щеку нарочком — не опухла ли? Нет. Зато все щемило сердце: «Надо же, написала всем, оповестила...»

Солнце взобралось выше, и даже в тени стало душно. Северин поднялся, скинул рубаху, обнаружив при этом белое мускулистое тело, подошел к колонке:

— А пу, Миш, включи.

Михаил потянул вниз рычаг — вода не потекла.

— Тебя черти! — выругался Северин.

— Сухо. Как в Сахаре, — подтвердил легким кивком Михаил и, насвистывая, впервые так внимательно стал разглядывать двор Трофимов: «Ничего устроились, живут люди... Даже Кузька у них инженер водокачки, на

деньгах. Трах кувалдой по крану... Один Кузька сделает, двое Васек не разберутся».

— Устюш,— услышался голос из-за сеновала.— Устю-уша,— и во двор вышла Тоська Корсакова, соседка через два двора слева, тоже доярка.— Здравсте,— поклонилась она братьям — Северину и Михаилу. И тут же повернулась кокетливо к бабке Гале: — А у вас из крана вода не течет?

— Нет, не течет, перестала.

— И у нас не течет. Говорят, какой-то черт трактором трубу пересек. Оголили на днях возле фермы — заменить хотят, подгнила. А он, дьявол, ее гусеницами так и перехватил.

— Кто же это? — сузила бабка Галя невинные глазки.— Кому это быть?

— Ктокало! — уперла Тоська руки в боки.— Небось, ваш Трофим... Да гдей-то он сам? Чего прячется от меня, как красная девка, не съем.

— Может, оно и Трофим,— смотрела бабка Галя на нее исподлобья, недобро.— Придется, Тоськ, в колодезь пока походить...

— Воп и двор свой, гляди, как исчересполосил, Трофим энтот,— не сходило перед братьями с Тоськи кокетство.— Черти бы взяли их с ихними магазинами — консервы одни да бутылки. Ишь, как исчезал двор, старатель.

И пошла, засверкала своим жарко-огненным, в синюю розу, сборчатым платьем — купила еще весной в автолавке, да все некуда было надеть, не представлялось момента. И пошла-поплыла, изогнулась талией, длинной шеей, приосанясь, высясь в туфлях на каблуке. «Опять за свое взялась, круговая», — плюнула вслед ей бабка Галя. И Егор смотрел ей вслед, а сам думал о матери и видел ее вот такой же — незаморенной, без морщин, без седины, славной белой лебедушкой. И отца рядом с ней — гармониста, с чуть раскосым взглядом, свешенным набок чупрыной... И с чего берутся так рано морщины, и тускнеет взгляд, и шершавятся руки, жестче делается душа? Все работа, работа, как будто и нет ничего, кроме нее, никакой другой жизни. А скажи про это, еще и заклюют, закидают камнями; мол, а как же иначе?..

За сеновальным сараем, подальше от глаз, туфли у тетки Тоси сразу сделались ломкими, походка вихлястой.

Еще пару шагов (Егор видел это в проем между ракетами) — и тетка Тося, стоя, скинула одну туфлю за другой и пошла босиком.

С прошедшей ночи, когда он, Егор, стал свидетелем того, как отец бросился с кулаками на маму, Егор не ведал покоя. Как же так получилось? Ведь отец, он знает, ее — его, Егорову, маму — любил да и сейчас еще любит. И вот этот крик, кулаки...

«Как же в хитросплетении жизни выбрать свой вариант, в каком бы ты был счастлив, оттого что не чинишь вреда людям, что живешь так, что тебе хорошо, а от этого хорошо и другим? Как связать людской эгоизм, стремление быть кем-то, над кем-то с необходимостью не обидеть слабейшего, сделать так, чтобы вершилось все совестью? С чего начинается всякая несправедливость? Не только с желания сильного подчинить себе, по прежде всего с дозволения слабого...» Давно, еще в детстве, он, Егор, вместе с отцом видел в одной деревне жуткое чудо: темная комнатушка за печкой, кровать во всю комнату, во всю кровать что-то бесформенное и живое — ребенок без глаз, без движения, один только огромный в поллица, рот, который всегда приоткрыт — хочет есть, хочет пить. И мать-крестьянка — на животе покорные руки, низко опущена голова... Да, тем скорее сходят с тебя все эти городские прессы и стрессы, когда знаешь, что где-то кому-то в жизни чуточку хуже... «И все же мама, наверно, не должна была делать эту приписку»...

Егор снова оглядел двор: посередке овечья загонка, ведра, корыта, доски, к колодке, что в грязи, не подступиться. Он прикрыл веки: овечья загонка отошла за сеновал, корыта и ведра исчезли в курятнике, дырки в сарае забились досками, колонка двинулась в сторону, к липе. Место вокруг нее зацементировалось...

Егор шел по деревне. Никогда не думалось, что их Тигановка все-таки, ну как бы сказать, неухоженная. Всегда, когда там, в городе, делалось трудно, он вызывал в памяти эти свои места, все в садовой заросце, о юркой речкой Чистюнькой, видел Курганную горку напротив, так похожую издали на голову спящей собаки — положил Тузик уши на березовые, серо-белые лапы и спит; и тихо так, так кругом хорошо; а вот плохое не вспоминалось Егорке. Зачем?

Корсаковы сыпят золу напротив себя, на дорогу; между Корсаковыми и Бобыревыми — тухлая, зеленая

лука, в луже — колесо и рваный промасленный ватник; под окнами дедова дома возле самой дороги погреб. И через всю Тигановку — ухаб на ухабе, и ездят теперь не по улице — по-за огородами, верхней дорогой. И дел-то всех — сгрейдировать, счистить татарник, в своих руках техника...

Распалив воображение переустройством родной кочки, а через нее всей планеты, Егор торопился домой. И вдруг носом к носу столкнулся с отцом.

— Видал улицу? Тошно смотреть: яма на яме! — взял Егор сразу быка за рога. — Бульдозером бы хоть прошелся, отец.

— Давай наряд — пройдуся, — спокойно ответил Трофим.

— Так ведь ты же в основном все и разворочал, отец.

— Ну и что? — поставил глаза на Егора Трофим.

— А то, что ты тут живешь. Для себя бы хотя постарался.

— Живи и ты, — пожал плечами отец. — Садись на трактор, давай.

И решительно повернул к дому. Вскоре отцов дизель прогремел верхней дорогой на центральную усадьбу — Ярище, а скорее всего на механизаторский стан.

VIII.

«Там и сям пустошь, будяк на будяке, — занималась в Егоре досада на мертвую тишь по дальним логам, перелескам, по ближним поселкам и деревушкам. — Уезжают в Одессу и Крым, собираются на центральную. От себя, братцы, не убежишь»... Мама щипала какую-то крупную птицу — ветерком тащило и цепляло, будто снежило, белый пух по двору. Она было выскочила на шум трактора, вслед за Трофимом, но трактор был уже далеко.

— Пускай охолонится, — шумнула с веранды ей бабка Галя, — а то больно горяч.

Егор все ловчился найти момент поговорить с мамой, сказать все же, что она не должна была делать эту приписку и так обидеть отца, но момента для этого не нашел: всюду люди да люди. Не дожидаясь завтрака, он нашарил в чулане стеклянную поллитровку из-под томата и, отмахнувшись от бабкиных коржиков, собрал-

ся по ягоду на тот берег Чистюньки, на Курганную горку.

Вот и та самая копенка. Волглое сено еще не расправилось, не поднялось, казалось, все это сохшее после стальной кóсы позднетравье, все эти луговые овсяницы, золотышники, длиннобудылые чины и чистотелы, душицы, шалфеи и буквицы еще хранили в себе очертания их близких тел. Егор поднял клочок сена, и в туго спрессованном запахе луга восстала живо картина прошедшей ночи. «Если кровь сейчас не потечет,— загадал он, подставляя к мизинцу острую, как лезвие, осоку,— значит, все мне прощается. Снова чист перед всеми, совесть снова чиста. И все у отца с матерью будет ладком, хорошо...» Пересушенный лист осоки сломался.

Егор перевел взгляд за речку: отсюда Курганная горка еще больше была похожа на собаку, на пегую русскую гончую; по белобокому березняку вразброс черные пятна — это сверху, с поля, заходит в поляны уже вспаханное под зябь; и бежала — рябая, служивая — через луг, через речку, прилегла, придремнула в тенечке и лежит, свесив уши на лапы, и все слушает, слушает, сторожит, о чем это приборматывает в голышах — камышах речка Чистюнька.

На привычном месте плоскодонки не оказалось. Да и зачем она? Без плотины у Адамовой мельницы по мелкому — по голышам можно пройти теперь до середины реки, щиколотки не замочив. В зарослях ивняка на глаза Егору попались резиновые салоги — длинные, с отворотами по самые ягодицы, видно, этими сапогами тигановцы пользовались вместо лодки. Перебравшись через протоку, он аккуратно скатал отвороты, сунул вездеходы в приметное место — в островок крапивы, опутанный диким хмелем, и двинул выкошенным плоским, как стол без скатерти, лугом к подошве Курганной, на самый глаз «спящей собаки».

Силы прибывали в Егоре. Все, что увиделось и услышалось дома ночью, сходило с него, хотелось идти и идти по земле — напрямик, напролом, но только опаска спугнуть легкую пичужную кавалерию, осыпавшую обочь репейники и рябины, сдерживала это его желание. Слева грузно поднялась дикая гуска, тут же юркнула в камыши. Знает ее повадки Егор: от гнезда уводит; бывает, уведет вообще со двора целое стадо одомашненных

«летунков», высиженных простой гусыней из диких яиц. Соседи над хозяином тогда только подтрунивают: называется, сэкономил («летунка» хлебом не корми — дай слетать на колхозное поле), поберег перышко — потерял головушку.

Вблизи оказалась вовсе не комариная кочка — среди выкошенного темнел травяной островок, а в островке — гляди ты, гнездо, а в гнезде — ну и ну! — гускины яйца. Одно в одно, всего одиннадцать штук. «Бедненькая, что же ты так припоздала? — отступил Егор на шаг. — Когда это еще ты их выпаришь, на крыло будешь ставить, а там, глядишь, и снег на голову». И перед глазами его поплыла, закуржавила, забеленная, как у них во дворе, трава, и от этого снега ему стало как-то не по себе. Он сломил зеленую ветку и положил на гнездо — от коршуна да и от солнца.

Теперь погу приходилось ставить сторожку, не наступить бы на кузнечика или мураша. А Устинчик сейчас пьет, небось, молоко — парное, деревенское: правой — схватил, держит бутылочку, левой — мамку отпихивает. А Ивашка там, в городе, с тещей...

Резко вверх от плоской земли полез короставник, началась она, Курганная горка. И сразу же взялась по крутому скользью; склон под деревьями все еще сыр и росен; Егора окатило сумеречным, духмяно-распаренным воздухом леса, а к потному лбу пристраивался, звенел-вызванивал, выходил из себя комарик-пискун. Глаза привыкли, и пошла попадаться земляника — огоньки-фонарики; поклонись травке — заметишь ягодку, не поклонись — проходи. Алюю — в банку, зрелую — в банку, покорявее, помельче — себе на язык. Ягодка к ягодке, вот и скрылось донце, так играет баночка на открытом солнце...

Повыше земляника собиралась спорее. Пальцы липли, и губы не разведешь: сводит скулы от сладкого с кислым, такая червоная, такая нарядная, вся в белых семечках, богатырская ягода. А вот и траншея в березняке — земляной вал, глянешь вниз — голова идет кругом; до сих пор еще тут находят то кольцо от кольчуги, то кремневый топор. Местечко это с детства любимое Егором, и зовут его в Тигановке «кремлем». «Кремль» да «кремль». «Айда по ягоды к «кремлю». «В «кремле» появились грибы». Егор присел, уперся спиной в бере-

зу, сдернул — пятка о пятку — сандалеты, и легкая левая ушла в него через ноги.

Вон она, как на ладошке, за речкой, его деревушка, зем-ля-я! Вот они — в лесополосках — поля, косогоры, речка Чистюнька, Стрижиное озеро и синева, горизонты один за другим, без конца и без края. Не оттуда ли в по-за те времена наседали на «кремль» кочевники, двигались — конно и пеше — Азия на Европу... Ну, и ягодка же — земляника! Так похожа сладкая ягода на шелем древнерусский, этот горький, смятый железом шелем... Вот кочевники подкатились на своих конях-маломерках к подошве Курганпой, вот кривые сабли лезут тучей на «кремль» и руются на них сверху горящие бревна и камни, и льется огневая смола, и кровь льется, редеют наши ряды, и он, Егор, зажимает рукой рваную рану и стоит тоже насмерть: «Нет, не стерли нас, землю не осиротили»...

Со спины потащило ветерком, и Егор остро почувствовал резко-прогорклую, химическую примесь в воздухе. Ему, агроному, недолго было сообразить, что это — в лучшем случае — разорвались бумажные кули с удобрениями, а в худшем — удобрения эти лежат навалом где-нибудь на опушке.

— Аппчхи-и-и,— раздалось сверху, и яркая апельсиновая рубашка мелькнула за крапивной зарослью. Кузька! В руках его была большая стеклянная банка. Кузька спускался вниз, мотался туда-сюда, вправо-влево, приподнимал разлапистый папоротник, заглядывал под лопух, ягоды сами просились к нему в трехлитровую — только протягивай руку.

Блики бродили по лицу брата, он словно улыбался. Егору стало даже завидно, что Кузька здесь свой, а он, Егор, выходит, в гостях, и сюда, на это его любимое место, Кузька может приходить, когда вздумается, а он, Егор, выбрался с трудом; да и Курганная к Кузьке щедрее: уже под горлышко трехлитровая банка...

Но Кузьке было не до улыбок. «Чего им надо? — не давало ему покоя вчерашнее. — Чего они лезут?» — снова летели в него комья от негодных мальчишек и разбивали лицо, голову. Что-то страшное, не известное прежде вступало в него, начинало трясти. Он хватался за один березовый ствол, за другой. И кошка положила на горло ему толстючие лапы.

Егор смотрел на свою Тигановку. Какая удаля, просторы! Когда поступал в институт, само собой разумелось стать агрономом. Сызмальства, со школы, знает он окрест каждое поле. Бывает, приснится там, в городе, Адамова мельница или эта Курганная — дыхнуть невозможно, а после — закрутят, завертят дела, и снова живешь, ничего.

Воп дымок из трубы — у Тигановых, которые Лепьшины; бывало, с самим дядей Колей стерег в ночном колхозный табун. А во-он крайняя хата — Тиганова Ивана; это отцов троюродный брат, пятая вода на киселе; с ним косили жаткой эту самую луговину, в первый раз — высший класс. А воп под зеленой крышей, аккуратный такой, дом Корсаковых, Тоськин; еще с пятого класса бегал, бывало, к мамке на ферму, чтобы иной раз глянуть печально на бесстыжие Тоськины ноги... Все свои, все свои...

Егору вспомнилось, как Тоська, перед тем как выйти замуж в первый раз, за своего офицера, пришла на ферму заплаканная. Облокотилась о стол, посмотрела на него, Егора, по-особому и вдруг закрыла очи, запела. И по сей день та песня, как врезана в память, офицера уж нет, за Федькой-кошухом Тоська, а песня жива:

Гой ты, сокол, что не весел,
Что томишься в тишине?
Ай отвык от своих песен
В чужедальней стороне?
Или кто обидел лихо,
В горе горьком разлюбил?
Черный сокол соколиху —
Птицу вольную — отбил.

Кузька знал, кто кинул в него комком — Лепьшин Митяйка. Вчера, когда захрипело в колонке, Кузька полетел к водокатке — надо было успеть накачать воды до вечерней дойки. Издали завидел: кто-то стоит в провале окна, а окно — на верху башни, страшная высота. Это был Лепьшин Митяйка. Кузька испугался, ему показалось, что Митяйка хочет упасть вниз на землю, на бочки и камни под башней. Кузька бросился к шаткой металлической лесенке. Запыхавшись, поймал за рубаху Митяйку. «О-ог!» — склонял он Митяйку лететь, головой вниз — в черную воду, где-то там, на дне гулкого, невоз-

мутимого черного чана. Вскинулись от многократ повторенного эха голуби — десятки, сотни, целая колония; живут под самой крышей...

Уже внизу Кузька шлепнул Митяйку пониже спины. Митяйка отбежал на безопасное расстояние и швырнул в Кузьку комком земли. И тут на мотоцикле подъехал Володька — двоюродный брат, сын тетки Варвары.

— Ну, чего ты детей пугаешь, дура? — притянул он Кузьку к себе за воротник.

Не помня себя, Кузька поволокся домой... Это Митяйка швырнул в него, Ленъшин Митяйка. И расшиб ему лоб...

Солнечный луч выхватил лицо Кузьки, осветил лоб с царапиной: нет, оно не улыбалось. Встревоженный, поднимался Егор туда наверх, к самому Сторожевому. Он шел от ягодки к ягодке, от березы к березе, и все новые лощинки, куртины, поляны распахивались перед ним. И было все не так, как когда-то, земляника на знакомых местах уже не росла, да и сами места эти были уже почти незнакомы, зато возникали облитые красной ягодой совсем иные выемки и бугорки. Оттого лес казался неожиданнее, таинственнее. Каждая былка — живая — под ногой заходила от боли, каждая ветка ольховая, цепляясь, силилась что-то сказать, ствол разбитой грозой березы — с головой лося — следил за ним своим неусыпным зрачком, и когда Егор проходил от него поблизости, и когда нырнул за черемуху, и пока не вышел, наконец, на опушку.

Поле рванулось навстречу простором, светом, неограниченностью. Егор шагнул в пахоту и взял ком земли — весь в корнях и прожилках, груб, увесист, материален... Под крайней березой валялись бумажные мешки с вырванным боком. Еще школьником, когда работал однажды на практике, он увидел на краю Бадейкина поля сожженный пятак земли — жуткое дело. Егор окинул взглядом серое поле, представил, как в дождь все течет из мешка, все сжигает, и ему стало жалко ее, эту землю. И — бросив ком в борозду, впервые за всю свою жизнь так остро, так близко Егор подумал о себе, что ведь он агроном и тут не чужой человек, и — черт побери — он тут к месту, среди этих полей.

За пахотой — языком в березняке — продолжалась все та же поляна, выкошенная до самого Сторожевого. Единым духом Егор взбежал на Сторожевой, наверху

курган был широкий и плоский, по краешку растыканы затесанные лозипы. Егор шел и читал по затесам имена тигаповцев, среди них — его мать: косила свою делянку заодно с мужиками.

Егор копнул землю носком сандалета — ржавая гильза. И тут же сердце похолодело: гильза напомнила войну... Два дня и две ночи, рассказывают, отсюда до Тигановки доносились тогда пальба и взрывы гранат. Разведка наша, пройдя через линию фронта по речке, приняла неравный бой на Сторожевом. Последнего, раненого в живот, враги притянули веревками к дубу, стреляли из пулемета по очереди, пока не пересекли пополам. Да вот же, вот они, шрамы на дубе матером — дерево изувечено пулями, раны затянуты временем и с годами все выше... Егор отер ладонью испарину, и тут же, под шепот дуба, полезли сюда на него, на курган верткие цепи врагов — потные, синие рожи, вооружены автоматами до зубов.

— И-э,— раздалось откуда-то ниже, от «кремлевского» спуска.

Все в Егоре было обострено до крайности.

— А-о-у-ы,— повторился голос — тонкий, как бы волосяной.

Не помня себя, Егор бросился вниз.

Он увидел Кузьку между березами. Держась за ствол, Кузька бессильно стоял на коленях. И вдруг поднял вверх руки. Его трясло всего, он грозил кулаками кому-то, кричал что-то свое, несуразное всей этой небесной голубизне, деревне прямо перед собой внизу, отдаленной речке Чистюньке и совсем близким ромашкам, кричал и захлебывался от клокотанья в груди. «Неужто пррроклинает?! — показалось Егору. — Эта старая дура бабка говорила ему, Егору, при Кузьке: «Тебя-то Стюшка родила стопроцентного. Это Кузька у нас крест несет, Кузька — мученик. Отец пьет стаканами — бочками не расхлебает, сотворил его, сволочь, пьяным... Правильно сделала мать, что в письме приписала...»

Кузька упал грудью наземь, и тут же, как пружиной, его снова подбросило вверх. Земля под ним бесновалась, ударил по ней рукой — ухнула, другой — провалилась, ударил обеими сразу — опять ухнула и провалилась, он бил по земле то правой, то левой, и сам то подлетал над ней, то падал в пропасть, его крутило и перекручивало, сгибало и разгибало, и пена шла хлопьями изо рта.

Егору сделалось страшно. В какой-то миг Кузька успел ухватиться за ствол, и волчий вой «и-э-а-о-у-ы-ы» понесся вверх по стволу, по березе... Кузька упал навзничь, и тело его отмякало, тяжелые, толстые лапы опадали с горла, пропадали подергивания... Повернул голову к банке, силился что-то понять: почему она опять перед ним, почему не просыпана? Он же помнил последним мгновением памяти, как она покатилась и как впереди ее по траве мчались красные шарики. На что похожи они, эти шарики? На Тоськину голову в красной косынке? На верх водокачки? На землянику!

Кузька пришел в себя быстро. Болезнь убиралась туда, откуда пришла: собакой — по обвалившейся темной траншее, кошкой — по стволу до самой верхушки. Кузька проводил кошку взглядом и увидел Егора. Егор шагнул к нему из-за березы; прижал к себе, отер губы, и было трудно, жаль до горечи, до занемения свою родную кровинушку Кузьку.

Спускались с Курганной шаг в шаг. Егор придерживал Кузьку под локоть. И потом подталкивал, когда шли уже лугом, мимо обкошечного гнезда дикой гуски. У самой Чистюньки Егор извлек из тайника болотные сапоги, передал Кузьке, но тот словно забыл про них, так и брел через протоку, задрав руки: в одной — сапоги, в другой — трехлитровая банка, и кислотовато-сладкая, жарко-огненная богатырская ягода взирала из банки на всю деревеньку, на аккуратный домик под зеленой крышей — Тоськи Корсаковой, на саму бегущую мимо Тоську — весело и сердясь.

IX.

«Трофим отчуждается: не заходя домой, укатил на своем тракторе. Нас, что ли, видеть не хочет?» Северин повертел шеей: давило виски, где-то в глубине зрело недовольство собой, подступала тошнота. Опять давление — сто восемьдесят на сто двадцать. Обычно это случалось с ним в конце квартала после штурмовки. План есть план, а годы есть годы, это уж точно: «Стареем, — вздохнул Северин. — А Трофим, как молодой. Все шумит, все бунтует, никак не угомонится... Зачем мы сюда ехали, зря? Все же надо сказать ему, поговорить с ним по-братски пора»...

Приняв такое решение, Северин почувствовал себя

лучше, вышел во двор. Неприятное ощущение от осознания неизбежности серьезного разговора с братом медленно, но верно сменялось другим настроением — бодростью и благодушием, что сулило ему это свежее утро в Тигаповке. Изморось на ушастом седом лопухе, солнце сквозь клочковато-текучую хмарь, сам туман уже обезноженный, в отрыве от земли, напоминающий плотную вату где-то на сучковатой, разлатой липе, — все это обещало через часок-другой просинь — небу, речке — блескучую воду, ясный, хороший денек. «Скажи, как все подогнано, деталь в деталь, одно к одному, вроде ладил какой инженер, умная голова, одно слово — Природа, — продрав легкие вдохом поглубже, озирал обновленный утренний мир Северин. — Это ты там, в городе, мотаешься, рвешься между заводом и домом, между людьми и собой, а в уши тебе — скрежет крана, а на голову с трамвая спол электрических брызг... А здесь — что ж, ну живи, ну работай. Чего только воздух стоит. А Трофим с Устиньей делят счастье свое, не могут никак разделить...»

Северин заглянул за сеновальный сарай: трактора не было. «Удрал, окаянный. Напакостил и укатил ни свет ни заря». Северин уселся на шершавый дубовый пень в углу двора, закурил. Даже «Прима» не перебила сильные запахи меда, исходившие непонятно откуда, к ним примешивался терпкий, не застарелый еще запах крови; Северин попробовал привстать — брюки не пускали, к дереву так и прилипли. Вот оно что — кусочки меда на пне, мед с желтинкой, из донника, как коровье топленое масло; сюда, видно, ставилась медогонка. Трофим накладывал к их приезду летошнего, засахаренного меду. А это вот кровь, пух курпный на пне — это действия бабки Гали.

Усилием воли Северин представил себе Трофима, тот глядел на него безрадостно, хмуρο (лицо почернело, обуглено, может быть, от солнца и ветра, от работы, от одних только думок), и опять защемило сердце за брата.

Сидел и оглядывал двор: все живое, все движется, все просит есть. По лесистому травничку разлеглись четыре котенка, сосут кошку, хотя сам уже каждый с полкошки; белого инкубаторского петушка подмял под себя огненно-рыжий разбойник — кочет, раздолбал ему в кровь гребешок. Скулила, глядя на них, собака под липой, равнодушно взирала на все это другая собака —

из будки, еще двое щенков катали один одного по траве. «Не хозяин, — ценил Северин Трофима. — Нет хозяйственной жилки. Кабы не бабка Галя, в город бы, наверно, за банками ездил».

Тут внимание его привлекли воробьи на крыше: подняли такую бучу, что шума хватило бы на добрый десяток живности и покрупнее...

В чувство Северина привела сигарета, укусив его сразу за оба пальца. «Ты даешь, Северин Петрович! Как бездельник какой, — поплевал он на обожженные места. — Что значит, на отдыхе, не идти на завод. Вот и поймешь у себя там, в городе, во дворе, доминошников. А что делать? Дали два выходных — колоти».

Едва встал и направился к Трофимовой пасеке, как за углом сарайки, со спины увидел Устинью. Она сидела прямо на траве, пуховые желтые шарики — гусеницы — катались возле нее, с писком лезли к ней на колени.

— Ой, да сиротки вы мои запоздалые, — причитала Устинья, а голос подрагивал, слезы были готовы вырваться вон. — Ой, да позднечко вывела вас ваша мамка-гуска, на погибель оставила одних-одинешенек... И да за что ж он так меня, горемычпую?.. Ах, да это Колчакова собака, паразитка, разорвала, должно, вашу мамку ай какой черт проезжий сунул мамку вашу в мешок... И да дернуло же меня вызвать их, написать письмо окаянное...

Северин кашлянул, и Устинья выпустила из ладони желтый писклявый комок. Вцепилась глазами в Северина: слышал — не слышал старший брат сейчас про письмо? И в тревоге, во всем ее проваленном лице Северин вдруг увидел такое, что дух заняло на момент: да что она в самом деле так, да жилец ли на этой земле вообще?

— Что, собака мамку-то разорвала? — кивнул он как можно ласковее на желтые шарики.

— Собака, должно, — вздохнула покорно Устинья.

— Подлая, надо было ей эту вот гуску...

— Собака как собака. Чего ей — хычница.

— Хицница! — Северина начинала сердить покорность Устиньи.

— Зубы есть, когти есть, с цепи сорвалась — чего ей не рвать, — отвернулась Устинья.

— Да ведь не из-за еды,— сказал Северин желваки, аж побелели,— из-за озорства, небось.

— Озорует, пока в силе,— наклонилась к гусеняткам, покрасневшись, Устинья.— Наозоруется — перестанет.

— И гусят порешит.

— Не, гусеняток не тронет,— подняла Устинья чистые глаза на Северина.— Что с их возьмешь, такусеньких?

— А с гуски?

— А гуску, стало быть, есть за что.

— И за что же?

— Кабы мы, люди, поменьше в ихние дела лезли, они меж собой скорейча разобрались, ясно вам, Северин Петрович? — сказала Устинья каким-то низким, не своим голосом, ссаживая с коленок на траву самого нахального из гусенят.

«Вот крестьяне,— смотрел он вслед птице, утверждаясь в окончательности решения, что надо все же сказать кое-что Трофиму, да не по-родственному, не по душам, а построже, за тем сюда и приехали.— Вот крестьяне,— смотрел он на Устинью,— плачут над каким-нибудь гусененком, спать ночами не будут, пока не выйдут, а конец один — в суп».

Северин поймал себя на том, что начинает размышлять, там, у себя в городе, не размышлял. «Если мозгой покрутить хорошенько, как оно у людей: каждый к каждому, как колючкой, повернут вопросом, дескать, что ты мне, что я тебе, а что мы вместе? Из таких колючек — целый шар вокруг головы, и ты весь в вопросах своих, как репейник... Вчера застремились из своих деревень в города, на асфальт; сегодня в городе так живем: в магазине постой, на троллейбус постой — там минута, там полчаса, а жизнь летит — пролетает, и что ты в ней можешь понять? В деревне дома пустее, воздух чище — дыши... И однако Трофим с Устиньей живут, аж искры летят»...

Не читала Устинья мысли Северина, она и Трофимом не всегда понимала, об одном догадывалась: братья думают, что не зря Трофим не зашел с утра сегодня домой, и ей было стыдно за себя, за Трофима, за все, это на люди выплеснуто. Устинья считала в чем-то себя виноватой, значит, не сумела, не убедила Трофима, не хватило самой на все. По деревне давненько догадывались, что Трофим гоняет ее, да привыкли, находились даже такие, что держали Трофима сторону. А как бы она, Устинья

хотела? Но то — деревенские, обочь все же, соседи, а это — своя кровь, родня. Чего бы только ни дала Устинья за то, чтобы выбросить из жизни это письмо. «Набрался, идол, — увещевала она Трофима. — Не мог потерпеть, пока хотя бы уехали». А тем часом и ругала себя. Ведь прав был Егор, когда подошел к ней оглядчиво и сказал ей, потушаясь: «А зря ты, мама, строчку ту в письме приписала»... И боль захватывала ей сердце, она теперь ненароком ловила взгляд Северина, предугадывала боковой взгляд другого брата — Михаила. Понимают все, делятся своим с сестрицей Варварой, сестрица Варвара с высокой своей торговой точки повесет по округе. Что хорошего?..

В доме было прохладнее, чем на дворе, значит, день уже разыгрался. С порога большой комнаты на Устинью глянули Трофимовы мамка с тяткой: Северин вчера принес фото из дедовой хаты. Устинья задержалась глазами на молодом свекре, ей показалось, что повыше рта в бровях и глазах его, как прорублеп Егор — вылитый дед, и ей стало не по себе, почему это фото должно перейти Северину, с родного-то корня отправиться к чертям на кулички, в городскую квартиру. Она попыталась представить, каково будет Трофимовым родителям там, у Северина, к какой стеночке их приколотят-приклеют, и не смогла: ни разу в жизни не была в гостях у Северина, не знала, где, как говорят в деревне, у него и святые. Сами, небось, решили судьбу родительского фото, Трофима, небось, не спросились.

Она хлопотала по хозяйству: сыпанула в лохань из мешка комбикорму, шваркнула в него кипятку, из другого мешка швырнула туда же совок-другой пересушенного летнею сущью свекольного жома, заварила опять же все кипятком и стала мешать корм в лохани, просовывая деревянную ступу до самого дна, обходя мелким-мелким толчком уголки, чтобы не оставить что-нибудь непромешанным, и все это делала тщательно, выверенно, не прилагая никаких мысленных усилий, думая совсем о другом. Не так уж дорого было для нее это фото свекрови и свекра, но то, что, не спросясь, его забирают отсюда, уязвляло ее, добавляло к утрешнему ее отношению к мужу что-то иное: право, там не считаются с ним, тут не считаются, а он все же мужик, глава семьи, хозяин этого дома.

— Видал, рычит? — проходя с лоханью в порослячью

сарайку, кивнула она Северину в сторону Адамовой мельницы. — Гектаров уж пять отмахал.

— Где рычит? — обернулся Северин и вроде как усмехнулся.

— Да Трофим — на зяби, зяби! — повторила Устинья с усилием, сама думала: «Ни во что не ставят Трофимато. И всех нас вместе с ним».

Подгибаясь, вынесла из поросячьей сарайки почти полное ведро воды: ставила туда поросят в пекло дневное для утоления жажды.

После завтрака снова засобиралась на ферму. Взяла косу обить будылья: выбухали после дождей на павозе, заслонили окна там, где стоять ее группе.

— Знаете хоть, как молочко тут дается? — спросила она как бы между прочим Северина. — А то, небось, позабыли.

— Теперь, Устюш, — подошел, щелкнул пальцами Михаил, — все на село работаем, в подшефном колхозе неделями с тяпochкой загораем, позабыть не дают... У вас тут что ни уборка, то — страда, фронт, а люди, выходит, — герои. А мы там у себя просто на производстве, без всяких фронтов.

— Не мы же себя обзываем, — строго смотрела на Михаила Устинья. — Вы там в городе всяко нас и обзываете.

— Ладно тебе, — осек Северин брата и повернулся к Устинье: — Веди. — Стоял, морщился в думках: «Судит по-своему нас, осуждает... Оно и верно: хороши и мы с Михаилом»...

Устинья взяла мыло и полотенце, завязала в узелок, узелок насунула через ручку на косу, косу кинула на плечо. «Ну, вот я и готова», — улыбнулась она в низко повязанной белой косынке, отчего загар на лице проступил еще крепче. — «Зачем ты? Там же дают», — кивнул Северин на узелок, залюбовавшись Устиньей. — «Дадут, во что кладут», — подтолкнула она повыше стальную косу на плече.

Краткой стежкой за верхними огородами вела Устинья мужниных братьев к себе на молочную ферму. За лето рожь выбухала выше плеча, стояла, родная, стеной и при ходьбе все норовила хлестнуть Устинью по щекам, по глазам. Больше всего она опасалась осота, этот черт, если подцепит, наверняка поцелует с кровью. Она вела родичей на свою ферму, стало быть, им интересно, и это

прибавляло ей шагу, заставляло высить голову, держать глаза над осотом.

Рожь неожиданно кончилась, дальше, до самой фермы — зияло поле.

— Зеленку с весны косили, — сказала Устинья. — А как в тырло скот выгнали, так взялись за вико-овсяную смесь... Ишь, ферма какая — красавица! Как нарисована, — раскачивала она узелок на плече. — Когда строили, люди еще кое в чем жили, не как сейчас. Ферма, бывало, еще больше гляделась.

— Помню, тогда писали в газетах, коровы живут во дворцах, — подтвердил Северин.

— Дворец этот, ну его к врагу! — вспыхнула Устинья. — За дворцами надо следить, чтобы все честь по чести, а то... Зима тогда, ну, вы знаете, получилась лю-ютая. А у нас привыкли как: двери не запираются, окна без стекол, соломки в натруску. А это тебе не прежнее помещение — деревянное, с полом. Коровка на бетоне постоит-постоит да приляжет. Топить сильнее начали — трубы полетели. А тут отел пошел, коровки ревут... Так доярочки вот этими вот руками кажного теленочка, кажную коровку воздымали, на ноги ставили, из дому чуть ли не свои одеялки носили... Господи, да какое же сердце, терпение нужно?.. Вот так мы тут на промышленные рельсы и переходили... Да как мы председателя сграчили, бригадира за шкуру. Видали, крыша перекрыта и новые ворота? Наш результат!..

— Эй, Матвейч! — окликнула Устинья юркнувшего в сторону мужика в калошах на босу ногу, в фуфайке нараспашку и обвислой фетровой шляпе — зимой подвозчик кормов, а летом скорее всего пастух. — Ты, Матвейч, не пырай, не нырай в сторону моря. Тебе бригадир вчерась дал наряд земли павозить, забутить эту вот яму — у входа, на тракторе не проедешь, трактору выше макушки? А ты чего прохлаждаешься?.. Кузьку мово не видал?

— Комроты нашелся, Тропкой своим командуй, — заворчал Матвейч и пошел, озираясь, к серому дощанику, издали похожему на зерносушилку. — Мне надо это... механизм запускать, гранулы на зиму делать. А Кузьку твою не видал и видать не хочу. А пора уже воду давать, наливать баки.

— Ладно, сама открою, — сняла Устинья стальную косу с плеча, надвигаясь на Матвейча. — Гранулы твои

погодят, успеются... Ты вон яму бути. Так будешь яму бутить ай не будешь? Будешь ай нет? — подступала она с косой.

— Да ты что, сдурела? — пятился Матвейч за ракетку, за Трофимовых братьев, озираясь назад, на чистое поле.

— Не строй из себя придурка, не строй, — все еще в полушутку намахнулась она на него узелком. И вдруг Матвейч с прытью, которой трудно было ожидать от его почтенного возраста, бросился наутек. Но тут, на его беду, из-за угла дощаника вышли две женщины, тоже в белых косынках, заслонили дорожку.

— Эй, доярочки! — крикнула Устинья. — А ну, держите этого дезертира! Завтра скот с тырла пригонят на ферму. Что ж, вплавь будут коровки эту яму форсировать? А как молочко, так чистенькое давай, первую категорию.

— А ну, хамаидол! — кружили доярки вокруг Матвейча. — А ну, давай запрягай! — И пошли — одна ловить дежурного мерина, другая вместе с Матвейчем вытаскивать из бурьяна за оглобли скрипучую, разьеженную телегу.

Матвейч бурчал что-то под нос себе, но запрягал старого, смиренного мерина. Устинья уже не глядела на него; упористо, по-мужски приседая под каждый взмах, она шла косой рядок у самой стены перед окнами, и будылья конского щавеля, татарника, аптечной ромашки, полыни ломились, подсаживались под острием, открывая зернистый бетон, пуская свет в пыльные застекленные окна.

Появился откуда-то Кузька, стоял подле матери, как теленок, молча вздыхал.

— Чего тебе? — разогнулась она, посмотрела на сына. — Ты вот что, — очищала она косу пучком травы, сама говорила между тем, говорила, как ворковала, — ты вот, что, Кузька, ты тех ребятенков не тронь. Зачем они тебе, зачем зло на зло помножать? Они тебе зло, ты злом ответил, а вместе получается злость. Тебе, милый, брать людей надо только добром, ведь ты у нас добрый, я знаю, а злость свою прогоняй и не злись на зло, зачем тебе злиться?.. Со злом бороться таким, как Егор, в этом деле от них, таких, больше проку...

И ей вдруг так явственно вспомнилось, как подошел к ней Егор и как ей сказал: «А зря ты, мама, строчку ту

в письме к дядьям приписала». Ведь осуждает сын, еще как ее осуждает, казнит!..

И вдруг сталь звякнула и запнулась.

— Ах ты, господи! — подняла косу с опаской Устинья. — Ничего, лезвие пока цело, не обломалось. И что ж это тут у нас? Металлолом... Видали? — подбивала она репы вокруг свалки из всяческой всячины: трубы, емкости, шланги — все сплелось, погнило, поржавело.

— Это же «елочка» или «карусель». Вот и марка завода, непонятно, какие буквы, подтерлись. Еще при том председателе как швырнули, так и валяются... эти мильеры.

Матвейч уже запряг мерина, стоял в сторонке, ожидая чего-то, а чего — сам не знал.

— И всегда у вас так... этот фронт с «хамаидолом»? — веселясь, показывал Михаил на Матвейча.

— Коров скоро пригонят, — сказала серьезно Устинья, и худые плечи ее опали, пригорбатилось гонкое, суховатое тело. — На тырле перешли на две дойки, на обедешную уже не ездим. А здесь можно три, а чего терять третью дойку-то? Молочко у коровок пока еще есть. Пасты будут тут вот, на пойме... Ты, Кузька, иди, иди к водокачке, я сейчас, скоро баки мыть.

— И кто ж у вас так распорядился? — говорил Северин с Устиньей уже тоже всерьез, а сам все заглядывал ей в глаза.

— Мы сами с доярочками, — перегнулась Устинья в спине, отдыхая. — А завтехнику скажем, завтехник потом застолбит. — И вдруг пошла за угол, забормотала себе под нос: — Опять этот идол... ходит и ходит... Ну что караулит, что пялится? Все ему знать про каждого надо, фактики вужны для какой-то такой деревенской истории...

Подпирая угол краснокирпичной пристройки, лицом сюда к Устинье стоял Фома Фомич. Видно, ждал, когда прокосом она дойдет с того края сюда, до угла.

— Шел бы ты, Фомич, куда надо, — сказала она вполголоса. — Что тебе — делать нечего? — И увидела, как заходят со спины Трофимовы братья, закричала во двор: — Эй, Матвейч! Возьми вот помощничка, Мажор пришел помогать тебе яму бутить... Эх, Фома Фомич, — сказала она еще тише, чем прежде, — и чего ходить ходишь следом, на что тратишь ты свою жизнь?.. Бери мерина и ез-

жай за бутовым камнем к Щучьему, а Матвейч из ямы грязь пока выгребет,— и развернулась, пошла навстречу мужиным братьям.

Степенно, полная собственных мыслей, вела Устинья их по своей ферме, по длинному, гулкому сейчас без коров проходу. Здесь вот группа Татьяны Афонинной, здесь Цветаевой Нинки. А вот тут,— на другой стороне,— и ее, Устиньи, коровки. У Похвальной всего третий теленок, а на молоко щедря — в напор не хватает ведра. Капризуля совсем не капризная, скорее наоборот, очень даже покладистая, тоже палочка-выручалочка, вдвоем с Похвальной дают чуть ли не треть удоя всей группы. А это вот Дармоядка — даром кормят, вымахала грома, больше иного быка, а молоко доишь в кружку...

Издали было видно, как плывет над рожью кривой под солнцем, стальной высверк Устиньиной косы. Устинья зашла чуть вперед и все притишала шаг, стараясь хоть краем уха ухватить, что говорили вполголоса там, у нее за спиной. «Подлец — мужик... она баба дельная», — донесло ветерком обрывки слов.

«Трофим там без завтрака натужается,— делалось горько Устинье,— а этим еще и по сто граммов досталось. Уж очень как-то легко они его... свою брата... как-то уж очень легко».

Над Арендовым лесом взбухала тучка. Она взбухала так быстро, что Устинья, не заметив ее поначалу, сейчас забеспокоилась, а как та, белая, выскочила из-за леса наполовину и закурчавилась снизу черновато-розовой, расхлестанной бахромой, Устинья и вовсе встревожилась. Дождь грядет, а то, может, гроза, а у нее там белье развешано, окна по дому настезь, бабка Галя закрыть их, поди, не догадается. И вдруг острее молнии расхватило Устиньину грудь: да ведь на веревке рубахи Трофимовы! И та, что всего два раза одеванная,— старшой сынок привез отцу под Новый год. И та, лежалая, шелковая, в какой Трофим еще был на свадьбе; стирала-стирала, терла-терла, и мылом ее, и стиральным порошком, так со свадьбы винные пятна и держатся, хоть руби топором, хоть зубами грызи. И та рубаха, в какой он обычно ходит, васильками по зеленому полю... И в чем это он упорхнул на работу? Неужто в одном пиджаке! Как рванул с себя почью рубаху, так голяком и остался. Ах, боже мой! В пиджаке-то на голое тело. Есть за что судить ее сыну, до чего довела мужика.

Устиньины ноги ослабли, тело стало ватным, бессильным. Да не оттого, что в первый день пахоты будет на поле парод и срамно от людей — без рубахи мужик, что же это у него за баба такая, а оттого, что первый день пахоты — праздник, а она не подала ему свежей рубахи, и все это не по-людски, воровски как-то; и сын, с каким они были всегда душа в душу, впервые не понял ее. Ну жили с Трофимом до этого, не сказать, что смиренно, да ведь жили же, а тут возьмет все и кончится, вот так оно все и кончается, сходит на ниточку жизнь. «Не дай час что случится с ним, в такую грозу все и происходит!» Испуг оживил ее, придал ногам сил; швырнув косу в рожь, она рванулась по стежке домой.

Первые капли ударили ей по лицу, но она не ощутила их. Туча уже перешла ей за голову, и молнии сдирали одна в другую, разрывая с треском, как холст, чернотнее, живо клубящееся небо. Перед глазами ее стоял двор, бельевая веревка, протянутая от сеновального сарая к суку старой липы, и на веревке мотались Трофимовы рубахи, вот-вот сорвутся в грязь. И праздничная, привезенная старшим сыном к Новому году, и та рубаха, обыкновенная, васильками по зеленому полю... Стежка уже была скользкой, ноги разъезжались, один раз Устинья чуть не упала, но схватилась за стебли ржи, и рожь ее удержала. Наконец, Устинья догадалась присесть, сбросила босоножки и, неся их в руках, растопырив локти, быстрее побежала по закиселившейся стежке.

— Уж очень как-то легко они, — только и повторяла она, — как-то уж очень легко.

Про рубахи бабка Галя, конечно, забыла. Они висели под липой и были еще сухи. Устинья сунула их с краю в сеновальный сарай, а эту простую, в васильках по зеленому полю, обежав двор глазами, завернула в лист целлофана — был зацементирован прищепками на соседней веревке и, не успев перекинуться с бабкой Галей и словом, полетела той же стежкой назад. Трофим все качался, все держался перед ней еще молодым, точь-в-точь как старшой их сынок, «стоцпроцентный» Егор; ведет дизель по «колыме» — Окаемому полю, и дождь сечет его голую грудь...

Стежка была натоптана, и босые ноги у Устиньи съезжали с натоптанного то в одну, то в другую сторону, и тогда ее, как литовкой, смахивало обочь в мокрую рыхлую землю, потому все колени были в грязи, а под грязью

и в ссадинах, и платьишко стало прозрачным, липло к телу, подол мотался меж ног, и только ветер не давал ей остановиться, гнал и гнал в спину, заставляя бежать.

На обратном ходу скользнула мимо Трофимовых братьев, они что-то кричали вслед, а она была во-он уже где, в моросеющем сизом пространстве, на середке ржаного поля. Небо разодрала синяя молния, и в разрыв устремились обломные воды, они жгли холодом плечи, остужали всю, она чувствовала себя сейчас такой маленькой, тонкой, один на один со стихией, живой, сорванной с корня былинкой, песомой ветром в конец скошенной ржи, к белошиферной ферме.

— Как-то очень легко,— бормотала она, накрывая голову сверху руками, защищаясь от грома, от ливня.— Очень как-то легко... стоптать нажитое...

И плечи ее дрожали. По мелким укольчикам, тысяче мелких укольчиков, сплошной молотбе по рукам, всему ее телу она поняла, что это уже не дождь — шустрые белые шарики падали на воду, прыгали, как овода, рушились камешками и колотили, колотились о землю, осветляя все поле, весь сразу ставший чище, воздух. Волосы Устиньины сметались в сосульки, с ресниц по губам сбегали соленые струи, ледяные свеи.

Скрип под босыми ногами, крупчатое белое крошево под самую щиколотку захватили Устинье дух: это уже не шуточки, это почти зима. Она испугалась: зима почти среди лета?! Так и присела, схватилась за босые сизые ноги руками, стала мять — разминать их пальцами, по тут же неведомая сила распрямила ее и выбросила вперед.

Единым духом Устинья вымахнула на бугор и увидела всю пойму, называемую людьми «колымой», в уголке ее, к речке, бурело частью Окаево поле. Три дизеля приткнулись к березовой обсадке, стояли, четвертый — ревел, тужился; Устинья ахнула: то был дизель Трофима. Устинья метнулась к нему. Бежала полем и падала — на правую руку, на левую, на обе сразу. И когда ноги совсем уже перестали вытаскиваться из свежевспаханной борозды и дизель впереди обволокся сизым туманом, в глаза ей ударило светом: трактор включил обе фары...

Трофим убежал со двора на тракторе из дому с намерением больше сюда, может, и не возвращаться. Ну хотя

бы в эти два-три дня, пока не разъедутся братья. О том, что у них с Устиньей произошло ночью, и вспоминать не хотелось. Стыдно! Глаз на свет людской поднять невозможно, а ведь уже не молоденький, пора бы и остепениться. Даже мороз подергивал кожу, когда представлялись глубокие, с немим упреком глаза Устиньи. Покалывало одеревенелое тело, виски казались чужими, кабы не вчерашнее, подумалось бы, что это не хмель выходит через виски, а все его существо показывало на ломкость погоды.

Остановил за посадкой трактор. Оглянулся. Стоял голгрудый на гусенице, жадно вдыхая запахи от родного двора: пчелиных колод, поросычьей сарайки, сеновала, где за ночь отпускает росой осохшее сено, и оно начинает падать всеми травами лога и луга; он пыхнул всеми этими запахами через ноздри еще разок, передернулся зябко и, напружинившись, как лось, скользнул снова в кабину. Сидел и представлял воочию, как сдернул вчера поутру в сарае пиджак со столба, и вдруг его внимание привлекла в углу, в паутине, деревянная люлька-корытце; дно провалилось, холст обвис снизу клоками. Что-то лучистое, теплое подтолкнуло Трофимову душу: в этой люльке, сделанной батеи, возрастал еще Северин, мамка качала его и Варвару, и он тетешкал своего старшего Егора...

С камнем в сердце стоял Трофим перед люлькой. Да, брат, песмышленное детство, а вывершить жизнь думалось по-другому. Трудом хотел взять, от дел в сторону не уклонялся, сам хребтину под все подставлял. Сколько этими вот руками-крюками-грабарками всего наворочено, ради семьи сколько пролито поту, все ждал, вот-вот будет свет, все стремился к просвету, а где он, тот-то просвет? Жена родила ему Кузьку, и сам затонул тут, за гряз... Приехали братья, всю жизнь твою выставят, как на витрину. Уклюнулся в эти бутылки, исчетвертовал себя на четвертинки. Достукался... Выходит, судьба оказалась сильней. А как, бывало, хотелось, чтоб дом твой был крепче других, жена красивее всех, сыны ему, батке, вровень и выше... Уже, бывало, корешки — шофера говорили ему: да что ты все жжешь себя, пережигашь, живи, как и мы, рули да рули на светлые вершины. Вот и заехал в кручу, дальше ехать некуда, крышка. Братьев жена позвала, братья учить приехали: что да как, да

почему? Эх, да все-то нас учат: как жить, как сеять, как жать, кругом одни агрономы...

Трофим запахнул пиджак, плюхнулся на сиденье, положил ладонь на рычаг.

— Все-то нас учат, как сеять и жать, — сказал он двигателю, который колотился почти вровень с его, Трофимовым сердцем.

Поддал оборотов, — сердце уже не успевало, и бросил трактор рывком назад, потом налево и вперед, напрямик через поле, на дорогу в сторону Арендового леса, к «колыме», где сегодня начинали пахать под зябь.

Не заметил, как проскочил мимо Устиньиной фермы, форсировал речку Чистюньку. На броду рванул гусеницами светлую, ключевую водицу — сбегает сюда от берегового колодца, так галька из-под гусениц и заколотила по бревенчатому срубу, по стволам плотно стоящих у самого края старых, щербатых раakit.

На Окаемово поле он явился первым, не было еще даже бригадира. Трофим осадил машину у куста седой, бархатистой полыни, руки его легонько подрагивали. Надо же, только что был на краю и жив вот, живет. Зев Арендового оврага все еще будто чернел перед ним: сколько телег в по-за те времена поглотил, рассказывают, этот зев — не насытная глотка. Трофим направлял с развилки сюда трактор старой, допотопной дорогой, ехал кромкой оврага и по дрожи земли, весь спружиненный, слышал, как под ним начинает струиться в бездонность песок, отваливаться глина кусками, обрывая по пути былки, срезая уступы, увлекая все вниз за собой.

«Рухнет или не рухнет? Проскочим или не проскочим?» В один момент край оврага показался Трофиму настолько зыбким, как будто стал отходить материк, валиться огромный кусок вместе с трактором, с ним, Трофимом. Даже дух захватило, вялыми сделались руки, по те же самые руки рванули правый рычаг, — через секунду-другую дизель вынес Трофима к новой дороге... Теперь письма Устиньины к братьям стояли перед глазами, шевелились, как змеи, обидные строчки.

— Братьев позвала, как рассудила, — горько сказал вслух Трофим. — Будто я уж ей и не человек.

Проверяя подвесной механизм, Трофим подержал его в воздухе, потом резко швырнул — острые лемехи плуга вонзились в землю, как в масло.

Подошли еще трактора. Все начали оттуда, от берез-

пяка, а Трофим вел борозду от речки Чистюньки туда, к бывшему блиндажу с заматеревшими березами, за блиндажные березы и обратно сюда к Чистюньке. Резь в желудке напомнила Трофиму о времени и о еде. «Братья приехали,— забивал он боль острой мыслью,— все обсудят, всю жизнь твою расплантируют... Эх, кабы сердце не стучало, не тикало, а то вот стучит, живет по своему, не по ихнему указателю. Да что они, указатели эти? Много всякого на дороге, а кому ею ехать?..»

И Трофим не заметил, как за Арендovým лесом начало пухнуть лохматое облачко. Вскоре на Окаево поле налегла черная, вся в перекрутах и молниях, туча, по стеклу поползли длинные светлые струи — дождь, и вот словно просо просыпалось по кабине, жестью ударило по ушам. Сразу стало плохо видеть борозду, Трофим толкнул дверцу, выгнулся из кабины: блиндажная зарость исчезла.

Дождь хлестал его в голую грудь, но не охлаждал. Пиджак оттолкнулся под ветром и, как вороньим крылом, бил полой по откинутой дверце. «Братья приехали!— входил в раж Трофим.— Говорить все научились: это так, то не этак. Только каждый, между прочим, катит на своем полозу, едет своей дорогой».

Земля становилась все мягче, и трактор проседал, зарывался, двигатель натужался, выходил из себя, ревел. Трофим чувствовал его сейчас, как руку свою на рычаге, как всю свою закаленевшую спину, сведенное тело; казалось, на плечи его улеглась тяжесть этой вот борозды, этого поля, всей громадины вспаханного-перепаханного, что тянут они — неподъемное — на себе вместе с плугом, и тело его не выдерживает, вот-вот лопнут жилы.

— Судить меня всей семьей, мозги вкручивать,— жадно хватал Трофим ртом дождевые струи.

На другом конце поля тракторы уже сбились в кучку, к посадке. А Трофим, сатанея, все надавал оборотов, даже привстал на сиденье: нет, он тебе не песчинка, не вогнать, не вломить его в землю стихии, он еще поживет.

Взялся откуда-то град, белым перепутало воздух с землей, хлестало Трофиму по голой груди, винтами заходило над ним крутящееся, насыщенное водой, много-тонное небо. И тут разорвало тучи, в просвете стало видно до самого леса. Кто-то бежал по пахоте, сюда к нему. Бежал и падал, вскакивал и бежал. Неужто Устинья?

Опа!! Упала опять, подымается, чтобы снова бежать. О господи, да что она? Босиком по снежному крошеву?

И Трофим включил обе фары, бросил трактор на встречу.

Устинья поравнялась с ним, что-то кричала. «Братья послали, сволочи! — бухало в виски ему. — В бурю, по граду, в грозу. Ждут не дождутся, туды ее мать, слово им хочется молвить».

— Садись, — приоткинул он дверцу и едва глянул на Устиньины ноги, на всю ее в прозрачном, липнущем платишке, весь так и перекоксился. — На, — скинул пиджак он поспешно.

И ехал теперь голяком по пояс, держал трактор на скорости. Устинья затихла, мышкой приткнулась рядом, только мелко-мелко подрагивала; он старался не глядеть на нее, как уперся в борозду взглядом, так и сидел. От мотора потягивало теплом.

— Че это? — кивнул он ей на колени.

— Вот, — подала она целлофан.

Он остановил дизель, прыгнул наземь. Развернул сверток — из рук его до самого низу раскатилась рубаха — его рубаха, рабочая, сто раз одеванная, родная, привычная, в васильках по зеленому полю... Живые белые шарики запрыгали перед глазами Трофима, Трофим покачнулся, оперся плечом о кабину... Застегивал верхнюю пуговку своими грубыми, очуженевшими пальцами, а она все никак не застегивалась. Рубаха пахла свежей стиркой — хозяйственным мылом и отдаленно заношенным до любви запахом солидола, солярки, всем, чем давно пропитались руки его, кажется, все его тело. Взглянул искоса на Устинью, увидел, как лицо ее, бледное, с розовинкой по щекам от напряжения, в мелкой грязице, так и вытянулось к нему в ожиданье: ну как? И неожиданно сам для себя улыбнулся, понял вдруг по-молодому, почему глянулась она тогда ему на вечерках, из-за чего он привел ее к себе в дом и живет с ней до сих пор.

— А ты, мать, ничего, — показал он в улыбке ей свои еще полные зубы и провел ладонью от плеча по всему ее еще тоже крепкому, послушному телу. — Ничего, мать, усадистая.

И она склонила голову ему на плечо, и он запрокинул ей голову и, поискав ртом Устюшины губы, толкнулся о зубы зубами и тут же отпрянул: так она была горяча. Тревога прошила его и вытеснила все недавние чувства,

обида уже едва в нем плескалась, будто вычерпанная ведерками вода на самом дне Афонькиного колодца, зато тревога ширилась, разрасталась, переходила в испуг: в жизни не помнил, чтобы она когда-нибудь занемогла, в жизни не видел ее в постели больной.

Качнул трактор вперед, так с горящими фарами и перемахнул «колыму», мчался к Щучьему перекату. Взял из-под себя и приладил Устинье фанерку впереди выбитого стекла. Прижимал поплотнее к себе ее жаркое, полузабытое тело, вгорячах вспоминал его хрупким и гибким, запах кожи ее все тот же и все то же к нему движение плечом.

На перекате трактор ухнул в вымоину и забуксовал. Трофим спрыгнул прямо в Чистюньку осмотреть брод — «эту чертову музыку». Ветер бил, выполаскивал за спиной у него рубаху — васильки по линиям зелени поля.

Х.

К себе домой Трофим решил сразу не ехать, заглянуть сначала на отчий корень, а там уже действовать по обстановке. Свое решение он объяснил Устинье нежеланием видеть родичей, которые ждут сейчас его у него же в доме, чтобы «пить его кровушку». Была у Трофима и другая мыслишка, ради чего руки сами повернули дизель к отцовской усадьбе: там у него со вчерашнего дня лежала палочка-выручалочка, заветная скляпка — «талыанка», вермут с зеленой разрисованной этикеткой, «бутилирован по итальянскому рецепту из лучших сортов винограда», это, стало быть, по-ихнему, а по-нашему тоже «червивка».

В кабинке Устинья маленько согрелась, колотун уже не колотил ее, и испуг с Трофима сошел, притупился до ровного, ноющего в груди жжения, потому что тело Устиньино продолжало гореть, тревожить Трофима своей дрожью. «Кабы не свалиться ей, в самом деле, не захворать», — думал он об Устинье, а мысль так и сбивалась туда назад, на Окаево поле: как бежала она босиком по хрусткому белому крошеву, несла ему в целлофане рубаху. «Надо же, несла эту вот — васильки по зеленому полю», — как бы нечаянно, касался он одной рукой живота — обыкновенной, сто раз одеванной, пахнувшей до привычности солидолом, соляркой; другая рука сама держала трактор к дому деда Петраки.

И когда спрыгнул наземь, думал об этой рубашке, и когда зашел в хату, думал. Позвал Устинью: чего там сидеть, гнуть в кабине коленки? В отцовской хате держался жилой дух: запах сыри ушел, было натоплено — как раз для Устиньи.

— Полежи, отдохни, — кивнул он жене на постель и укрыл ее «каролинкой», сверх того набросил какой-то ко-жух. — Я сейчас, — и, помаявшись, поругав чуток себя для порядка, загремел замком в сенях на кладовке.

Отыскал свою захоронку — темную семисотграммовую «соску» — в дубовой кадучке, под кирпичами. Едва раскрутил ее, чтобы со дна поднялись самые градусы, придержал в руке, как опять шатнулись вихревые мысли насчет братанов и сестер, какие живут себе там в городах, пьют, когда захотят, ликеры, едят каждый день белые булки с маком, а если черный хлеб, то не какой-нибудь «забайкальский», «обдирный», а настоящий — «горчичный» или «бородинский». Так вот, едва Трофим занес над горлышком горло, как под окнами кто-то живой объявился — никак дед Колчак? Он самый, старый хрен, обожает веселье и трезвость.

— А ну иди сюда, архимандрит, — шумнул ему с веранды Трофим.

Тут же с дедом до дна ее и продегустировали. Сидели на порожках и ждали, когда она, «тальянка», в нутре заиграет, начнет разговаривать, улещать теплом каждую мысль.

— И ведь вот что обидно: судить, дед, понимаешь, приехали, с брата своего стружку снимать. Сами чистенькие, в городских ваннах отмытые, а мы тут, дед, нечерноземные, понял или нет? Из грязи не вылазим, утонули в павозе. А вот что с хлебом у нас тут перебои, с углем — это местная тема, понял или нету? Разве ж поймут они его, деревенского человека?

— Н-да, это факт, это точно-а. А помнишь, Трошк, в том месяце кто-то взял и подвязал к палке буханку хлеба, а ту палку в трубу — висит хлеб над магазином, на палке мотается. Кто ни проходит, задевает Варвару — сестрицу твою: когда, мол, хлеб к тебе в магазин привезут, третий день лавки от воздуха ломаются?

— Ну, конечно, дед, помню, а то как же. После этого сессию собирали, Устюша была там, она же депутат, все потом в лицах рассказывала. Да вон она на постели, не даст сбрехать.

— А что с ей? — насторожился Колчак.

— Так себе, лежит — отдыхает... Так вот встают, стало быть, депутаты и в лоб Романову — зятю моему, сельсоветскому председателю: «До коих это будет? Почему в нашей местности разгильдяйство такое распущено?» — «Знаю-знаю, болезни роста», — вскочил, как ужаленный, Романов. — Сам он тутошний, в этом деле, ясно-понятно, заинтересован... «Разделяю всех вас, — кричит, — и самому каково?! Объясняю, — говорит, — все исключительно местным фактором, а то как же. Мы же глубинка, а она, подколотная, каждый острый вопрос — в проблему, каждого человека — в характер. Выделяю лично я три главных критерия: хлеб, уголь, дорогу. С хлебом мы еще разберемся, чего они там в районе мозги копят. Как отстаивал, чтобы не закрывали пекарню нашу сельповскую, мы же дальние, бездорожные, у нас тут такая специфика. Так нет же, говорят, в райцентре пущен новый хлебозавод — к чему всякая мелочь? — он теперь всех отоварит. А дорога какая, ядрена шишка? А техника по ней — ого-го, жеребья, тоннаж! Твердое покрытие требуется, асфальтирование... Вот я и говорю: болезни роста, одно на другое наматывается, понял или нету?» — «Самосвал намедни в райцентр за хлебом гоняли, так дали насущного меньше полпормы, — вскочили женщины-депутатки, и с ними моя Устинья. — Вот мы сидим тут, а люди там разъяснения требуют». — «Разъясняю, — опять вскочил Романов и заложил карандаш за ухо. — Завод в районе мощь никак не наберет, нету кадров». — «Да куда же народ подевался? Поуехали туда, и кадров нетти? Где же тогда эти кадры?» — «Разъясняю, — вынул Романов карандаш из-за уха и отчеркнул что-то в бумажке. — Завод работает в одну смену, в ночную люди не соглашаются. Почему, спрашивается? Прожектеры допустили ошибку: вынесли хлебозавод далеко за черту». — «Не прожектеры, а проектанты, — поправили из президиума Романова. — То же самое — эта болезнь: вынесли далеко в расчете на строительство микрорайона». — «Понятно. Там, значит, тукнули, а тут, значит, запахло, — сказала Маруся Неведрова, доярка с центральной фермы... да ты ее знаешь, Колчак, тоже лихая такая бабепка. — А как будет насчет уголька? Ай опять тукать, пока в хате не потеплеет?.. Ну ладно, были еще под солому хатенки, потолок близкий — туды-сюды, навозцу ли в русскую печь, надышал ли, глядишь, с окон уже потекло, скидавай ватник.

А сейчас во какиища домины разгрохали, потолка не видеть, плитки посложили под уголь, лето идет, а уголек еще не завозили». — «Разъясняю, — опять заложил карандаш за ухо Ромапов. — И в сельпе уголька покамест ни грамма. Мы ругаем железную дорогу, железная дорога. — нас за невывозку грузов. Все дело в машинах, в дорогах, государственная проблема...»

Так живо, со слов Устиньиных, описал Трофим то, что было не так давно в сельсовете на сессии, что Колчак, грешным делом, усомнился даже, уж не присутствовал ли там Трофим самолично, но, пораскинув мозгами, решил, что нет, Трофима там не было: кто ж его, штрафного такого, на сессию пустит? Там должны быть люди кристальные, чистые, как нынешний снег, как, скажем, та же Устинья-работница.

— А че она распялась на постели, чего днем лежит? — глянул Колчак во глубину хаты и сделал большие глаза.

— А-а, — Трофим всегда уважал человека. — Так это... На ферму чуть свет, а тут это... гости. Попробуй-ка потопчись. Отдыхает, понял или нету?

— Н-да, это факт, это точно, Трошк... Видал еще до дождя, гости-то ваши двинули вроде как на Синие Дворики, — хохотнул дед Колчак. — Должно, всем гуртом к сестрице Варваре, а?

— В Дворики, сам видал? — удивился Трофим и вздохнул облегченно, как воз со спины свалило, гости будто ушли насовсем с горизонта.

Дед отклонялся и побрел восвосяси — на центральную, к внуку. Трофиму захотелось уважить еще разок конкретно себя, но в кадушке ничего уже не было. Не оказалось на гвозде и гармошки: видно, уже оттащили домой. И Трофим прошел в хату, поглядел на Устинью — разметалась, в жару вся, присел молчком возле нее прямо на пол, и опять растеклась по нему непонятно какая тревога...

Боясь шевельнуться, чтобы не пробудить Устинью, он сидел, караулил ее: вдруг попросит водицы, а то прегнать муху какую, а сам все боялся сосредоточиться на Устинье.

Вспомнилось, как на той неделе он, Трофим, заканчивал ремонт дизеля, уж натягивал гусеницы, тут и прикатил к мастерской на своей двуколке бригадир их Евсевич, — этот, старшой из Семибратовых — неугомный ста-

рик, все мотается по полям, все за каждым досматривает, вроде тоже делает дело.

— Сидите тут, прохладжаетесь,— закричал от межи Евсейч,— а Катька, между прочим, хлеб привезла! Досидитесь.

Глянули: и правда, Катька Добренкова торчит в конце двора со своей хлебовозкой — закреплена от колхозной столовки... Вопрос с этим хлебом, как сельповскую пекарню сломали, известен. Привезут из города двести буханок на триста дворов и делят: тебе две буханки, тебе три — за доблестный труд, за улизливое отношение к кооперации, а тебе шиш с маслом, ты таковский-сяковский, кривой да намазанный, вчера пьяный был, сегодня воды напьешься, завтра так обойдешься, послезавтра как-нибудь перебьешься.

В другой раз махнул бы Трофим на все это: черт с ним, да как подумал, что надо к сестрице Варваре идти, а та за каждую буханочку выговорит, скажет такое, что загорится вся внутренность, а то еще и наряд даст — сенца из Отонкиной пустоши подбрось ей, дровец приди поколи, как будто свой мужик не мужик, ледащий какой-нибудь ай безрукий,— так бы на такую волокиту и плюнул.

Катька Добренкова уже открыла свою хлебовозку, вывалила буханки на новый зеленый брезент: приучили в столовке к порядку, знает Катька толк в чистоте, наземь хлеб не свалила. Стала давать на руки каждому по три буханки.

— А мне, может, четыре надо,— подошел к ней всегда всем недовольный слесарь-ремонтник Петька Калакин.— Курям надоть, поросеночку в молочко надоть, сабе тоже надоть.

— «Сабе-с», «на-адоть» — растрепал губы,— передразнила Калакина крутобровая, крутобедрая Катька.— Курей люди добрые кормят зерном, выписывали в том году, ай и воробьям на смех не заработал?

Катька Добренкова такая: искры из глаз так и сыплются, но на Петьку Калакина ноль внимания — неинтересный предмет.

— Пузо разъела, развесила окорока,— уж запихивал Калакин в сумарь свои три буханки, стараясь поддеть Катьку покрепче, хотя она дала ему хлеба, сколько и всем.

— А ты меня кормил? — равнодушно, словно от слеп-

ня, отмахивалась от него Катерина.— Тоже мне критика снизу.

— Тебя этот... вон Тиганов Трошка накормит,— подмигнул Петька подходившему к хлебовозке Трофиму.— Этот тебя, съестную такую, угомонит, у него, носатого, не сорвешься.

По присутствующим прокатился ехидный смешок, и Катька Добренкова вспыхнула, повела туго обтянутым плечом на Калакина:

— Ты, идол, взял свое и носи, а то отыму. А другим что, по-твоему, хлеба не надо? Мне еще по поселкам — в Леваду, Косяки, Перволетово... А ты, смоляной,— повернулась она к подходившему сзади Трофиму,— сзади не подходи, испугаешь.— И кинула в Трофимову сумку сразу четыре буханки, засмеялась на всех:— Вечерком еще приходи, еще пяток дам.

— Эт-та даст! Эт-той товару не жалко! — загоготали все, кто были тут, мужики.

Трофим выложил обратно на зеленый брезент четвертую, чужую буханку и — за спины, за спины — деру от Катьки: до чего же есть бесстыжие женщины! Работал до вечера, гуселицу на дизель натягивал — не вылезали из головы наглые Катькины действия, и домой, в свою Тигановку, шел на сей раз пешком — не выдувало из глаз нахальную Катькину улыбку. Пришел домой, рассказал Устинье, а та...

И тут Устинья шевельнулась под «каролинкой», приоткинула голову. Лежала и смотрела молча на Трофима — щеки горели огнем.

— Так я что вспомнил-то,— обрадовался ей Трофим,— вспомнил, как Катька Добренкова мне четыре буханки давала, тебе пришел рассказал, а ты мне: мол, и так обойдемся. И блинов напекла...

— И блинов,— подтвердила Устинья.

— А после в сельсовете вопрос заострили,— протянул руку ко лбу Устиньи Трофим.— Все в подробностях, помнишь, рассказывала.

— Рассказывала,— вздохнула Устинья.

— Гляди, как горишь, захворала,— убрал руку с ее лба Трофим.— Домой надо... Колчак забежал тут, говорит, видел, как наши все махнули в Синие Дворики — к Варваре, должно... Домой надо.

Устинья поднялась не сразу. Пока вставала, раскачивалась, чего только не ворохнул Трофим в себе самом и в

Устинье. Все ходилось да бегалось, все пилося-елось-работалось, никогда ни о каком здоровье и не помышлялось. Вот так оно, едва войдешь в самый строй, что ни есть середину, как уж стары родители, а дети еще на себя не оперлись, и нате вам: здоровье, усталость. Жилось и не думалось, что когда-нибудь на ходу и споткнешься, и останутся от тебя только волны, шевеление воздуха, песни никакой не останется, на ее, голосистую, тоже нужны силы и молодость... Трофим увидел, как блестят в лихорадке глаза Устиньи, как пергаментным стало ее лицо, и вдруг вспомнил отца своего — деда Петраку, когда тот слег совсем, был уже не жилец, шелестел сухими губами: «Стюшку береги... вместе уходите... береги Стюшу-работницу».

И Трофим стоял спиной к Устинье, глядел в то же окно, по которому все стекала — сбегала живьем дождевая вода... Оно, конечно, может, она им и написала, чего было не написать? И они, конечно, приехали. Приезжать домой надо, что с человеком получится, если он пуповину свою оборвет, оторгнет себя от деревни, от родимой земли? Это же выпадет из головы, как и хлеб-то родится, станешь думать, в горсаду растут булки на чертовом колесе. Может, оно и неплохо, что все враз откликнулись, приехали, стало быть, жалко его, брата родного. Только так ведь сразу к стенке на обсуждение тоже нельзя. Все же брат он им, единокровный, от одного отца, урожден одной матерью.

Все бы стерпел Трофим, все бы сдюжил, только бы не сейчас, погодили бы: вои какая Устинья, каково ей выслушивать, трепетать первами. Да и что они, в самом деле, лучше знают, как нам тут жить? И тут кусок не зря достается...

Трофим повел взглядом по стенам отчего дома: в этих стенах ему было лучше, чем там у себя, на том боку Тигановки; там он был вроде сбоку припеку, там хозяйничали бабка Галя с Устиньей. А здесь он был таким, как Егор, даже моложе Егора, даже моложе Кузьки, здесь он мог бывать тем вертихвостом-сластеной, что таскал иной раз леденцы у матери из кубана за припечкой...

Братья и сестры — ревкомиссия какая: то не так, то не этак, он видит. Попраснодновать на три дня прикатали; вы попробуйте три недели тут поживите, три месяца, три года, всю жизнь. Скольких в последние годы в колхозе

попаградили, хоть каждому давай медаль за то, что живешь тут во вредных условиях...

Устинья, наконец, поднялась, стояла на «каролинке», опираясь рукой о переборку. Стояла и думала о Трофиме, о тех самых строчках, какие она тогда приписала к его письму. Ломило тело, сводило дыхание, никогда в жизни она себя так еще плохо не чувствовала, даже когда родила своего первенького — Егора. «И зачем, зачем приписала?» — стучало в тяжелую грудь.

XI.

И вот вслед за градом повалил снег. Это было так неожиданно, дико: летом и — снег, что Трофим, не поверив увиденному через окно, даже на улицу выскочил. В самом деле, снег лепил и лепил, парашюты плавно спускались вниз, опуская крыльцо, крапиву, ракички, устилая крышу сарая напротив, дорогу перед окнами, всю деревушку, всю эту летнюю, еще зеленую землю, которая, изменяясь на глазах, становилась неузнаваемой, зимней. Трофим почувствовал хлопья у себя на лице, они тут же взяли водой, закапали с подбородка, и тогда что-то молодцеватое, озорное, как, бывало, в детстве при первом снеге, подтолкнуло Трофима, заставило сгрести с деревянных порожков целую хрусткую горсть. Снег был железист, чуточку кисел. Трофим сплюнул и припечатал свежину каблуком.

— Смотри, чудо какое! — говорил он закутапной в шерстяную «каролишку» Устинье, равнодушно взирательной на глухое, дырявое небо. Устинья дохнула кратенько и схватилась за грудь.

Трактор шел единственной улицей Тигановки, оставляя за собой два рубчатых, продираемых до глины следа. В выемках эти два следа оставались на нежно-белой поверхности грязно-дырчатой лентой, будто гигантские гусеницы проползли из болота своими неаккуратными, невымытыми животами. В другое время Трофим — в какой раз! — подивился бы, до чего черноземна пойма под Тигановкой, не дураки были предки, избирая ее своим местожительством, но сейчас из головы не выходила Устинья, беспокоило ее сморщенное, сожженное внутренним жаром лицо.

Всю ночь пролежала в жару Устинья. А гости так и не показались, почевали, видать, у Варвары. Наутро, сд-

ва Трофим охлопотался с большой, попоил молоком да укрыл ее, как прибежал от Варвары Егор:

— Отец, наши пошли на кладбище, велели и вам с матерью... Завтра все уезжают.

— Как уезжают? — вскинулась на локоть Устинья, и всю ее как перетряхнуло, потянуло на рвоту.

— Ты лежи, лежи, — успокаивал Устинью Трофим, а в самого ровно колом вонзилось: «Как, уже уезжают? Так сразу?!» — Ладно, — сказал он сыну, — я сейчас. — И пошел на кухню, за тазом, подставил его на пол перед Устипьей.

— Глядеть на свет больно, — пожаловалась она.

Трофим поискал-поискал, чем бы занавесить окно, заглянул в спальню, взял и распял на верхние гвоздики напротив Устиньи Кузькину японскую куртку с молнией, выхваченной до живота. Выволок из чулана огромную, невподым, хозяйственную сумку с длинными ручками и стал складывать в сумку все, что надо для родительских помпнок.

Устюша поднялась, сходила кое-как в палисадник, сейчас равняла на кухонном столе цветочные стебли — золотые шары, ромашки, васильки, колокольчики, делала отчаянные усилия, чтобы отрезать их сразу все — позднелетние, жесткие. Трофим взял у нее букет, приложил к краю стола и ножом, как пилой, проехал по задеревеневшим стеблям.

— Иди ложись, — бросил он жене. — И лежи, сам пойду. — И тут сердце его захолонуло: «Вот оно и приспело, братья зовут — куда денешься?»

Устюша задержалась на нем тревожным, вопрошающим взглядом, и он не отвернул от нее лица. Проведать своих на кладбище надо, а как же, помянуть отца-матерь, других своих родичей, прямых и боковых, от первого колена и дальше, до бабушки Глаши, до седых, уходящих в пезнамо какое время веков. Когда еще так вот, всеми в один кулак, соберемся, когда?

Трофим с Егором целили на кладбище через луг прямиком по странно выбеленной равнине. А снег, хоть и сбавил напор, по все еще падал Трофиму на волосы изпод фуражки, на саму фуражку, на стеганый зимний пиджак, который извлек он, по этой оказии, из того же чуланчика.

«Вот он, и разговор, — повторяло неровно сердце. — Суд — это даже тебе не товарищеский, по-семейному. Тут

уже не соврешь: узнал дорожку к Варвариному магазину, с мужиками объезди вокруг магазина крапиву. А еще колобродил той ночью, втесался трактором в липу... Все жилы тянешь, ты, Трофим Петрович, из Стюши»... Как дальше двинется разговор, что скажет каждый из братьев-сестер в отдельности Трофим знать не знал, но от одной только мысли об этом ему сделалось нехорошо, и он перевел себя на размышления о кладбище, об отце-матери, которые покоятся там, в сырой и зябкой земле, лежат себе, не ведая горюшка: отжили свое, пострадали. Как сейчас помнит Трофим то самое утро. Прибежал к ним отец белее полотна. «Все, дети,— ухватился он за дверной косяк.— Все, нет у нас боле матери...»

Устинья проводила Трофима с Егором на кладбище, и такое взяло ее беспокойство, так жалко ей стало Трофима: «Раз уезжают — значит, не зря зазвали, там это и произойдет. Что же она его на позор-то выставила, истощилось терпение? А как можно сейчас без терпения: муж пришел выпимши — терпи, баба; сыну в городе откушивать всяко приходится — терпи, мать; кормочку вовремя на ферму не привезли — все терпи, все на нервы бери, все вези на себе, все выкручивайся... И, однако, надо было и ей туда, без нее все будет не то, не так, а ему в душу войти надо, его тоже надо понять. Жизнь такая, ошибиться легко, ты попробуй исправь»... Устинья попробовала составить вниз ноги, но они в коленках как одеревенели, не слушались. Затылок тоже был как чужой, своими были виски, все темя — боль ходила толчками, толчки эти разрывали изнутри кипятком кипящую голову... Устинья свернулась калачиком и, как всегда во всем, решила терпеть.

Когда Трофим с Егором подошли к этому краю погоста, все другие Тигановы уже подтягивались сюда от Спихих Двориков. Трофиму показалось, что их заметили издали, но не подали виду, шли гуськом, глядя под ноги, в разной, с чужого плеча одежонке, собранной каждому, видно, дома Варварой, чтобы не простудились. Трофим прибавил шагу, но все равно братья с сестрами оказались раньше у забуревшей рябины, под которой, в уголочке, и покоились отец с матерью рядом.

Обычно Трофим выкашивал эту куртину, заодно по-

правлял и соседние, слившиеся воедино, не известно уж чья могилки. Еще тем летом он срубил в Ареновом лесу три сухостойных осины и выменял у Колчака на дубок, а уж из него, вечного, и сделал этот временный крест, прибил панскось к нему планку; они с Устиньей вешали на нее под великие праздники холщовые рушники.

Вот и сейчас рушники эти размахивали расшитыми петухами, и с них вниз, на зеленое, истекал водой снег, и все вокруг тоже было выряжено в пухлые шапки, так удивительно из-под белого выглядывала еще живая, крепкая, летняя зелень.

Дубовый крест над отцовой могилой был мощен и строг, на маминой могилке тускнели цветы из мягкой, цветной бумаги. Трофим ждал удобного случая, чтобы завершить дело, как и замышлялось: поставить родителям общий памятник, как стоит у их бывшего председателя, отец-мать того заслужили.

Трофим вспомнил, что он даже фото родителей («мама была такой молодой») отсылал Северину, тот обещал заказать стеклянный портрет к стоячему камню. Время шло, но никаких портретов, никаких указаний насчет памятного камня от родичей не поступало, и Трофим все пока сделал по-своему.

Справа вплитык к отцовой могилке горбатился совсем свежий холмик. В прошлый приход Трофима его еще не было. «Чей бы это? — подумалось ему беспокожно. — Должно, из соседней деревни». Подошел к родичам молча, поклонился им, потом поклонился родителям молча. И тут же взялся за дело: сломил в акациях палку, стал выстругивать ножиком колышки, заколачивать эти колышки слева от маминой могилки, забивая свободную территорию, занимая местечко себе и Устинье.

И вдруг Трофим понял, что этот суд над ним, все укеры ему сестер-братьев так мелки, ничтожны перед необходимостью этого памятника, перед долгом его сыновним. Трофим ждал, что скажут братья о памятнике, о стеклянном портрете.

Устинья попробовала встать еще раз и чуть не упала с постели. Откинулась на подушку, и в ее воспаленном мозгу замелькали лица братьев Трофимовых, самого Трофима, Егора. В глаза рванулось все их тигановское кладбище с расщепленной рябиной, на рябине лежали пышные шапки снега и рушились вниз на шеи, за воротники

Устипья прикрыла веки, и все перед ней засверкало, заметалось в сполохах, в звуках, как в кино, как по телевизору.

* * *

...Трофим поставил наземь ее четырехручечную сумку, с какой она всегда ездит в Алатырь, поправил на дубовом кресте рушник.

— Ой да приподнимись, наша мамынька-а, да приоткрой свои глазыньки-и,— запричитала Варвара,— да ты глянь-погляди на нас, детей своих стылых, прозяблых да дай нам материнский совет, как нам жить, как нам...

— Ладно, не вой,— остановил ее Северин и повернулся к нему:— Ну что, отыскался?

Трофим шагнул из общего круга и отвернулся.

— Ты вот что, Трошк, ты мозги всем тут не обрызгивай,— глядя на Северина, начала с ходу Варвара.— Не вилай, скажи прямо, мол, за этой пьяпкой уж не стал чилавэ-ком.

— Н-не надо так,— поморщился Северин.

— А что я сказала-то, подумаешь, ничего не сказала,— завелась с полуоборота Варвара.— Про пьяпку его сказала, так вы бы поглядели, как возле мово магазина с утра увиваются.

— Мы же тебе лучшего желаем,— по-отечески смягчал сестрин тон Северин.— Верно, ты же брат. Одна мать родила, один отец у всех, и нам больно, что ты у нас... ну не как все... стал такой.

— Какой? — сказал Трофим едва слышно.— Какой?! — повторил он, едва сдерживаясь, понимая, что говорить, может быть, и не надо, но он уже не владел собой, его куда-то несло.

— А такой, братка наш, а такой! — рассердился не на шутку теперь уже Северин.— Через край ее, пепутевую, потребляешь, чрезмерно. И покатился вниз по дорожке, а катиться только начни. Мы вчера ночевали у Варвары, говорили тут... Наждачком приехали тебя шлифануть, наждачком. Суд наш строг, но и справедлив. На пересуд подавать некуда, амнистии тебе в таком деле не будет...

— Что ж, ты думаешь, мы и вправду ехали сюда не из-за тебя — из-за Кузьки? — заговорил примиряюще Михаил.— Вон жена твоя уже не справляется, позвала нас на помо...

Тут Устинья дернулась с подушки, все в комнате качалось перед ней, все пошло кругом, как в самолете, как в том самом «кукурузнике», каким она в позапрошлую осень летала из Алатыря в свой областной город. «Что они говорят там, зачем это делают? — со страхом в душе, с ломящей болью во всей голове забились в уголок постели Устинья и видела, как там, на погосте, осел на соседний холмик Трофим после слов Михаила. — Ведь я же писала Северину в письме просто так, для совета... и с Надюшей поделилась по-свойски»... С первых минут их приезда она-то наивно думала, что все они явились сюда, если уж и не из-за Кузьки, из-за его восемнадцати лет, то во всяком случае ради нее, Устиньи, наконец, мужнины родичи признали ее, уважили за ее долгие годы жизни с Трофимом, отблагодарили своим человеческим вниманием. Столько лет жизни, столько всего, вон уж какие дети у них с Трофимом, все уже за спиной. Нет, она не жалуется братьям и сестрам, у других бывает и хуже, жизнь на то человеку и дадена, чтобы жить, какой она есть. Хотелось только чуточку прислониться к кому-то, одного хотела: сочувствия, на всех разделить свое, что ей отпущено, она и в письмах им ничего не сказала, просто позвала на Кузькин праздник, ну, самую малость приписала Северину, всего ничего, а они возвращают ей вдвое, втрое, сполна. Она бы приняла все это от Трофимовых родичей, если бы уже не любила Трофима, но она все еще любила его, может, не так горячо, как в молодости, зато беззаветнее, строже, оттого и не верила в искренность мужнинных родичей; что-то было не то в их словах, что-то не так. Неминучая опасность нависала не только над Трофимом, но и над ней самой, над всем укладом их жизни, над всей ее, какой уж есть, хорошей или нехорошей семьей... «Надо было туда с ним, вдвоем с ним туда»...

И тут Устинье голову как надвое расколото, она закричала от боли. Когда бабка Галя вскочила в комнату, Устинья уже лежала на полу, стянув за собой смятую простыню.

Сторожевой курган как бы нависал над кладбищем, тигановское кладбище было под Сторожевым. Обычно темную, мрачную с этого бока громаду всей горки с курганом на самой макушке сейчас умягчал синеватый от

влажности воздух; сама поверхность Сторожевого казалась Егору необычно светлой, убеленной нежданно свалившимся снегом.

Лето противилось зиме, на высоких местах уже появились черные пятна — вытайны, с ветлы смачно капало, снег на каждом листике набух с краешков, сжался и посинел. И только в лощинах, в кладбищенских кустах, в затененных местах — под венками и обелисками — белое лежало победно, молодое, припухлое, пока неподвластное лету. «И откуда взялся этот холод? — смотрел Егор на Сторожевой и видел сизую дымку на отцовых висках. — Вон там, на кургане, две белые впадины, как два цепких глаза. Чуть выше, по самой кромке кургана, — прутья с затесами, по затесам — фамилии косарей, среди них имя его, Егоровой матери... Человек уходит, а дело его остается, дух переходит в других, слаивается, умудряет народ.

Об этот Сторожевой разбивались когда-то волны кочевий, с родных мест их толкала вовне все та же борьба за хлеб насущный, усобицы. И что осталось от тех кочевий, от нормы их существования — жестокости? Противостояние курганов? Все та же борьба?..»

— Мог бы и обкосить, — толкнула Варвара под локоть Трофима и показала глазами вокруг на спутанный, оснеженный, какой-то сиротский бурьян. — Руки бы не отсохли.

— Мог бы, — угнулся Трофим. — «А то разве не мог бы. Где утречком, где вечерком, — сгибался он все ниже, не мог поднять головы. — Это не оправдание — ссадили с машины, осваивал новую марку... Каждый год обкашивал, а тут память как отрубил. Ну чего стоило захватить косу, завернуть сюда хотя бы на тракторе... И ты, стервец! — пнул он репейник, уже осемененный, ростом под ухо ему, почти под фуражку. — И ты, стервец, выбухал на мою шею»... Трофим косился на сестер, братьев: стоят, переглядываются, у всех одно па уме, а он как чужой.

— Крест на отцовой могилке, — сказала Надюша задумчиво, чтобы что-то сказать.

— Крест, это ж надо! — подскочил на месте, как ударенный электричеством, Михаил. — Видали? Рушнички с петухами. А ведь отец был неверующий.

— Дак, а как же, — слабо оправдывался Трофим. — Вечное дерево — ни дождь тебе, ни червяк. Я у деда Кол-

чака на тесины выменял, чуть ли не на коленях стоял, это уж он из-за отца, отца нашего уважал, дубок свой отдал. Я сначала хотел на обвязку, под угол дома.

— Ну и сказанул. Отцу стало жалко, отцу нашему,— укорял Северин Трофима, а сам смотрел в сторону, то ослаблял голос, то набирал голосу силы.— Ты ему сын, а нам все-таки брат, одна мать родила, один отец...

— И нам больно слышать,— залетел под руку ему Михаил,— про эту твою дурацкую обвязку.

— Сам Колчак его метил на погреб,— отвечал Трофим с поспешной готовностью,— едва Колчака отговорил. Дубок-то мореный, найден под берегом, речкой вымыло.

— Эх ты! — с сердцем сказала Варвара.— На обвязку, под угол... жлоб несчастный!

Как осокой по глазам, резанула Варвара Трофима, Трофим схватился за лицо и отвернулся. Егор сжимал ствол рябины, даже кора под костяшками пальцев лопнула. Подтаивая, с узкого, отягченного листика сбоку щеки съезжал с шорохом снег.

— Да что вы, в самом деле! — заслонил Егор отца.— Да что вы на него навалились, как вам не стыдно,— и заговорил быстро, чуть не плача.— Вы бы хоть могилки этих... этих вот... постыдились. Послушали бы они там... дед с бабкой Агашей... как мы тут перед ними, как только язык поворачивается. Да, может, не нужно бы стало им никакого дубка, никакого памятника со стеклянным портретом. Может, им нужна наша память.

— А что я сказала-то, а я ничего не сказала,— повела к Егору Варвара короной на голове.— Те все мне чужие, крапивники-то, черт с ними, а твой отец мне все-таки брат.

— Ему же желаем лучшего,— басил по-отечески Северин,— он нам все-таки брат. И нам больно, что он у нас... ну стал таким...

— Каким? — едва слышно выдохнул Трофим.

— Ну таким,— отступил на шаг Северин,— пожалел вот дубок. Заришься не на свое, а на общее, что тебе братья-сестры?

— Ладно,— положил Егор руку отцу на плечо и развернулся ко всем, стал жестче лицом.— Я вас понял, дядьки, понял... И зря сделала мама в письме к вам приписку, тоже мне — утепители! А картошку из погреба выгребем, заберем поросенка — продавайте дом, хоть на

своз, хоть на топку. И без нас деньги делите, как-нибудь обойдемся без них.

— Не твое дело, сопляк! — разжал Северин тяжелые челюсти.— А дом пусть пока постоит — общий корень, теплая кочка земли.

И согнулся, положил кулаки себе на крестец, зашагал, пошаркивая, к выходу с тигановского кладбища.

Егор не слышал ничьих шагов. Где-то над ухом шумно съезжала белая шапка, еще и еще, увлекая другие, и вот уже целая снеговая лавина свалилась с расщепленной рябины, частью ударила по плечу, частью попала за воротник. И вот рябина стояла, снова прозеленев. И только за дымкой, непривычно светлея, по-прежнему нависала над тигановским погостом обычно темная, мрачная в это время и с этого боку громада Сторожевого кургана.

ХII.

За ночь сделалось Устинье совсем худо. Все ходили на цыпочках, в доме стояла такая звонкая, оцепенелая тишь, что, если прислушаться, можно было выделить не только тикание ходиков на веранде, перед бабкиной боковушкой, но, кажется, и удары самого Устиньиного сердца. Бабка Галя уже съездила вместе с другими доярками, подоила Устиньину группу и сейчас рассказывала, как Трофим звонил с фермы в район, добивался из Алатыря «скорую».

— У нас, говорит, в Тигановке тут очень больной человек, выезжайте срочно. А они ему, слышу: а сколько лет ей, а где и кем работает?.. Да что ж это? — от волнения у Устиньиной матери даже губы тряслись, — если старый такой человек, как я, к примеру, так что — и ехать не надо? Черт с ней, бабкой, так?

— Порядок такой, — успокаивал ее Северин, а сам сдвинул брови, смотрел с понятием на Михаила. — Записать человека надо, ведут документы, а как же.

— Писали-писали, оформили, а потом на закуску Трофиму-то: «А к вам туда, вот говорят, не проедешь, везите больную сюда». — «Как это не проедешь? — шумит им в трубку Трофим. — Вы, стало быть, не проедете, а мы, стало быть, туда к вам проедем?» — «А вы, говорят, гражданин, не кричите — что, уже пьяный, с утра дозу принял? По-русски тебе говорят, дороги нет, дорога испортилась, ишь, на улице что творится, в Плещеевской колдыбани,

перед мостом, все машины сидят. «Скорую» выслать не можем, везите». — «Да не можем мы, человек очень тяжелый... В крайнем случае, вы, говорит, направляйте «скорую», а я к Плещеевской колдыбани на тракторе... сам тракторист... как-нибудь перетащу».

— И на чем порешили? — живо спросил Михаил бабку Галю.

— Да сказали, вышлют... А вот что-то нет и нет. И Трофима тоже.

— Знаю я эти дороги,— вздохнул Михаил,— а мне на работу надо. Застрянешь тут — за неделю не выберешься. Слышь, Северин, надо идти на центральную, а уж там, сам понимаешь, то за горючим ездят, то еще за чем.— И снизил голос, показал глазами на Устиньину дверь:— И здесь мы лишние, только мешаем.

— Это верно,— протянул Северин в размышлении.— Погостили, и хватит. Да и чем поможешь?.. Давай!— сказал он неожиданно резко.— Давай быстрее на центральную и в район. В районе мы им хвоста накрутим, чего они, в самом деле? Насильно вытолкнем «скорую»... Слышь, баб,— повернулся Северин к Устиньиной матери,— уезжаем. Сначала на центральную, а там как-нибудь до Алатыря. Заставим прислать сюда «скорую».

— Ох, да как же вдруг? — разохалась старая.— Трофима не дождалась.

— С Трофимом не разминемся,— суетился Северин.— Там, на дороге, и попросаемся. Варвара обещала заехать, до центральной на своем «Москвиче» подбросит, а там что-нибудь придумаем.

— А как же мы? Устинчику надо к врачу, — вышла из спальни Мпля,— назначали на вторник.

Все в доме пришло в движение. Собирались молча, сосредоточенно. Разбросанные по стульям, кроватям вещи опять исчезали в сумках и чемоданах, главное — не перепутать: не взять лишнее, не оставить свое.

Бабка Галя взяла ведерко, ушмыгала на огород — накопать городским картошечки. Занятый каждый своим, никто и не заметил, как Устинья встала с постели и по степке вышла наружу. Уже возвращаясь с полным ведерком, бабка Галя увидела ее на пороге и бросилась к ней:

— Господи, ты зачем поднялась?

— Вон того гуся... с подломленным крылом, какой покрупнее... Северину,— вела по двору слабой рукой Ус-

типля, опираясь спиной на дверь.— Вон того, па култышке — будет ему, отмучился... этого Михаилу... Надюше, мам, положи побольше баранинки, мужик у нее любит плов с рисом...

— Ладно тебе, ладно,— уводила ее бабка Галя с порожков внутрь дома.— Ты иди, иди,— подталкивала она дочь легонько к постели.

Бабка Галя делала свое привычное, крестьянское дело размеренно, неторопко: взяла топор, попробовала его пальцем — востер, Трофим на днях брал в мастерские на электрический камень. Выбирала не тех, что указала Устинья — зимовалых, а самых крикливых, сеголеток, чтобы не горлачили под окном, не мешали Устинье.

Вскоре старая уже сидела на корточках, ловко щипала белые тушки, и гордые головы тех, чьи предки когда-то спасли Рим, валялись под лавкой отдельно, а глупый «хлуп» из-под ловких, проворных бабкиных пальцев все обильнее открывал глазу розоватую, в пупырышках кожу, и всему этому гуленому-хоженому по вольным здешним местам предстояло уехать в город, напитать человека, который крутит там станок, как, например, Северин, или, как Михаил, ремонтирует автомашины, как другие тысячи тысяч — варят сталь, пишут книжки, ведут самолеты. Мясо, хоть и тяжелое, недietetическое, а годится. Хоть в суп куском, хоть куском на сковородку, а хоть и целиком под железную крышку, а гусятницу ту в духовку газовой, электрической плитки, а после к столу с печеными яблоками, с наштигованной перцем-морковью, картошечкой.

Наблюдая за проворством бабкиных рук, Егор упустил тот момент, когда пух под ветром отлетел от старой, начал стелиться, снежить по двору, по траве, но сейчас это уже не удивило Егора. От недавнего, настоящего снега еще не успела просохнуть крыша до сих пор с теневой стороны, словно весной, перетенькивалась с капелью капель и кое-где, в гущине сирени и под сараем, задержались белые, снеговые последки. И воздух был уже летний, не июльский, а словно концемартовский — первоапрельский, резок по-вешнему, не по-летнему свеж. Егор поймал каплю ладонью и провел по щеке ею, мокрой.

Болезнь матери не на шутку его обеспокоила, подменила в нем прежние мысли и чувства одной глуховатой, непрекращаемой болью. Так мать никогда еще не болела. «Это я во всем виноват,— казнил Егор сам себя.—

Я сказал тогда про приписку к отцову письму. Без моих слов, может, не побежала бы с рубахой к отцу на «колыму», не попала бы под град, не остудила голову». Как и все в доме, Егор ждал «скорую», как и все, уже верил в нее, словно в какое-нибудь божество, будто этого только не доставало матери, чтобы тут же встать на ноги, сделаться прежней — сильной и работающей. Из головы Егора выпала даже Стешка, не вспоминалась ни копенка, ни глубокие запахи сена у них под затылками, ни звезды Большой Медведицы — навстречу глазам. Все заменило одно большое, жесткое чувство вины перед матерью. И только слова Миля о ближайшем отъезде оторвали мысль от всего.

— Поживем еще, а? — возразил он тихо жене.

— Ты можешь тут оставаться, — сухо сказала Миля, — а вам нужно, ты знаешь.

Говорят, он, Егор, похож на мать, на кого похожа она сама? Отца ее, своего деда, Егор не видел, тот умер давно, еще до рождения внука. На бабушку Галю? Бабка старая, моховая, в морщинах, за морщинами, если взглядеться, может, и мамин взгляд, улыбка мамина... и мамино счастье...

Этой весной он чуть не приехал сюда домой на целый месяц. Из важной речи ректора их института Егор уяснил главное: зимой такие, как он, лаборанты должны плотно сидеть за своими пробирками, а с посевной и до осени — поочередно — помогать подшефным пахать, сеять, полоть, убирать. Но подшефным назначили их институту другой район, и Егор не попал в Тигановку. А если бы попал, то он был бы рядом с мамой, и она, прежде чем приписать строку к отцову письму, вероятно, испросила бы у него совета, и он, конечно, не посоветовал бы, и тогда она не попала бы под град на «колыме», не было бы остуды и этой болезни.

— Мать застонала, и Егор кинулся к ней с кружкой воды. Мать отвела его руку и откинулась на подушку. Лицо ее сделалось неузнаваемым: обострился нос, провалились глаза. «Да где же отец? Когда же явится «скорая»?!» На цыпочках Егор вышел из комнаты — на улицу, за двор, на дорогу: дорога была пуста.

За сеновальным сараем кто-то вскрикнул: Кузька прыгал на одной ноге, исторгая проклятия камню, спрятавшемуся в траве, о который Кузька и ссадил себе палец. Тут же валялось лукошко, грибы раскатились по

выбитой, растоптанной ногами дорожке. «Из Кимочкина березняка... грибы появились»,— едва отметил Егор, как услышал голос бабки Гали, которая ругала Кузьку:

— Родимец тебя забери! Босиком бегать... да еще по такой лютой погоде... ай обувки нет, ноги сунуть не во что? Гляди, палец побагровел, хорошо, если кость цела... Ах ты, боже мой, беда не приходит одна.

— Во-во-во,— совал Кузька ей лукошко с грибами и показывал пальцем на хату.

— Мамке сбегал набрал,— взяла лукошко у него мочовая и уже лучилась на внука глазами.— Мамке хотел угодить, сердешный.

Ни отцова трактора, ни машины в алых крестах все не было... «Чего они мешкают там, чего?..» А может, грибы не из Кимочкина березняка, а из той воп посадки? Грибы, говорят, перекочевали из лесу в такие посадки, в посадках растут не только свинушки и опята, даже белые — колосовики. Только с грибами из этих посадок держи ухо востро: тем летом в соседнем районе, писали, отравилась семья, не спасли; это потом уже вспомнили, что в тех березках лет семь назад лежали мешки с удобрениями...

Егор побрел вверх по дороге, и сейчас же в лицо ему, плечи, во всю грудь ударило то еще прохладным, то уже согревшимся воздухом, и там, где воздух был теплее, прогреее, ему почудился сытный запах зрелого хлеба, он падал оттуда, из-за посадки, от пшеничного поля. Эвои поле какое — огромное; клонятся, отягчившись, колосья — в каждом зерен по пятьдесят, он считал их тут в прошлом году, это точно — пятьдесят в колоске, но и прошлой осенью навалился этот дьявольский комплекс работ, и ушли, как миленькие, дорогие, ядреные зерна под снег, зато дали корм мышкам, мышки дали корм лисам, развелись в поле лисы. И ведь как побесились: лезут прямо на человека — некрасивы, затаскапы, шерсть свалялась, хвост голый. Один мужик из Гриневки, не из той, что за речкой, а из той, что под лесом, на тракте, польстился, протянул руку, так она его хватъ зубами — медицина бессильна. Оказалось, лиса съела отравленного удобрениями зайца... «Полю, воздуху, лесу — всем сейчас хорошо, одной маме плохо. Да когда ж эта «скорая»? Хоть бы отец приехал, хоть бы скорее отец...»

Егор вернулся во двор, зашел в горницу, мама плавала в жару, лицо, руки побагровели, свет от полузавс-

шенного окна делал впадины глаз провальнее, глубже. Она услышала его, но не подняла век, только дернула краешком все еще чутких ресниц. В пышущей жаром постели Егор уловил родной до боли запах тела, ее — маминого тела и, едва не зацепив табуретки с кружкой воды, с порошками и таблетками — остатком от всех прежних болезней, выскочил снова на улицу, глядеть на дорогу.

Внимание его привлекли голоса за сеновальным сараем. У стеночки, на солнцепеке, сидели и коротали время до приезда Варвары братья отца и сестра — тетушка Надюша. Егор прислушался.

— ...разучились работать.— Это был голос дядьки Михаила.— На городских стали надеяться, на шефов, иждивенчество и развелось. Хоть ты, Северин, труженик, рабочая гвардия, ты же не позволяешь себе с утра паиваться? А Трофим позволяет...

— Помолчал бы. Уж кто-кто, да не ты,— остановил дядька Северин младшего брата.— Ты вот ремонтируешь на дому легковые всех марок, а где запчасти берешь, думаешь, я не понимаю?

— Очумел, ей-бо! — вспыхнул дядька Михаил.— Белены, что ль, объелся?

— Ребята, ребята,— в самое время вступилась тетушка Надюша, вечная примирительница,— да ведь вопрос о Трофиме. К нему ехали — от него уезжаем. Он же ждал нас, а вы...

— Что — а мы? — рассердился дядька Михаил.— Не закрывай глаза, не отворачивайся, Надюша, от факта. Права Варвара, надо было вовремя его определить в ЛТП, пусть бы там устроили ему эту... лечебно-трудовую профилактику. Вернулся бы оттуда, как миленький, еще и шапку бы воп откуда снимал. А теперь, вишь, как болеет Устинья. Так ведь в самом деле случай, и в столетие раз бывает: летом — град, снег, в августе — поздне-октябрьский зазимок...

И тут все затихли, мысли у всех снова перенеслись в хату, в горницу, где сейчас сгорала от жара жена их брата, его, Егорова, мать. В душе Егора все взбунтовалось: «Говорить при этом такое?! Как это отца в ЛТП! Сроду никто из их семьи не сидел нигде, и вдруг — нате вам в ЛТП? Хороша тетушка, нечего сказать...»

Наконец, в конце посадки — «Светлого березового хода» — показался темно-вишневый Варварин «Москвич»,

через минуту у сеновального сарая скрипнули тормоза. Романов сказал в приоткрытую дверцу, что подбросит всех до центральной, а там председатель едет в город на «козлике», попросить хорошенько — подбросит.

Зашли в горницу к Устинье, присели все в ряд на длинную лавку. Устинья на момент повернулась ко всем и опять откачнулась к стене. Северин поставил на стол перед всеми фотографию отца с матерью — совсем еще молодые, баба Агаша с дедом Петракой. Вздохнула Надюша: Трофима нет, как-то не то без Трофима. Сидели, молчали, думали об Устинье и думали о себе, о корневом, отчем доме, о том, как рождались друг за дружкой тут, в Тигановке, в еще старой хатенке, как ползали, падали с такой же скамейки, до крови разбивали носы, как холодали и голодали в войну и сразу же после войны, и по сей день сидит в Северине этакий запах от курного цавоза из печки, от черного, пополам с лебедой, глазастого хлеба, кажется, им пропах на всю жизнь. Северин хотел было сказать перед всеми последнее слово, пожелать, чтобы все здесь, в Трофимовом доме, наладилось, беда прошла стороной, чтобы плотнее жилось-былось всей их большой тигановской семье, да махнул рукой: к чему все это? И так все сказано-пересказано.

— Вот что, баб,— сказал Северин бабе Гале, убирая фотографию в чемодан.— Вот что: едем туда, вытолкнем «скорую».

Встали разом, подошли к постели Устиньи, постояли, склонив головы. Устинья приоткрыла глаза — прощалась: бог с вами, уезжайте... И тут из спальни вышла Миля с еще не одетым, голопузым Устинчиком, и Устинья напрыглась вся, даже жилы на шее обозначились резче, потянулась губами к Устинчику. Ее приподняли, держа ладонью под спину, она коснулась губами Устинчикова лобика и улыбнулась. И вдруг широкая, горячая, изобильно-живая струя брызнула из Устинчика на Устюшины ладони, на постель ее, на простыню. Устинья качнула Устинчику ресницами да так с улыбкой и опустила на свои огневые подушки.

А Устинчик дул из Милиных рук на пол, на лавку, до самых своих пеленок на диване, до спальни, напившись вволю здесь молока — деревенского, свойского, доенного для него, внука, раньше Устиньей, а в эти два дня бабкой Галей — старой бабкой его деревенской.

Вот уже третий час караулил Трофим со своим трактором «скорую помощь» у Плещеевской колдыбани. Колдыбань эта у исчезнувшего поселка Плещеево знаменита своей непрсыхаемостью, говорили, её подпитывают поддонные ключи, потому с весны стоит в ней вода, к середине июля она протухает, становится склизлой, грязновато-зеленой. В дождливое время сюда, в топкое место, сбегают с полей ручьи, редкая машина отваживается тогда перебраться изрезанной, неизвестной глубины колеями до Ярищенского моста. Обычно ездят в Алатырь Тагинской дорогой, сейчас там ладили мост.

Вот и «скорая». Белый «рафик» в красных крестах врезался в колдыбань, хотел одолеть её с ходу. «Сопляк, мальчишка!» — кинулся Трофим к своему дизелю, а «скорая» уже ухнула вниз по макушку.

Вся пизина засинела выхлопным газом. Когда Трофим выдернул «рафик» обратно на твердое, тот уже не мог ехать. В синем чаду, вровень с Трофимовым шагом, уходила «скорая» назад на Ярище.

— Так позвони сразу туда из Ярища-то,— держался Трофим рядом с кабинкой и говорил-наказывал мальчишке-шоферу, видать по всему, еще не служившему в армии:— Пусть высылают другую.

— Там у них еще «Волга» на станции. Вызову из Ярища и сюда,— отвечал ему человек в белом халате — врач или фельдшер.— А вы ждите, ждите тут... у колдыбани, я быстро.

«И где откопали такого? — косился Трофим на несерьезно тонкую шею шофера.— Куренок».

И опять потянулись минуты, часы ожидания. Теперь Трофим совсем не мог владеть собой, сердце щемило, словно вещало. «Что там у них, с «Волгой»? — весь вытягивался он, обостряя зрение, а об Устинье боялся и думать, отгонял о ней всякую мысль.

Взгляд Трофима привлек нож — бульдозер впереди его дизеля. Надо же, совсем забыл, что он есть, так привык. Трофим резко грохнул металл о землю — от бульдозера отвалился ком сцементированной, крепко схваченной временем грязи. «Вот она, стерва, развела лягушатник! — врезался Трофим заржавелым стальным ножом в ближнюю колею.— Сейчас мы тебя шлифанем, шлифа-

нем! Мать родная не узнает, наведем культурку, как в телевизоре».

Показался «козел» председателя. Братья выскочили из него попрощаться.

— Да чего ты торчишь тут, Трофим, чего?! — закричала Надюша. — Езжай сейчас же к Устюше! Ты там пужец, слышишь? Езжай! А мы «скорую» подтолкнем.

Прежде чем броситься в Тигановку, Трофим заведнул сначала к крайнему домику на центральной, к дружку своему — Замуруеву Володьке. «Дело такое, — объяснил Трофим ему кратко, — дуй к Плещеевской колдыбани и дежурь там, перетащишь машину. А мне надо домой, понял?» — «Понял», — сказал хмуρο Володька.

Трофим оставил трактор далеко за двором, прошел в горницу к Устинье на цыпочках, крадучись. Но она все же почувяла, когда он появился рядом, раздвинула веки, посмотрела в глаза Трофиму прямо и широко. Потом веки снова соединились, и Трофим перевел взгляд на окно, глядел в него час или два, ничего не видя. «Да где же «скорая»?» — переворачивалось все в груди.

Резко свалилась ночь. Устинья стало еще хуже. Она хватала себя за виски плоскими от работы, жестковатыми пальцами, рвала на горле рубашку. «Кхр... скорую», — слышалось Трофиму, и он выскочил на улицу, вскоре трактор его исчез во тьме ночи.

Замуруев Володька, оказалось, сволочь, напился, кто-то отдал ему старый должок, и сейчас Володька валялся пластом. Трофим быстро привел его в чувство и, чуть ли не избив, оставил дежурить у колдыбани, а сам кинулся в Ярище и звонил-названивал в Алатырь, пока из больницы сюда — в какой раз! — не выслали «скорую», теперь уже «Волгу».

— Сейчас будет «скорая», — появился он снова у постели больной, вытирая тылом фуражки измученное, сырое от пота лицо.

А Устинья взялась умирать. Она жадно ловила ртом воздух, а ей его не хватало, она билась затылком, лопатками враз исхудавшего тела о подушки, голова трещала от боли там, изнутри, потом боль стала спадать, притупляться. Трофим кидался к Устинье с кружкой воды, запикивал ей в губы таблетки, а губы уже холодели, сипели, не слушались, и он готов был на стенку лезть — так ходила в нем, клокотала, не могла смириться с тем, что

вот-вот может произойти с Устиньей, его по-цыгански дикая, сильная кровь.

— Дети, дети-и-и,— завывала, заголосила старая бабка Галя,— идите прощаться с матерью, мать умира-а-а-ет!..

Попался под руку Кузька, толкнула Кузьку к Устинье... И тут во дворе раздался тревожный сигнал — «скорая». Женщина в белом халате вбежала в горницу, открывая на ходу чемоданчик. «Кипятку... это спирт... шприц сюда». Шелушась, сухая грязда соскакивала с ее первого, дерганого лица.

Укол поддержал сердце, заставил его еще поработать. «Приподнимите»,— сделала знак Устинья.

— Вот и все,— шевельнула она сухими губами,— ухожу от вас первая... Трофим,— позвала она,— остудилась вот летошним снегом, Троша... Век прожил, а что понял... как любила тебя, как... не поймешь по сю пору? Жизнь — терпение, строится только добром и терпением. Смири гордыню, Троша, живите с семьей в согласии, мире, смотри за детьми... особо за Кузькой, что он без тебя? А я приду, проведаю вас, посмо...

И откинула голову. Трофим закричал, застучал кулаками по груди, по столу, по железной кровати.

— Отходит пусть, тише,— стояла у окна бабка Галя каменно, положив на плечо Кузьке руку.— Ишь, вон она, вон улетаёт, летит.

Светало. «Скорая» развернулась, уехала. Трофим как уперся головой в пол, так и лежал. Загорготали оставшиеся в живых гуси, им ответил петух, засвистел в форточку ветер. Трофим поднялся с полу и, смахнув с табурета ладонью все разом, какие были, таблетки, сел рядом — плечом в плечо — с бабушкой Галей.

Так и сидели.

На веранде хлопнули дверью, прозвучали шаги. «Устюш! Звонили, райисполком вызы...» Трофим поднял голову: перед ним стоял Фома Фомич. Тот перевел взгляд с Трофима на постель и все понял. Повинуясь какому-то внутреннему порыву, шагнул навстречу Трофиму и Трофим шагнул навстречу ему, и обнялись они оба, неловко как-то, по-братски, и все, что копилось в Трофиме, прорвалось вдруг, и заплакал он на плече Фомича. Так и стояли они, близкие, родные теперь в общем чувстве к Устинье. И плечи у Трофима заходили, задергались, и Трофим, как слепой, отошел и уткнулся в стенку:

— Нет больше нашей Устюши, нет. О господи, да за

что же такое? Ладно, мне так и надо, а ее-то за что? Я же пил, я бесился, и меня надо было, надо было меня-я-а... А она, мать наша, работница, честная, ее все любили, это меня есть за что ненавидеть, а ее так вот, за что, за что-о? До чего ты, жизнь, несправедлива, выбираешь самых лучших, почему ты меня обошла, п-п-почему-у обошла-а? — И вдруг Трофим отошел от стены, сказал на всю горницу, глухо:— Для того и существуют, наверно, святые люди, чтобы такие, как я, видели свою грязь.

Постучал кто-то в раму. Стукнул громче.

— Эй,— закричал с улицы дед Колчак,— эй, Трофим!

— Чего тебе? — отозвался отсюда Трофим.— Чего тут ошиваешься, почему не у внука?

— Видал? — мотнул восхищенно дед Колчак белоголовкой.— Пора заливать карбюратор. Даю ответную — встречную.

— Пшел ты, чума! — отмахнулся Трофим.— Все, отпился, конец... отгулялись — отпились денечки-и...

— Да ты что? — испугался Колчак и, ступив на завалинку, сунул в окно свою кудлатую голову.— Ах, Устинья-я... Усти-и-инья-я-а!! — и скользнув с завалинки, понесся по деревне.

Тут же во двор стал сбиваться народ. Загудели, зашумели, как роевья встревоженная. Доярки — подружки Устиньины — пришли прямо с ведрами: как раз собирались на дойку, трактористы, что еще не уехали в поле, старики, дети. Бабка Галя уже успела надеть на голову черный платок, вышла на порог, поклонилась народу в пояс:

— Все, люди, нет больше нашей Устиньи. Высоко улетела святая душа.

— «Скорая» вовремя не приехала, опоздала! — взмахнула подойником Корсакова Тоська.— Плещеевская колдыбань не пустила... Бабы, да что же это творится такое? Скоро все туда по одной. Троицкую нашу больничку закрыли, даже Семашко работал в ней, первый по медицине нарком. А теперь стало мало людей в деревне, что — лечить некого?.. И дорогу до города техникой рассадили! Да что же это такое, бабы? Нехай ремонтируют срочно.

Из глубины дома вышел на порожки Трофим.

Увидев его, люди все так и всплеснули руками:

— Ох, да ты же весь белый, Трофим!

— Вот когда отрыгнулось, как пить-то,— подал кто-то голос,— жёну не жалеючи,— по тут же его осекли.

Не узнавая никого, Трофим прошел через двор к шатровой, в треть двора, липе, уперся в шершавый ствол лбом. Стоял, раскачиваясь, качая-раскачивая, кажется, всю ее, вековую; от Чистюпки возник ветерок, и вот уже желтые листья слетели с могучих суков, увлекая другие, и толкнули по плечам, стекая с белой его всклокоченной головы. С веранды выглянул Кузька, желая, видно, чем-то утешить отца, кинулся опять к себе на веранду. Мягкие, упруго-кошачьи звуки пошли по Тигаповке и дальше по Чистюньке-речушке:

— Не пройдет, казалось, лето.

Не пройдет, казалось, лето.

А теперь, а тепе-е-ерь...

Егор стоял за сеновальным сараем и никак не мог отдышаться. Он давно уже понял, что опоздал, что в доме случилось что-то ужасное, и боялся ступить за порог.

В это время бабка Галя закаменела возле Устищи. Похваталась-похваталась за грудь, расправила дочь, как получше, чтобы побыла так, пока не набегут сюда на подмогу деревенские старушки, да и пошла, заведенная, делать свою привычную, нескончаемую работу, на которую у нее сразу не стало вдруг сил.

А отец все стоял, обняв жесткую липу руками — липу давнюю, вековую. Мыслей не было — одна пустота. Постепенно он стал ощущать шершавость ствола, липа качалась в руках, уже и не теплая, остывая, в такт биению его сердца, этим расхлестанным мыслям: «Чертова колдыбань! Мало тебе пота, крови людской. И хотя докторица сказала, все равно был возможен «летальный исход», ты свершила еще и это свое злодейское дело... Брошу деревню, уйду в Алатырь на дорожный участок, поступлю на станцию «скорой помощи», только бы простила Устинья, только бы... Я во всем виноват, я один, мне она несла на Окаемово поле рубаху — вот эту, зеленые васильки... Ах, да не васильки бы, так что-то другое! И не град бы, так что-то еще. Главное — вовсе не в граде, не в васильках — во всей его непутевой, расхристанной жизни, в его дикой пьянке...»

Тогда Егорке было лет шесть. Устинья уже ходила в доярках. Наматается за день, придет, бывало, хлопнется в постель, как провалится, чтобы чуть свет снова на фер-

му... Помнится, она сама пришла к Трофиму на сеновал, подвернулась в тулун и все шептала ему, говорила, что полжизни у них уже позади, а впереди еще половина, и они нужны людям, коли едут к ним, Надюша опять обещает наведаться. «Я рожу тебе еще сына», — горячо дышала она ему в самое ухо. По сей день Трофим помнит ее тогда — покрупневшее, сильное, еще по-молодому горячее, пылкое Устиньино тело...

И вдруг Трофима как перебило надвое, в разрыв этот бросилась мысль: да ведь куда же ему отсюда, куда? В какой-такой Алатырь — на «скорую», на дорожный участок? Ведь Устинья-то будет лежать на кладбище, остается навек тут, в Тигановке. Эта мысль поразила его повизлой: это Устюшу-то в землю положат?!

И тут Трофим увидал Егора, тот брел сюда на него через пчельню.

— Сынок, — окликнул его Трофим. — Сыно-о-ок, — сорвался было его голос, но он сдержал себя, выровнял звук. — Нет мамани нашей, ушла-а... Как же будем мы, как?! Вот что, вот: покупаю тебе «Жигули». Только тут у нас пользуйся, в город не дам, понимаешь меня, сынок?

— Понимаю, — говорил Егор отцу, думая совсем не об этом — о матери. И все порывался пройти на веранду, выключить Кузькину музыку: что он, в самом деле, сдурел? И все боялся ступить за порог.

А Трофим опять перенесся к Устинье, в их совместные годы: «Живешь-живешь, ни о чем не думаешь, все работаешь, чтобы было что есть, и ведь ешь-то, чтобы было возможно работать, а жизнь-то обносит тебя человеческим, глядишь, а вспомнить-то нечего, кроме пьянки, споров с бригадиром из-за копейки, ну, может, еще из-за какого-нибудь переходящего вымпела, премии пятирублевой сверх зарплаты, которую тут же и пропьешь. А в этом ли смысл ее, жизни?

Бабы тигановские, бывало, выстраются по берегу, и Устюша с ними, — моют половики, столько хожено-перехожено по ним, столько грязи скопилось, а все в речку Чистюньку, все вода заберет, а и правда, полукилометром ниже вода уже, как стекло. Только колдобину плещевскую, грязь в колдобине сотворили не половиками — колесами. Еще когда на санях да телегах ездили. Старые люди рассказывают, стало просаживаться топкое место, так просадилося, что сани-телеги ни взад, ни вперед, как раз перед той революцией, как спалить плещевского поме-

щика Кожурякина. Сам Кожурякин был силы редкой. Так и дежурил, бывало, возле топкого места. Как завязнет кто — вот он, подпряжется — выдернет телегу вместе с буланкой: «Иде ж тебе, милая, когда я еле-еле». Надоело мужикам лошадей оставлять без хвостов, собрались, застелили топь камнем. Сколько ездили — ничего, а как пошли дизеля да комбайны, опять провалилось, а теперь вон какая колдобина — трактора и то не в любое время проходят.

Принимались, конечно, меры: скажет председатель — поскребут ребята, забросают гряздой. А тут нужно коренное улучшение, отыскать причину: где и как подтекает — с полей ли, от поддонных ключей, выяснить, а тогда уж налаживать. А то что? Садят средства, камень бутят и бутят, а все уходит в топь, как в прорву какую... Все по этой дороге ездят, а считается нашей, колхозной; другие колхозы так рассуждают: на ярищенской земле, пусть ярищенцы и хлопочут. А ярищенцы тоже: я проскочил, а ты как сумеешь. Вот она, колдыбань, и растет, разverzается... Устюшу вот уже увело... А все оттого, что не придаем той колдыбани значения, а ведь давно людьми сказано: каждая дорога достойна того, кто по ней ездит, и эта вот, стерва, достойна нас, тутошних мужиков. Это мы за бутылкой широки — пей, гуляй, наливай, а как дело — так каждый себе, жмет морковку в кулак... Хоть тот же Замуруев Володька: ишь, злодей, надо было ему обожраться, завалился, а часа того Устюше, может, и не хватило»...

Отделился Трофим от липы, подумал устало: «Чтобы завтра же, на этой неделе, через год, за всю жизнь колдыбань плещеевская не утянула еще кого-нибудь из тигащовцев, не в Алатырь тебе, Трофим, надо, не в город — самое место тебе, Трофим, здесь, в Тигащовке, где в земле у тебя отец с матерью, где лежать теперь и Устинье, где дела у тебя, жизнь в работе, в заботе о Кузьке — Устюшин завет, жить надо, а как же». И уже целился, как подступиться к той колдыбани, которая жрет и жрет, ненасытная, камни, как усостить председателя, дорога эта не боковая, а тоже ведь нужная, если люди живут тут, человек ведь не муха. И уже собирал слова в узел, а они разбегались, западала мысль, как нужна была с советом сейчас его Устя-Устюша... Стюша, Стюшенька-а-а...

И тут стала так явственна на лице, из черного ящика, музыка — он удивился этому, сдержнул ящик за шнур.

А Устинья лежала там в доме, и Трофим не знал, с чего в таком случае начинают, за что хвататься. Все это было у него в первый раз. Никогда еще не было.

Подошел Егорка и снял желтый липовый листик с белой его головы.

XIV

С вечера он предчувствовал что-то страшное, так болела душа. Не зная, куда и зачем, брел Егор привычной стежкой в луга, на сенной дух копенек. Город в душе его как провалился, начисто вытеснились из головы трамвай-троллейбусы, многооконные кварталы; их однокомнатная, с его первененком Ивашкой и тещей; заботы прижимали к земле. Сколько неба, а дышать трудно, везде кусок хлеба не просто дается. Бабке Гале, наверное, уже все равно, она свое отжила...

Ноги Егора были мокры до пояса, раздергано лежал в ложине туман. Трава под ногами захлюпала, и тут же из тумана впереди возникла огромная тень жеребца. Егор даже вздрогнул: до того она была неожиданна; тень не бросилась на него, не присела на задок, не подняла передние ноги с железными путами, и они не звякнули в тишине, не перебили собой сверлящую натугу жеребчиного зыка. Тот почной знакомец с маминой фермы? Жеребец повернул на Егора голову: белел на луну матовый глаз, застebали кнутом — вот и бельмо.

Издали, с луга, видел Егор, как горят в их доме окна, тени мечутся, и боялся туда смотреть. «Она бы не заболела, если бы не попала под снег, если бы с рубахой не бежала к отцу босиком... если бы дядья не приехали ставить отца на путь... если бы мама не сделала приписку к письму... если бы он, ее сын, «стопроцентный», не упрекнул... Значит, он, Егор, виноват в ее болезни? Но ведь и отец есть отец, он дал тебе жизнь, ты носишь его фамилию. Надо было пошире к нему; пустячок, кажется: просто любовь к нему, вера в него, и тогда бы отец не вышел к братьям один на один, и маме не пришлось бежать к нему босиком, пока ты лежал со Стешкой на сене, смотрел ей в глаза — на звезды Большой Медведицы и думал лишь о своем»...

Стыдно было Егору за свое почное безумие, он был противен себе. И все равно, если бы сию минуту, сию секунду перед ним появилась вдруг Стешка, все бы, на-

верное, повторилось: опять бы он глядел ей в глаза, считал на донце их звезды, опять бы тревожно вслушивался, как где-то поблизости дергает из доски коростель ржавые, туго забитые гвозди...

Он здесь, а она, его мама, там, и ей сейчас плохо, он не возле нее. И тут от Чистюньки, как и тогда, вещая ут-ро, возник жидкий ток воздуха, как и тогда, на том, Петраковом, конце Тигановки раздались печатные шаги, как будто кто-то шел по дедовой крыше. Глуше, чем в тот раз, но все равно печатал шаг, шел. «Шаги судьбы!» Егор сам видел, как дядя Северин прибывал у трубы лист железа, плохо прибил? И шаг все печатался, кто-то все шел, шел, шел, затихая. И вдруг шаги погасли, ушли.

Сердце Егорово бросилось к дому.

— Сыно-ок,— окликнул Егора отец, и голос сорвался.— Покупаю, сынок, тебе «Жигули». Только тут ездить, в город не дам, понимаешь отца, сынок?

— Понимаю,— отвечал Егор ему, а сам думал совсем о другом — о маме.

Он подошел к порогу и боялся входить.

Вон камни на речке Чистюньке, с них бабы полощут белье. Уже двумя-тремя поворотами ниже вода опять свежа и чиста; поддонными ключами сочится в ивовой зарости берег, из одних глыбей ключи эти питают и грязь на дорогах, и речку Чистюньку, и нет ничего благодатнее, чем после покоса, а еще лучше, приехав сюда в Тигановку из города, войти чуть пониже камней в Чистюньку, в осоки, и на свободном местечке лечь на огненную от льдистой жгучести воду и плыть, слыша, как смывает с тебя — изнутри и снаружи — дорожное, пыльное, накопленное временем... Если Чистюнькой все это можно было бы изменить...

Что-то стороннее сразу очистило Егора от мыслей: по двору к порогу дома прошел Мажор. Назад с крыльца не сошел даже, а как-то сволокся. Потом откуда-то взялся Колчак, помотал под окном своей бутылкой, и тут же его как срезало.

А Егор как стоял, так и остался стоять и подумать боялся, что могло вдруг случиться в маминой горенке.

И вот во двор начал сбегаться народ. Доярки — подружки мамы — прямо с подойниками, собирались в летний лагерь: завтра уже переводят коровок сюда на ферму. Кое-кто из отцовых товарищей — трактористы, как раз садились на бричку ехать на Окаево поле. Ста-

рики, дети, все тигановцы. В черном платке на порог вышла бабка Галя, поклонилась всем низко:

— Все, люди, нет больше нашей Устиньи. Высоко улетела святая душа.

И тут у Егора в ушах что-то лопнуло, зазвенело, и он больше не слышал ничего, только видел, да и видеть не видел, только дышал.

Первым, что живьем шевельнулось в Егоре, было вот это — собранное сознанием из разрозненных слов тех, кто был у них во дворе. «Когда люди говорят, человек он хороший? Когда человек этот кто-то и что-то для них, когда ему от того, что он хорош для других, себе даже плохо, зато всем остальным хорошо. Умеем жалеть только после, умны задним умом, а человека уже не вернешь... Если бы смертью, потрясением что-то можно было бы изменить. Но почему так, я же хотел, как лучше, а получилось вот так? И матери нет, Тигановой Устиньи, его мамы, и он, ее сын, виноват в этом, да, виноват!.. Человека не возвратишь, остальное все ложь, значит, надо все строить сызнова, начинать с людьми все сначала...»

Отец вышел на народ неузнаваемый, весь седой. Прошел к шатровой, в полдвора липе, уперся лбом в ствол. Так и стоял. А Егор думал теперь лишь о том, как ступить туда, за порог, войти в ее, мамину, горенку, как взглянуть на нее, неживую. Грудь начинало рвать переизбытком воздуха, ужас сколько воздуха, невозможно дышать. Представилась Стешка, она положила руку на локоть Егору, и воздух сошел с него, легкие заострились. Все в Егоре перекрывалось невозможной, убийственной мыслью о том, что без матери дети — сироты, но таковы они и без отца; здесь, в деревне, Устинчику с Ивашкой должно быть хорошо... «Отец! — смотрел Егор, как тот стоял, упершись лбом в липу. — Он же сгинет тут один, пропадет!» — «Сынок, — окликнул его отец, и голос его сорвался: — Нет нашей мамани, ушла. Как же будем мы, как?! Понимаешь?» — «Понимаю», — отвечал Егор, а сам думал совсем не о том — о маме.

Егор рванулся вперед, пробежал через двор. И, весь натянувшись, собравшись, ступил за порог.

Лицо Устиньи уже завосковело. Лишь чернели поверх простыни загорелые по локоть, ставшие сразу тонкими руки. И тут из-за Чистюньки, от Сторожевого, показалась та самая — речная белая чайка. Над крышей Тиганова Трофима она поднырнула и вскрикнула всего раз и устыди-

лась себя же. Она все летела, летела бы, пока хватило бы духу лететь, пока хватило бы речки — очень короткой Чистюньки, к устью, к большой воде Кнубря у Окаемова поля, к большой воде у плотины, к самой Оке, откуда видеть уже город и где, в зоне отдыха одного из алатырских заводов, среди крутых выходов ноздреватого известняка, наконец-то облюбовала себе местечко, как понял Егор, под будущее гнездо.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Человечество сейчас напоминает ребенка, получившего к дню своего рождения слишком много игрушек.

Джордж Томсон,
из «Слова о науке»

Тусклым оком Бодраков, председатель ярищенского колхоза «Светлая жизнь», оглядел самого Егора Тиганова и направление, выданное на руки ему Алатырским райсельхозуправлением, и махнул рукой в поля: «Проявляйся». И тут же сбросил с себя сапоги, швырнул в кузов, нажал голой ногой на акселератор и укатил в сторону пруда, куда недавно запустили мальков карпа.

После такого «оформления» на работу Егор не знал, что и делать. Побрел и сам к водоему, на котором, после разгона Бодраковым, гордо тараща головы, опять плавали частные гуси под дощатым щитом на столбе. На этом столбе председатель химическим карандашом начертил лично: «Зарыблено. Вход рыбакам и гусям строго воспрещен». Присел Егор на травку, прислонился щекой к столбу и задумался.

Первым делом захотелось это направление швырнуть прорвам — гусям и уехать обратно. Но как представишь, что ожидает его там, в городе: жена с упреками, с подковырками мать ее, удивление институтского начальства и ирония сослуживцев, и все та же тещина однокомнатная, где он вот уже какой год в примаках... Выражаясь словами Бодракова, а чего бы он тут хотел? Чтобы в Ярище духовым оркестром встречали, в шпалеры выстраивали колхозников и специалистов, букеты преподносили? Ты же свой тут, земляк, а раз так, то впрягайся и давай тащи с ходу.

Конечно, там, в институте, все виделось несколько иначе. В те дни, когда в нем еще происходила борьба, он настраивал себя на отъезд тем, что клял человека, агронома, специалиста сельского хозяйства Егора Трофимовича Тиганова бодраковскими же словами: «Что же ты, такой-сякой-расклятой, ошиваешься тут в городах, когда там, при нехватке кадров, без тебя хоть растянись?»

Сколько лет Бодраков стоит у руля в Ярище, сколько деревень при нем приливали к колхозу, сколько колхоз половинили, одно наглядно: Финоген Ксаныч прирос к посту, как ракита к плотине. Только и разницы, что за годы ракита сделалась дуплистее, а плотина разъезженнее: одной только техники перекаатило по ней сюда с большака на миллионы. «А чего б вы хотели, государство ее сует и сует, — жаловался хитрован Бодраков прошлым летом Егору, — а ты, каторжный, ее тут осваивай. С такими, как твой отец, чего построишь, кроме безобразия?»

Бодракова звали по-уличному, за глаза, Карасином, наверно, за то, что от всех вопросов наезжающих уполномоченных начинал ускакивать с одной откровенной ступеньки: «А ну его, колхоз этот... карасином облить да епичку подсунуть». После чего все обычно валил на нерадивость местного населения, с которым один он тут, без кадров, бьется, как рыба об лед, после чего звал сюда к себе на подмогу. Бывало, еще и по кочкам понесет, что же вы, мол, наши деревенские, олухи царя небесного, штаны там по учреждениям протираете, когда малая родина требует вас сюда, на горячую точку планеты, к земле?

Конечно, и он, Егор, уже тоже не мальчик, кое-чего в городе испытал. В своем положении — с должности лаборанта — успел приглядеться к преподавателям, к тем, кто когда-то вел его и вразумлял. Люди есть люди, попадают всякие. Иной как слоеный пирог: в мыслях содержит одно, говорит — для прикрытия — другое, втихомолку же делает третье. Вот тебе не только «проявляйся», но, выходит, и проявляй...

В институте его заявление об увольнении, в связи с отъездом в деревню, было воспринято как весьма патриотичное. Кто-то в ректорате, может, даже поставил галочку: мол, ведем работу вполне в духе времени. Ну и пусть! Егор и без них понимал, что он нужен родному колхозу, своей Тигановке больше, чем институту. Ему — своему человеку, с дипломом ученого агронома — там ско-

рее обрадуются. Особенно дома, в их деревенской семье, что они без него: и отец Трофим Петрович, и младший брат Кузька, да и древняя бабка Галя? Все ведь держалось па матери, она все — земля ей пухом — несла. И вот его святая обязанность быть там, где лежит теперь его мама.

За всем этим скрывалась остренькая такая пружинка, время от времени она вливалась в горло Егору, мешала дышать. Весной, когда у них с Милей родился второй сын Устинчик, в институте как раз сдавали жилой дом, распределяли квартиры. И хотя его очередь подошла еще в прошлый раз, опять вперед пропустили доцента — ну как же, проведен по конкурсу, человек перспективный, ехал сюда из другого города, чтобы тут развернуться...

И все же сейчас тут, в Ярище, на берегу пруда, Егор уже несколько по-иному воспринимал и прошедшее, и настоящее, в частности, слова Бодракова про колхоз, на какой тому «карасину не жалко». Но ничего, не боги горшки обжигают. Вопрос времени, и сгонится ряска с бодраковского детища — пруда, окультурятся забитые осотом поля, засыплется, наконец, плещеевская «колдыбань», сам сядет за грейдер или бульдозер.

Егор уперся ладонями позади себя в землю: что-то острое, твердое — из травы выпирала лысина камня-песчаника. «По поверью, эти камни растут и в землю, и из земли. Попробуй выверни его — тремя дизелями не стянешь, когда он растет»...

Транспорта агроному не выделили: Бодраков и сам раскатывал на грузовичке. Сказали, будешь ездить с механиком Брониславом Летягиным, даже лучше — гонять по полям на Бронькином «ирбите»: этот, дьявол, без выхлопной трубы, что тебе реактивный, рывком берет все бурчаги и кручи — Бронька может тебе подтвердить, все они бессильны перед Бронькиным «вертолетом».

Мотаться в Тигановку на ночевку — без собственной техники — нечего было и помышлять. «А чего б вы хотели? — пожал Бодраков плечами. — «Козла» опять не планируют, не дают, как позволите создавать условия главным специалистам?»

Миля пока отказалась ехать сюда в неустройство: дети, куда с таким малышом от мамы? В конце концов никуда не денется, придет, как миленькая, дай Егор тут устроится. Да что, жить, что ли, негде в Тигановке: хоть

в отцовом доме, а хоть в совсем пустой хате деда Петраки?

Пока же Бодраков вручил Егору как одинокому ключ от комнатки в колхозном клубе. Егор раскинул в ней раскладушку — у стенда, в полстены, черно-багровый атомный гриб — и стал тут кое-когда ночевать.

Как-то после трудового дня Егор сидел на порожках клуба, спать в сыроватое помещение — к атомному грибу — идти не хотелось. Вечер был тихий и ласковый, пахло глухой крапивой, акацией и в полсилы пока что полями. Всем своим агрономским нутром Егор чуял, как под самым Ярищем, за Адамовой мельницей, па «колыме», веселит глаз яровое, двинуло в рост озимое. Начало июня — канун троицы, праздника русской березки, сенокос уже на носу.

Солнце падало в липы, за старый, еще принэпманский сад. В сирени белела двухэтажная школа, когда-то ему вручали в ней путевку в жизнь — аттестат зрелости. А жизнь идет своим чередом: люди трудятся, государство шлет не только призывы. Вон за магазином выросли два кирпичных домика — первые из новой улицы, из целого поселка, который вскоре — и это Егор сам на днях видел в проекте — вырастет на пустыре... Сколько дел на завтра: доглядеть, чтобы не снесли на зеленку рожь на Акулькином поле, сушилку наладить на гранулы, пора уже приступить ко второй прополке сахарной свеклы...

Егору нравилось думать о работе, перебирать в голове дела, представлять, как он значитель, необходим для этой земли, для этих людей, что и от него немало зависит, какой к осени вымахнет хлеб и что с того получат колхозники, его земляки, вся страна в общем, в целом вся земная планета. Да ведь все до зернинки в мире должно состоять на учете и идти, куда следует. Ведь по данным ООН, сорок миллионов детей на земле мрут ежегодно от голода, а у нас тут такие земные ресурсы! Только четыре страны еще имеют возможность что-то осваивать — Австралия, Бразилия, Канада и мы. И, если подумать, ведь это за землю, в конце концов за хлеб насущный и случаются войны, государства сражаются. А война — это вывих в жизни, ее неестественное состояние; главное — просто жить, просто трудиться, в поте лица добывать честный хлеб... Нет, никогда работа, все дело его агрономское не казались ему столь значительными...

С крыши сорхнул воробей, присел, протянул к нему

клювик. «Смелый какой!» — восхитился Егор и вытряхнул ему из кармана сухие хлебные крошки.

Приковылял колченогий Бобырев — дед Колчак. Они с бабушкой жили теперь тут в Ярище, у внучки, и Колчак, подрабатывая, сторожил контору и клуб.

— Здорово, земляк, — намекнул он Егору, что оба они из Тигановки. Вдохнул, покосился на Егора: — Правда груба, да людям люба.

— Чего тебе? — не спеша, заметил Егор.

— То он сиднем сидел, — провожал Бобырь взглядом последний луч солнца за липами. — На должности этой — горя не знал. Сиди себе пнем да сиди...

— Да кто хоть?

— Кто же? Ну кто из дальних пойдет к нам сюда, на такой колхоз покусятся? Вот Бодраков и был у нас вроде как незаменимый... А теперь, чего ж, тебя вот прислали. И молодой, и с образованием, тутошний, значит, можно предвидеть, будешь стараться, радеть... Ты вот в городе жил — ну и что? Что нажил? Счастье, скажу тебе, — не о чем во сне бредишь, а на чем сидишь да едешь.

«Как все просто, — сидел по-прежнему молча Егор. — Ты тут крутишь мозгами, мир объять хочешь, а Бобырев хоп и в точку, как снайпер».

— А не дай бог свинье рога, — каплянул дед Колчак. — Лез, бывало, и я всюду, вот рога люди мне и обили. Стал комолым, смиреннее... Молодые были, помню, стал один выхваляться, а я возьми да и в лоб ему: чепуха, мол, что ты сказал, дурак этому рад. Ну и после в Карлаге жил, где когда-то, еще при царях, извели, говорят, Болотникова... Лес на всех пилил, чтобы из него что-нибудь хорошенькое тут исделали. Вот лесиной где по ноге шарахнуло. А про Крым да про Врангеля это после придумал, чтобы не докучали... Все мы смолоду круто берем. А теперь чего? Опять видел, молодой вез на машине портрет.

— Какой портрет?

— Да исторический... Ивана Грозного... в траурной рамке...

Дед еще что-то говорил, но Егор уже думал про свое. «Мы с тобой, дед, теперь, при культуре», — кивнул он на прощанье Комолу и нырнул к себе в комнатку, где до сих пор еще пахло колодезной сыростью, медью труб духового оркестра, мышцами от обоев, от барабана в углу, пробитого на похоронах колотушкой.

— Бодраков так Бодраков,— сказал он, ложась в постель и словно впервые разглядывая черновато-багровый атомный гриб на стене.

Впервые за многие дни ему представились мягкие, домашние тапочки с белой меховой оторочкой, подаренные Милей ему к дню рождения, сама Миля в ситцевом легком халатике, его первенец Ивашка и Устипчик, к которому он никак не привыкнет. И тут же вонзилась в него, пошла, поплыла по груди эта боль его — Стешка...

С первой зарплаты Егор купил отцу в сельмаге, у тетки Варвары, рубаху почти такую же — васильки по зеленому полю, что любила видеть на нем еще мама. Младшему братцу своему, Кузьке, выменял на японский фонарь у Броньки морскую фуражку с кокардой. А бабке Гале достал, по оказии, в городе коробку конфет. Когда отец обнял его и сказал, заметно волнуясь, обычное, такое простое, что говорят в подобных случаях: «Спасибо тебе, сынок»,— горло Егору стянуло жгутом, а бабка Галья тихонько заплакала: «Вот бы Устюша-то поглядела на малого...»

Наведываясь в Тигановку, Егор даже не столько отъедался у бабки Гали, сколько набирался духа для дальнейшей работы, чтобы вести свое дело не только без срывов, но и без излишней уступчивости.

Наутро председатель вызвал Егора Тиганова к себе в кабинет.

— Агроном!— сказал Бодраков поостроже, за спиной у него торчали телефоны и сейф.— Совсем ты, братец, на сахсвеклу не заглядываешь! Она тебе без интересу. Сегодня проедем по участкам, вместе посмотрим.

На спусках «рафик», этот легкий грузовичок, круто бросался в пике. Бодраков искоса наблюдал за производимым эффектом, но, упершись ногами, Егор как вклеился в сиденье, руки по армейской привычке были свободны. Слушая, как ревет мотор, он думал о председателеском «козлике», который давненько ржавеет прямо у окон правления. И этот «рафик» у Бодракова тоже уже ни на что не похож. Это его страсть — гонять по дорогам и бездорожью, в этом Бодраков мог соперничать разве только с механиком Бронькой Летягиным, тот возил полковника в армии, получал благодарности на маневрах.

Проезжали берегом, Чистюнька была внизу, вся в ра-

китах. На открытом месте речка брызнула в глаза яркой, неукротимой, поднебесной своей синевой. С утра у Бодракова было хорошее настроение: молоко на сырзаводе приняли, наконец, по первой категории.

Бодраков покосился на Егора и, схватив всего, впервые заметил, что глаза у него такие же синие, как и речка Чистюнька, по которой бегут и бегут облака, а волосы шапкой и слегка подвиваются, все какие-то солпечные, цвета пшеничного поля в урожайный, удачливый год.

«А он молод еще и красив,— потянул на себя рычаг Бодраков.— Сердцеед, должно, женщины любят таких». И глядь украдкой в боковое зеркальце: седоватые, остуженные виски, по щекам прорубило морщины — это он. А ведь когда-то, после сентябрьского Пленума, в далеком теперь уже пятьдесят третьем, в числе двадцатипяти тысячников, ехал, помнится, он на село молодым тоже и буйноволосым. Направляли его прямо с завода, из Красногорска, где и по сей день выпускают знаменитую фототехнику и куда он попал после армии. Из бригадиров на производстве — сюда обратно, на малую родину, в МТС, а потом и в колхоз председателем. Эх, да разве такой была когда-то их «Светлая жизнь»?..

— Дел до черта, а жизнь одна,— повернул Бодраков к Егору слегка возбужденное лицо.

— Ши ва пиано, ва сано,— ответил ему Егор.

— Ну и что это? — уставился в него Бодраков.

— Кто ходит медленно, ходит хорошо.

— Ну да! Нахватались вершков, а как свекла растет, за счет чего урожай получается, на фига нам это сладось... Только я люблю, чтоб агроном у меня был агрономом, а не какая-нибудь латынская цаца. Чтобы у него были мозоли на руках, как у меня, председателя...

И Бодраков бросил машину с кручи еще отчаяннее. Поля мелькали по сторонам — гречишные, ржаные, пшеничные. Егор выхватывал каждое из них: какое произвести, какое поддержать клевером, а где протравить химикатами, чтобы сразить осот, иначе тут он один и останется. «Мозоли, говоришь? — поглядывал он на Бодракова.— Мозоли у председателя должны быть в мозгах, на извилинах. Запустить так поля!..»

Свекольные плантации Бодраков проскочил в момент, Егор не успел на них даже глянуть толком. И вот они

уже возле самой Чистюньки, где она вливается в Кнубрь, на опушке липовой рощицы.

— Все, — отдуваясь, выпрыгнул Бодраков из машины. — От работы и волю дохнут, надо перекусить.

Достал из машины скатерку.

— Накрывай достархан! — приказал он Егору, а сам прошел к берегу и долго, как морж, отфыркиваясь, с удовольствием плескался в воде.

Присели, поджав по-восточному ноги.

Егор окунал зеленые перья лука-батунна в соль, со вкусом запихивал в рот, а сам все приглядывался, где это здесь, в самом устье Чистюньки, на слиянии с просторными водами Кнубря, живут чайки, та самая чайка, что пролетала той осенью мимо Тигановки.

— Вот что, Егор Трофимыч, — нарушил молчание Бодраков, повернув к Тиганову слегка зардевшееся лицо. — Давно пора, братец, нам с тобой поговорить по душам. Хотя ты и из местного аборигентства, а я родом не здешний, но ведь тоже из деревни... Я думал, ты сразу возьмешься, рванешь в организаторском плане, подсобишь председателю, а ты занялся анализами...

— Так ведь я аг-ро-ном! Среднее звено чипить надо, спрашивать и с бригадиров.

— А где их взять, где? Нет такого звена у нас в колхозе, нет. Одни мужики-выдвиженцы, а где те, что с техникумами? По городам дороги метут, за станками стоят... А я, парень, так понимаю, — Бодраков совсем приблизился к Егору, даже взял за краешек воротника. — Между нами... только. Не очень-то мы, крестьяне, в том же Алатыре нашем в авторитете. Хлеб, молоко, мясо давай — это да, это мы — герои, на переднем крае, страда, как фронт, и все прочее. Но ведь это же все слова... Когда воздуху много, ты его замечаешь? Когда хлеб пекарня исправно печет, ты его ощущаешь? Ну, а попробуй воздух тот самый перехвати. Или пекарню хоть на пару дней останови... По-за той осенью по другим областям картошка не уродилась, а у нас — море. Нам цену, не как всегда, по 12, а по 30 копеек за кило положили, и аборигены вывезли все дотла, даже себе не оставили. А в прошлом году везде с картошкой неплохо, так наши за 20 копеек уже везти не хотят: Соображаешь, что такое количество и как оно переходит в качество? Ковры шлют из города за сельхозпродукты, деньгу не жалеют...

— Так что ж, по-вашему, Финоген Ксаныч, продук-

цию нам не надо наращивать? — перебил Бодракова Егор. — Получается, не надо работать по-настоящему, делай вид, что работаешь, а конечный результат тебя не заботит, так? Чем меньше, допустим, картошки, той же гречихи и свеклы, чем она дефицитнее, тем, значит, больше ценится личный твой огород, частная корова и с тобой как с персоной обществу надо носиться? А ведь в городе люди... живые...

— Ты что — герой, да?! — поднял голову Бодраков и смотрел Егору прямо в глаза.

— Да, герой! — вспыхнул Егор. — А что?

— Да так, ничего, — отводил взгляд Бодраков и копал землю щепочкой возле ботинка. — Раньше с такими не так разговаривали, понял?

И сел, обхватив руками колени. Егор понимал, что это означало: «Экономит себя, замкнулся». Егор где-то читал, человек способен накапливать в себе электричество. Одни, словно электростанция, вырабатывают биоэнергию, другие ее поглощают. Как ударило его однажды, когда он включал телевизор, это биотоки через пальцы ушли в выключатель... Бодраков же сидел сейчас, замкнув на коленях руки, и не выпускал эти токи. А может, он их не способен производить, он лишь поглощает, вампир?

— Ну вот, герой, — вдруг промолвил Бодраков, — хотел с тобой по-крестьянски, а выходит, нельзя. Не понимаем мы что-то друг дружку.

— Дело не в поколениях, — твердо смотрел Егор в глаза Бодракову. — Дело в совести.

— Как в глаза смотреть людям будешь? — усмехнулся Бодраков. — Ну-ну, зрение не испорти.

С этого дня Бодраков старался быть при агрономе более деловым, вникающим во все дырки колхозного производства, это у него не всегда получалось, а зачастую выходила одна суета, он сам чувствовал эту свою неестественность и потому еще больше злился и на себя, и, конечно (Егор это знал), на него, Егора Тиганова. Егор упрекал во всем самого себя, значит, не сумел построить отношения с председателем. И, однако, полуоткровения Бодракова на берегу Чистюньки приостанавливали его, сдерживали шаги на сближение. Надо же, у них в институте выдвигали кандидатом в депутаты человека, совершившего открытие, а тут, в колхозе, если по Бодракову, лучший — человек, от которого ни зерна, ни мякины, лишь бы числился, делал вид, что работает. Конечно,

верхнее начальство за такие дела по головке, откровенно сказать, не погладит. Однако сама философия, глубинный смысл высказанного Бодраковым приводили Егора именно к этому...

Теперь Егор Тиганов ожидал от председателя действий. Утренний наряд проводили, как обычно, на механизаторском дворе, в мехмастерских, в нормировочной. Егор уже не раз говорил Бодракову почти чеховской фразой, что как театр начинается с вешалки, так и зачин трудового дня, весь настрой механизаторов начинается с нормировочной. А тут стены ободраны, вытерты до блеска боками и спинами, ни скамейки, ни стула, в землю, жирно политую соляжкой, втоптана подсолнечная шелуха, и все втаптывается, вколачивается сапогами, скоро уровень пола достигнет, пожалуй, окна. «Когда достигнет, тогда и примем меры», — бросил на ходу Бодраков и стал зачитывать, кому куда идти или ехать и что где кому делать сегодня.

— Да, моментик! — сделал знак председатель всем задержаться. — Тут у меня один такой щекотливый вопрос. — И поднял над головой пустую сигаретную пачку «Дымок». Сердце у Егора затрепетало. — Вот, нашел на берегу нашего пруда. Стихи на пачечке, читаю:

А что в потомках отразится?
Что у веков всегда в цене?
Что и куется, и калится —
Дух человеческий во мне.

— Чье же это? — раздались голоса. — Небось, школьники, эти озорники сочинили. Бредень намедни у плотины таскали.

— Это, верно, Природин удумал, — поддел голосок из-за шкафа. — Профоргом стал, стишками нас развлекает.

И все разом повернулись к Природину — добродушному здоровяку-механизатору, вот уже какой год держащему первое место в колхозе.

— Да что вы! — как коршун, взвился ввысь Бодраков. — Вот чей это почерк, видали? Нашего агронома.

II.

Бронька Летягин оказался ушлым и дошлым. Молодой еще, тремя-четырьмя годами старше Егора, а порой обнаруживал такое знание механики человеческих взаимоотношений, что Егор поначалу просто диву давался. Сам

Бодраков держался с ним будто бы строго, а скорее всего на почтительном расстоянии.

— Броня крепка, и стежки наши склизки, Карасин без меня не может, — уверял Егора Бронька Летягин в одной из их совместных поездок по полям на его «вертолете». — Я туда сунусь, сюда сунусь — туда барана, оттуда какую-нибудь рессору или коленчатый вал. Карасин машиненку гонять любит, рессоры вдребезги, а я доставай...

Бронька открыл Егору секрет, почему Карасин ездит не на «козле», а на «рафике» с кузовом — грузовичке. «Я бы этого «козла» на ноги уж давно бы поставил, — откровенничал Бронька. — Уж в Алатыре человека нашел, загодя крестовину припас, а Карасин мне: «Не на-а-до». И гонять на «рафике» будет, вот увидишь, до осени, пока травки негде будет сшибить»... — «А при чем тут трава?» — заметил Егор. — «Как при чем? В траве все и дело. Что на «козле» привезешь? Ноль целых и ноль десятых. А на грузовичке? Накосил — в кузов и айдайте домой, броня крепка, своим нутриям».

Вскоре Егор стал ощущать даже временное отсутствие Броньки, вроде без него, щербатого, и сделать, как следует, ничего невозможно, с ним оно лучше выходит, надежнее.

К уборочной готовились еще с середины сенокоса, а она подкралась, как всегда, незаметно. Сначала — сообщали по радио — уборка хлеба началась где-то на юге области, а вот уже и они, алатырские, стали класть в валки ячмень, жито, а потом пошло все вподряд и прямым комбайнированием.

Бронька подкатил на своем «ирбите» под окна Егоровой комнатенки еще до восхода солнца.

— Собирайсь! Все объясню на «командном пункте». «Командным пунктом» условно именовали высотку перед Ярищем, за орешником, где на макушке торчала триангуляционная вышка. По лысине, не зараставшей травой, догнивали пни, в валунах посвистывал ветер да какая-нибудь крупная, вещая птица, вроде коршуна или ворона, любила присесть на зализанные дождями и солнцем округлости камня, поторкать скрипучим голосом на всю округу, расстилавшуюся перед ее вечным взором, погреть возле теплого от солнышка валуна свои ветхие, древние косточки. И вызвать в каждом, как видения, спешащие к полю брани полки Дмитрия Донского, скачущих

трактором всадников Ивана Грозного с метлой у седла и собакой...

Облюбовали это местечко и Егор с Бронькой. Вернее, Бронька открыл Тиганову всю его полезность и необходимость. Бывало, Егор еще пацаном бегал через «вышку» из своей деревни в Ярищенскую десятилетку и всегда замедлял здесь ход, чтобы оглядеться: поля до самого Кнубря, орешник и перелески, стежки и проселки — все, как на карте. «Гляжу отсюда, как артиллерийский наблюдатель, — объяснял Бронька Егору, — и все видать, куда какая — броня крепка — проскочила машина, где какой трактор работает... Зачем мне за всеми гоняться? Я р-раз к ним отсюда: почему стоим, куда путь держим?»

Уже на «вышке» Бронька изложил Тиганову план сегодняшних действий.

— Есть сигналы, — сузил он остренько глазки. — Зерно тащить, сволочи, начали прямо из-под комбайнов. Будем принимать меры.

Все было, как на ладони. Комбайны только разворачивались на Окаемовом поле, у Адамовой мельницы. И вот, едва спала роса, они пошли вперед. Жуками поползли машины — от комбайна к комбайну, от бункера к мехтоку, в Ярище, от мехтока опять-таки к бункеру. И шея, ухо, щека Егора начинали млеть от тлеющего тепла валуна, тепло смаривало Егора, навешивало на веки недолимую тягость.

— Гляди! — растолкал его Бронька. — Броня крепка... Ну, голубчики, я так и знал!

Егор не верил своим глазам: комбайн Семена Прокошина — вообще-то мужика нешкодливого — на малом ходу, воровато, сползал с края поля к проселку, ведущему на Завалюшино. Вернее, к осколку от бывшего Завалюшино — трем-четырем дворам в орешниковой ложине.

— Ну, куркули! Ну, смиряга Прокоша! — вспыхнул Бронька Летягин. — Как пристроились Змеи Горынычи, а, Трофимыч?

Обогнув овраг, прямо по целиковому дугу Бронькин «вертолет» вымахнул к крайней завалюшинской хате.

— Ну, как? — спросил Бронька, слезая с мотоцикла перед удивленным Прокошиным.

— Чего это вы, к-как ведьмаки, по оврагам м-мотаетесь? — не сразу пришел в себя комбайнер.

Из крайней, вдовьей хатенки подошла ее хозяйка Щекотихина Ольга.

— Вот агроном вас проверить приехал,— кивнул Бронька на Егора Тиганова.— Захвачены, броня крепка, на месте преступления.

— Какого преступления? — приходил в себя Прокопий. Сынок его, Кешка, семиклассник, жался к бабкиному боку.

— Зерно воруете,— выпалил Бронька и наклонился к Егору: — Вон и факт налицо: в бочке теткиной зерно из комбайна... Составляй, агроном, протокол. Как представитель закона, в данном смысле — милиции...

— Какое зерно? — подняла голову Щекотихина Ольга.— В кадушке-то? Курам на смех, два килограмма? Да что это я колоски за огородами собирала... А Семен перехватить горяченького заехал. Темно еще выехал из дому, вон Кешка соврать не даст, они мне сватья, с родства вроде...

— Оформляй, ты же главный специалист,— подталкивал Тиганова Бронька Летягин.— Дай потачку, весь колхоз разволокут.

— Конечно, и мышь в свою норку тащит корку! — выкрикнула Щекотихина Ольга.— Но тут я чиста! Вы Семена Прокопина куда зря не тяните, ты на себя, Бронислав Демидыч, оглядись, сколько в люльке мотоциклетной в свой сарай с поля чего перетащил. А из меня громотвод не делай... Да где же вы, супостатики, были, когда мы, бабы, после войны семена на своих плечушках со станции носили, на коровушках земельку паха-а-ли-и... Эх ты, Егор Трофимыч, Егор Трофимыч, к какому змею — Броньке Летягину, председательскому подлокотнику, в лапы попал... Рано пташечка запела, кабы кошечка не съела. Говорят, не стучись в чужие ворота, будут стучать и в твои. Прямо поедом съели бы человека. Конечно, вдову всякий может обидеть, у вдовы нет заступы. А ты, Бронька, давно на меня глаз косишь, что дочка моя за тебя не вышла, а уехала в город.

Незаметно Егор сунул блокнотик в карман.

— Ты нам не угрожай,— сбавлял Бронька тон, понимая, что дал маху: зерно — в бункере, не разгружено, а кучечка подле сарая, может, и вправду притащена в фартуке.— А Нинка твоя — тьфу, косяглаза и кривобока! — пнул ногой Бронька кадушку.— Пусть там в городе с этим разведенцем и мыкается, а мне, броня крепка, первый сорт нужен, элита, а не всякая сурож.

— «Кривобока», «сурож»! Ах ты, паразит! — летели комья вслед Бронькиному «вертолету».

После того у Егора отпало всякое настроение ездить с Бронькой вдвоем. Случай в Завалюшино просто так для него не прошел. Он видел, как пошли по колхозу суды и пересуды — на току, возле магазина, в конторе. Схлестнулись две стороны: одни осуждали «грызунов», которые ни с чем не расстанутся, все тянут в норку, хотя известное дело, что нажито махом — кончится прахом. Другие — находились и такие, — что упрекали Егора с Бронькой: больно много им надо, больше, чем председателю.

И Егор почуял в людях к себе охлаждение: на ток придет — все стихнут, молчат, ждут, что он скажет; к механизаторам в поле подъедет — стоят, переминаются, не клеится разговор; в магазине, и там при его появлении всякий гвалт оборвется, тишина возникнет, аж в ушах звенит.

Все это глубоко уязвляло Егора. Днем еще ничего, за работой некогда о себе и подумать, мотаешься то на ток, то с тока к комбайнам, то в Алатырь на хлебоприемный, то с хлебоприемного в сельхозуправление: всюду данные давай, заявки, цифирь. Головы не хватает — выручает тот самый блокнотик, который он тогда позорно выставил перед Щекотихиной Ольгой — бывшей дояркой, находящейся на заслуженном отдыхе, за свою некороткую жизнь ничем себя не запятнавшей. Труднее всего было ночами в своей комнатушке, куда Егор являлся, чтобы переспать. Когда сходило дневное напряжение, опять подступала Щекотихина Ольга. За тем ли ехал сюда, чтобы так вот влипнуть дурачки? Стыд какой! Этак по уши аастрянешь в мякине, кто только будет вытаскивать?

Встретил Егор на дороге Природина, отцова товарища.

— На ретивую лошадь не кнут, — заметил тот вроде бы вскользь, — а вожжи надо, чтоб не кривила дорогу.

— Что это ты? — не выдержал Егор. — Про какую лошадь?

— Да все про то же... Про дружка твоего, Летягина Броньку. Что в народе болтают, слышал? Это ему Бодрakov поручил словить расхитителя и сделать твоими руками.

Бодрakov жил в большом стандартном доме финского типа, в котором свободно мог разместиться детсад. По-

строй он этот дом собственными руками, получи его от отца — Егор ничего не имел бы против. Не выводило же его из себя Бронькино жильё — пятистенник на две половины, дом механизатора Природина Евсея Нилыча, глядящий свежей сосновой бревниной. Да и другие домища, вставшие по усадьбам, в последние годы взамен хилых, порой под соломой хатенок. Наоборот, это ему даже нравилось, этим он, бывало, гордился там, в городе.

И, однако, он, Тиганов Егор, продолжал жить в комнатухе, а Бодраков — в своем доме, не подозревая, что, собственно говоря, люди страдают больше всего от сравнения. Француз, видя едущего на машине, обуреваем желанием сесть рядом с владельцем собственности, англичанин — стать самому собственником, заполучить и себе такое же средство передвижения. Егор не был нигде пока дальше Москвы и потому имел свое, вполне подходящее его положению желание: до каких пор он будет жить тут в комнатухе, куда из города к нему не может приехать семья? Какая жизнь: супцу не всегда похлебаешь, по окнам консервные банки. И забываешь поневоле, как стучит с утра пятками о пол сынишка...

После случая с Щекотихиной Ольгой Егор стал осторожнее с Бронькой. Прежде отношения у них были откровеннее, проще. И хотя дела есть дела и они опять начали вместе мотаться по полям и бригадам на Бронькином «вертолете», охлаждение не проходило. С утра, встретив отцов комбайн на дороге, Егор при Броньке отчитал Тиганова старшего.

— Ах, ты про это, сынок? — рассмеялся хрипло Трофим. — А я уже и позабыл. Да что там, привез бабке Гале зерна курам на смех.

— А не бери! — сказал, как отрубил, Егор. — Скоро будут выдавать комбикорм — сам свою долю доставлю вам с бабкой. А меня не позорь.

Стремясь вернуть к себе расположение Егора, Бронька завез его как-то во двор, к своим нутриям, которые были у него не хуже, чем у Бодракова. «Ишь, как разъелись, коровы». С одного только взгляда Тиганова понял Бронька, что тот догадался, откуда они, от кого. Тут и пришло Егору на ум, что Летягин тоже непрочь настроить кое-кого из ярищенцев против него, Егора.

Ну, кто он для них был всегда — мальчишка, потом молодой человек, земляк просто, а теперь агроном, организатор дела, кормилец, от которого в какой-то мере тоже

зависят их заработки. Вот об этом он и скажет сегодня Летягину. Пусть не играет с ним, словно с карпом прудовым: дает заглотать крючок, чтобы поведя на ослабленной леске, выбрать нужный момент...

И Бронька, поняв его без слов, уже не лез в душу Егору. Зорко следил Егор за ним и Бодраковым. Привыкнув загребать жар чужими руками, председатель в соприкосновении с агрономом пока не вступал, если не считать коротких встреч по работе — на наряде, где-нибудь в весовой, возле конторы правления, в кабинете, когда подписывал Егору какие-либо документы. Про жилье Егор не заикался, надеясь, что Бодраков и сам вот-вот скажет ему что-либо утешительное: шефы как раз достраивали домик на новой улице. Но Бодраков был нем, словно тот самый карп, но уже на берегу и с выпученными глазами.

Уборка так закрутила Егора, что он уже не помнил, когда ночевал в Тигановке. Вот и сегодня дело к вечеру, он шел самым же пробитой стежкой, через колхозный сад в клуб к себе ночевать. И тут перед ним словно из-под земли вырос Бронька Летягин с травинкой в зубах, давно поджидал Егора на бугорочке.

— Дело есть, Трофимыч,— огляделся Бронька опасно.

— Чего тебе? — встретил Егор Бронислава без особой радости.

— Дело-то какое — просто жуть! — схватил Бронька его за рукав и стал отводить в сторону: — Просто чушь, не поверишь. Я уж терпел-терпел, все хотел поделиться, а ты — фьрь, как гусак. А терпеть уж нельзя, все накроется...

— Что накроется, чем поделиться? В самом деле какая-то чушь!

— Золотишко надыбал, клад в земле,— задышал ему на ухо Бронька.

— К-какое з-золотишко? — отодвинулся Тиганов от Броньки.

Дверь скрипнула, и у черного входа в клуб вырос Природин — махина, один такой в колхозе, не обозначаешь.

— А я к тебе, Трофимыч,— улыбнулся он, шагнув с порожка к нему навстречу.— Дело есть, посоветоваться.

— Ну, я пошел,— заторопился Летягин.— До завтра. Утром как штык, все расскажу как на духу.

Природин вошел за ним, и Егор ощутил от его шиджака, от штанов и фуражки застарелый, привычный, словно от отца, запах соларки.

— Чего тебе, Евсей Нилыч? — улыбнулся Тиганов механизатору.

— Да вот, — мял тетрадку в руках Природин. — К тебе, Трофимыч, пришел. Собрание велено, доклад надо...

— Ну давай, — взял Егор в руки тетрадку.

До полночи, лежа в постели, размышлял после Егор над Бронькиными словами. И приснились ему ярищенский пруд, бодраковская удочка, деревянный щит со словами «Зарыблено всякой мелочью» и он сам на крючке у Бодракова с выпученными глазами. А потом ему привиделся клад — червоное золото, под этим вот чернобагровым атомным взрывом на стенке вместо ковра. «Не дай бог прохиндей этот, Бронька, один его выхватит, — забеспокоился Егор. — Вот дал бог денежку, а черт — дырочку, и пошла божья денежка в чертову дырочку... А сдашь тот клад государству — получишь бо-ольшущие тыщи, а тыщи положишь в госбанк на колхозный счет, чтобы в карман государству «Светлой жизни» больше не заглядывать».

И так стало стыдно во сне Егору Тиганову за колхоз, на какой «карасину не жалко», что он даже проснулся и дальше уже не засыпал.

Под окном взревел Бронькин «ирбит». Егор слушал приятеля свысока. Потом перестал усмехаться, просто слушал, все-таки интересно.

— Теща-то моя, Нинкина мать, — рассказывал тот, — живет, да ты знаешь, в поселке на Адамовой мельнице. Броня крепка, прибегает анадьсь к Нинке: человек какой-то приезжал туда к ним, жил с неделю. С удочкой для отвода глаз, а сам все больше по развалинам, по Адамовой мельнице лазал. А как стал говорить, что это, говорит, мать, бесценность, народная архитектура, так бабку нашу как прострелило: клад! Наконец кто-то из мельникова рода, а может, и сам внук мельника, Кирилл Кириллыча, пожаловал за дедовым золотышком. Давно ждали, не может же золото оставаться навечно в земле...

— Ну, и дальше что, Бронислав? — засмеялся Егор.

— Думаешь, я такой дурак, — среагировал по-своему Бронька, — этой старой карге просто так взять и поверить? Смотался туда, иду по стопам его — следы на крапиве... стук-стук ломиком, стук-стук... В одном месте гу-

дят, пустота, должно быть, подвал, ей-богу, гудит, уверяю!.. Бабка-то, черт, дура душой, а углядела, однако: розовый куст, говорит, растет в одном месте, так вот, как зацветет — шапки цветочные не совсем розовые, а вроде как с голубинкой. Это, говорит, под корнями железяки какие-то, может, медь, а может, и золото... Человек этот в субботу приезжает, а в поселке собираются его опередить, намечают на пятницу. Ну, а мы давай сегодня, завтра, послезавтра — в четверг... Эх, броня крепка, и стежки наши склизки...

Егор обозвал Броньку несусветным треплом, а сам после сидел на скамейке с дедом Колчаком, беседовал, да нет-нет и усмехался, крутил ни с того ни с сего головой. В людской молве всегда что-то есть.

И клад решили брать не ночью, с фонарями, а днем. Едва забрезжило, Бронькин «вертолет» снова захряхтел под окном Егоровой комнаты. А через полчаса они были уже на Адамовой мельнице, перед статным, пятиконным домом Бронькиной тещи.

Тут же грянула цепью собака, от усердия захлебнулась.

— У, куркули, живут тут себе на отшибе, — сказал Бронька, ценяще оглядывая всю, вместе с садом, усадьбу, и, пока шли к крыльцу, успел шепнуть Егору: — Махровая теща. Вредная, как в анекдотах.

И тут же Бронькина теща выросла на пороге — тощая, еще не старая баба — Рогалиха, в засаленном на животе, строченом ватнике-безрукавке, в калошах на босу ногу.

— Чего это ты? — приглядывалась она к Броньке.

— Развели псарню! — бросил Бронька плащишко свой наземь. — Нинка послала, дай лопату, столб у тебя покilledся в конце огорода, поправлю.

— Столб завалился? Поправишь? — смотрела на Броньку подозрительно Рогалиха. — А это кто ж с тобой, Трошкин сынок?

И тут из-под сарая вылезла кошка, мурлыча, несла мышонка в зубах.

— Киса, кисонька, — позвал ее притворно ласковым голосом Бронька. — У, стерва! — поддел ее ногой Бронька, как только теща скрылась в сарае.

— Какой-то черт крышу в подвале у Адама ночью

той провалил,— вышла старая, неся сразу две лопаты.— А вчерась, это, человек приезжал из Алатыря, смотрел и ругался. Говорит, дураки, до чего довели, ценное это дело, старина, старинная кладка. Адам на какой-то крепости мельницу ставил.

— А кто ж такой человек-то? — замер Бронька.— Кирилл Кириллыч?

— Черт рогатый, все зубы скалишь! Ну, этот, какого, архи... архи... ну, как архирей из района.

— Архире-ей??

— Ну, да, из Алатыря... Верка, соседка наша, говорит, это правда, алатырский.

— По церквам, значит?

— По каким по церквам? По домам, говорит.

— По домам? Ах, этот... архитектор,— расхохотался Бронька.— Так, да?

— Ты, идол, крышу подвала, небось, проломил,— подбиралась к своей догадке старуха.— Вон и глина адамовская еще на сапогах. Все чего-то ищут, ищут, захоронки чужие...

Бронька схватил лопату и, не устаивая тещу ответом, кинулся со двора. На самой мельнице, у подвала, Егора чуть не свалило от смеха: обыкновенный подвал, козы лазали туда каждый день. Ну, и язык у Бронькиной тещи, ну, и выдумщица! Бедный архитектор из районного центра! Наверняка это он вчера обивал штукатурку на стенках.

— А если и в самом деле старина, какой-нибудь пятнадцатый век? — переждал Егор Бронькин смех.

— Да брось ты,— отмахнулся тот от него, как от мухи.— Вот что меня интересуется, так это розовый куст у подвала. По правде, почему розы, гляди, цветут с голубинкой?

Бронька взялся копать, под розами — с четвертого или пятого раза лопата звякнула о металл. Копнули вдвоем осторожнее. Разгребли влажную землю и замерли: из недр глядел на них изъеденный ржой, прозеленевший длинный предмет.

— Снаряды! — ахнули кладоискатели.

Через полчаса телефонный звонок раздастся в военкомате, из военкомата вызовут команду саперов, и смерть, терпеливо лежащая годы, разлетится в куски в глубоком овраге и уже никого не убьет.

Бодраков вызвал Егора и сообщил ему официально, что собирает правление, и вопрос его, агронома, по итогам уборочной, а также вспашке зяби. Мог бы собрать и попозже, когда уборка и вспашка будут завершены окончательно, а собирает сейчас, без промедления. И, теряясь в догадках, Егор готовил себя ко всему, но ведь планы выполняются, люди работают, значит, и он, агроном, недаром ест хлеб.

Текущие цифры, чего давно не было, выглядели утешительно. Однако и тут, говоря о тех или иных «упущениях, до конца не использованных резервах и вообще отдельных моментах расхлябанности», Бодраков обвинил «ответственного за данный вопрос главного агронома колхоза Тиганова Егора Трофимовича». И выставил неоспоримые факты: случай с Щекотихиной Ольгой и комбайнером Прокониным, от которого, не вмешайся председатель, могли быть серьезные последствия в отношении механизаторов к ходу уборки. И совсем свежее — кладовище на Адамовой мельнице вместе с Бронькой Лягиным, что наводит на грустную мысль вообще о мальчишестве главного специалиста, подводит к такой идее: а можно ли, в конечном счете, кость на кость, одну кость долой, две кости положим — помножим и сбросим, можно ли доверять Тиганову Егору какое-нибудь серьезное дело, если он до сих пор клады ищет, которые, как известно, могут быть только в книжках и то написанных для среднего школьного возраста?

Члены правления — народ башковитый, бывалый — сидели, воды в рот набрав, лишь головами кивали, то поддерживая, то осуждая. Правда, кто-то высказался вполголоса, что все это, мол, уже надоело и что, если такие фактики вышвырнуть в пруд, наверняка передохнут мальки, закупленные председателем для зарыбления этого самого пруда. И только Природин — молодец, прямой мужик — дал твердый отпор:

— А с чего вы это, товарищ председатель, заострили про Адамову мельницу и какие-то клады? Клады у нас лежат всюду: второй год крыша раскрыта на складе, добро гниет всякое, наше, колхозное — это раз. Еще с той осени суперфосфат на дороге у Акулькиного поля валяется, что с ним сделалось, один бог с черепахой знает, — это два. И, заметьте, все это, когда агроном у нас еще не работал... И потом, дорогие товарищи, агроном-то наш еще молодой. Так не палки в колеса ему надо ставить,

чтобы воз стал на месте, а подталкивать, помогать возок наш колхозный тянуть, вот это, скажу вам, политика и мирного сосуществования, и нашего всеобщего дела в защиту мира.

После этого все готовы были согласиться с Природиным, что агроном, как и все, поработал в этом сезоне неплохо, а все поработали в этом сезоне так же неплохо, как и агроном. Но Бодраков настоял на своем, поставив вопрос на голосование. И сам поднял руку первым, а следом и все остальные, кроме, конечно, Природина. Так в протокол и записали: «Осудить зловредную практику главного агронома, сосредоточиться Е. Т. Тиганову на своем производственном участке». На это Егор хлопнул дверью:

— Это мы еще поглядим, кто для колхоза зловреднее, я или Бодраков!

Уже на улице Природин поймал Егора Тиганова за пиджак:

— Ты, Трофимыч, головы не теряй, это тебе не город. Привыкай помаленьку. На селе так: или грудь в крестах, или голова в кустах... А на людей не держи обиды, им разобраться надо, а на это время требуется.

— Хороша привычка,— не сбавляя шагу, уходил Егор от Природина.

...Проснулся он часа через два в своей комнатухе. Лежал под атомным грибом на стенке и думал о Щекотихиной Ольге, о жизни и о себе. Старался, выкладывался на первой своей уборочной, а что получилось?

Егор встал и прошлепал к ведру, пил с прибулькиванием тепловатую, безвкусную воду. Поискал на полу ботинки, не найдя их, так босиком и вышел наружу.

Присел на порожки, как был, в одной майке, ловил плечами свежие токи с пруда и слушал, как где-то ухал совсем близко сыч, и голос его ударялся о макушки деревьев, а с них переходил за пруд, туда к речке, на тот, залесенный чистюнькинский берег и там стекал оборотами эха вниз по долине и пропадал. И было так тихо, так слышимо: в ветках соседнего тополя ткали пауки паутину, и жук-короед точил крыльцо на Адамовой мельнице, у Бронькиной тещи.

Едва намекался рассвет. Из-за Адамовой мельницы высветлялась на небе полоска. От нее шла та чистота, та необъяснимая легкость воздуха, которая, дрожа на земле, деревьях, домах и дорогах, заставляет их жить

этой легкостью, предошущением рассвета, движением тени к свету, а потом, наливаясь силой и розовея, завершать все это восходом, гимном прекрасному солнцу.

Егор старался настроиться на это состояние, он был человек деревенский, частенько вставал рано, до света, особо когда дома собирались куда-нибудь далеко — на сенокос, в луга, на рыбалку, к устью речки Чистюньки. «А жить все-таки хорошо! — вбирал Егор до отказа в себя терпкий липовый воздух. — И Бодраков, конечно, тут ни при чем».

Появился откуда-то дед Колчак, он же Бобырь в Тигановке, тут, в Ярище, — Комолый.

— Ты чего, дед, не спишь? — удивился Егор.

— А я, товарищ агроном, на работе, спать нельзя, не положено.

Так хотелось Егору поделиться с человеком, разом выплеснуть все: и про уборочную, — столько ухлопано сил, и про это вот заседание, и про семью, про мальчишек, про все свои чувства...

— Нет плохой земли, дедушка, — вздохнул Егор.

И уже за порогом что-то большее, чем шилом, пронзило его пониже груди, он покачнулся, рукой удержался за стенку. Так по стеночке и добрался к себе до постели, под этот свой черно-багровый атомный гриб.

III.

К тому времени, как идти на работу, Егор отдышался. «Это звоночек», — невесело думалось о происшедшем.

В правлении он появился первым. Прошагал по пустому, гулкому коридору, вошел в свой кабинет. С тяжестью в желудке, весь какой-то тревожный, присел к столу и погрузился в бумажки, которых у него изрядно поднакопилось — с резолюциями Бодракова и без резолюций, с «титулами» и печатями областных и районных учреждений, предприятий, организаций всех мастей и подчиненностей. Они взывали к нему, просили, приказывали, угрожали всевозможными санкциями, карами вплоть до штрафов необъятных размеров. Приводя их в порядок, Егор Тиганов держал перед собой свои собственные слова, сказанные на рассвете деду Комолу, они его согревали: «Нет плохой земли, дорогие товарищи, конечно же, нет».

Одна из бумажек обратила на себя внимание Егора:

райсельхозуправление предписывало организовать в колхозе курсы механизаторского всеобуча, чтобы в случае нужды каждого можно было посадить на трактор или комбайн. «Профессионалы», чего уж, и без того знали технику назубок, «любителей» тоже всех, кого можно, переучили, а вот технику ломают, к земельке относятся порой с прокладцей — это точно. Вот для чего нужны курсы.

Тиганов решил, не откладывая, провести первое занятие уже в конце недели. Предстояло выступить перед земляками, бывалыми механизаторами, в роли наставника и педагога. Это его отвлекало от боли физической и боли душевной, которые то вместе, то попеременно не давали ему житья. Егора тянуло к Природину — здоровому, крепкому человеку. Возле него он чувствовал себя, как под крышей, когда ждешь дождя, а с неба в любой момент может просыпаться все, что угодно, кроме этого самого дождя. Обидно было, неужели он такой неумека?..

Природина Егор встретил на Акулькином поле. В «язычке», заходящем в дубняк, тот стаскивал волокушей солому, вывершал уже третий скирд.

— Ай заболел, воитель, тихий какой-то, полеглый? — вразвалочку подходил он к Егору, от него веяло чем-то солнечным, теплым, вкусным — пшеницей и огурцами. — Хотя, правда, только пустой колос кверху торчит.

— К субботе готовлюсь, Евсей Нилыч. Все же первое занятие. Да и Бодраков должен заявиться, не преминет.

— Забегу вечером, вместе поморокуем, — подал руку ему, прощаясь, Природин. — Ум хорошо, два лучше, а третий хоть брось.

Егор глядел вслед Природину — открытый, даже доверчивый человек. Частенько, бывало, они с отцом Егора пахали двумя тракторами поле. Отец Егора, с ним это случалось, возьмет и раздавит бутылку после обеда и спать под кусты, а Природин везет — за себя, за напарника. И ни гу-гу, што-крыто, а две нормы есть. За то и отец его любил, готов был идти за ним хоть куда. Сам Евсей Нилыч, человек трезвого склада, выпивок не терпел, но по причине своей большой физической мощи и природного добродушия жалел товарищей, не слезающих со своих дизелей порой день, порой ночь: не у каждого же такая сила и такое терпение, как у него.

В субботу к вечеру почти все механизаторы потяну-

лись к правлению. Пришли даже два учителя из Ярищенской школы — математик и по труду, под конец явился и Бодраков. Красный уголок в правлении оказался тесноват, перебрались, тут поблизости, в клуб.

Егор рассказал собравшимся, чему учили его в институте, о значении земли для народов; между прочим, земные пространства всегда влияли на мир и войну, историю и современность. Фашисты, как только ворвались на Украину; сразу погнали к себе в Германию эшелонами украинский чернозем. А во Франции, под Парижем, как общемировой эталон хранится сейчас кубометр чернозема из-под Воронежа.

— А у нас тут в области, — агроном старался говорить понятнее, проще, — была экспедиция из Московского университета по оценке земель. За все сто процентов приняли соседний, Вопнянский район, ну, а мы где-то восемьдесят с хвостиком. И это в среднем по области хорошо... А вот используем мы свои проценты пока не на полную мощность, есть большие резервы, и соседние хозяйства в соседних районах, с куда меньшим процентом, дают нам лучший пример... А теперь возьмем нашу «Светлую жизнь». Какова культура земледелия в колхозе — говорить не будем, все знаем отлично. Лучше скажем, какие мы видим резервы. А резервы эти, культура земледелия, как ни странно покажется вам, дорогие товарищи, начинаются с нас самих, с нашей общей культуры. Каким-таким духом живем, что читаем и как питаемся — все в одно унирается: в отношении к делу, а главное дело у нас — земля. — Егор обвел всех глазами — кое-кто маленько придремывал — и решил оживить речь, говорить все как есть, начистоту. — Вон возле кооперации, где тетка моя родная работает, Варвара Петровна, крапива объедена — пошла на закуску, к лопухам уже подбираются...

— Что-то гребет не туда агроном, — зашевелились на стульях. — Бодраков пушай указывает, а ты сам же сказал, твое дело — земля.

— Ладно, правда глаза колет, — усмехнулся Егор. — А ведь после крапивы иные на трактор садятся... отдельные, не говорю про всех... сядут и давай землю кожить. Ну, про это хватит. А вот тоже главное. В поселке у Адамовой мельницы...

— Это где клад искали?

— ...у Адамовой мельницы, — продолжал Тиганов

невозмутимо, — живет молодая семья. Да вы знаете кто... Ну, да, Бронькиной тещи сын, Бронькин деверь... Дом недавно отгрохали — больше автовокзала в Алатыре. Это хорошо, молодцы, пусть живут. Но приехала к ним, представьте себе, этим летом семья одна из Москвы воздухом подышать, нашими красотами полюбоваться, пожили с неделю и деру: ваши мухи, говорят, детей наших съели. Коровник-то возле парадных дверей. Прижились, сами этого не замечают, а городские заметили и не стали терпеть. Вот тебе и вопрос: муха!.. Казалось бы, какое она имеет отношение к земле? А прямое. Сегодня ты не заметил муху в хате, завтра — в борще, а послезавтра — в ведерке с соляжкой, а она тебе в нужный момент клапан и перекроет... Это к слову про муху-то. «Мух» этих для примера подыскать можно и не одну. Дело, как вы сами понимаете, в сути: в нашей культуре. Ведь в расчете на это к новому трактору «К-700» на кабинке блямбу такую навесили — принудительную вентиляцию. Сиди себе в кабине и обвевайся во время пахоты в самое пекло кондиционированным воздухом. А мы эту вентиляцию — к чертовой матери, стекла — к чертовой матери, а потом пыли наглотаемся, ходим, как очумелые, и чтобы встряхнуться, идем водку жрать к магазину, к моей тетке Варваре, а крапивой закусывать...

— У-у-у, — загудели механизаторы. Раздались выкрики: «Учить будет нас, говорить говори, да не заговаривайся, молод еще указывать».

Бодраков сидел довольный, энергично качал головой.

— Трофимыч! — поднялся Природин и обернулся ко всем: — Мы вот тут сидим и ждем: когда ж ты нам бумажки начнешь зачитывать: решения, постановления, приказания и указания из райсельхозуправления?

— Да зачем вам эти бумажки?

— Как зачем? Чтобы в курсе... Какая бумажка что меняет, а какая ее отменяет. То мы поймы речные распахивали, люцерной там или эспарцетом засевали, а теперь к естественным угодьям возвращаемся. То специализацию в хозяйстве вводили, птичники закрывали, а то опять в этих самых птичниках кур на нашест сажаем. С этого райсельхозуправления тоже надо спросить, чего они там думают своей головой? Уж и не знаешь, с какого ветра глотать, на каждый чих не наздравствуешься... Я так понимаю: я на этой земле век живу,

век работаю и понял ее главный смысл: земля — дело не сиюминутное, сегодня, мол, так, а завтра не понравилось, по-другому надо. Земля — дело жизненное, долговременное, с ней вот так, как с финтифлюшкой, нельзя. То мы клочок везде искали, придорожье опахивали, в оборот вводили, а то целое поле бросаем, как вон на Косом бугре, у устья Чистюньки, по этот бок речки... Как тут быть, спрашивается, нам с такой-то культурой? Вот какой вырисовывается вопрос.

И загудели, загамели механизаторы, конторские, учителя. Природин для приличия постоял, потоптался на месте, присел незаметно, опять поднялся.

— И вот еще что, — заключил он. — Если бы мы тут все ихнее, из райсельхозуправления, выполняли, что они там в Алатыре нам надумают, давно бы, наверно, пошли уже по миру. А мы и себя кормим, и этих из райсельхозуправления, а если в масштабе, то и страну... Правильно говорил агроном про культуру: слову — вера, хлебу — мера, а земле — учет.

Под конец Егор хотел было рассказать о планах дальнейшей работы, о том, что надо тут все оживлять, перестраивать, а начинать все с того же: пригласить из Алатыря архитектора — пускай расскажет о принципах красоты и целесообразности индивидуальной застройки; челом бить работникам культуры, ученым с такой просьбой — разработать тематику по эстетике современного быта, крестьянского труда, по питанию. Но Бодраков буркнул под нос себе что-то, махнул рукой, и все опять загалдели, захлопали стульями.

Егор столкнулся взглядом с Бодраковым: в нем были усмешка и торжество. Он выбежал на улицу и тут, за клубной колонной, увидел отца, и сердце его сжалось.

— Отец! — окликнул его Егор, и они какое-то время стояли, не зная, с чего начать. — Ну, как вы там? — спросил сын наконец.

— А ничего, живем помаленьку, — спокойно, даже равнодушно как-то ответил отец.

Егор видел: он стал совсем не таким, виски побелели.

— А бабка Галя, а Кузька?

— И они ничего, а что им?

Опять постояли, разглядывая друг друга. Народ выходил из двери, обтекал их с обеих сторон.

— С Милей-то как у вас, не был у них на этой неделе? — спросил отец сиповато.

— Скоро всех перетащу, — сказал Егор твердо. — К тебе домой или в хату к деду Петраке.

— По Ивашке с Устинчиком соскучились, славные такие парнишечки...

— Сейчас, отец, погоди! — И Егор кинулся догонять Броньку, упросил подбросить отца до Тигановки...

* * *

— Ты мне, Тиганов, воду-то не мути, — выговаривал на другое утро Бодраков. — Министр нашелся: то ему не так, то не этак. Скоро ты у нас за комбинат быта будешь тут, за общество «Знание». Работали помаленечку и будем работать, не передовые, но и не последнее. А ты куда народ тянешь?.. А если сорвемся? Кто за колхоз отвечает, с кого спросится в первую голову? С меня, председателя.

— С меня тоже, — заметил ему Егор.

— Ты давай там полегче, но эффективнее, ясно?

— Как это полегче, но эффективнее?

— Смотри, как, на то ты агроном. Одно разумеи: и без тебя люди тут жили — и хлеб росли, и с планами как-никак справлялись...

— Сами же говорите, колхоз такой, что «карасину не жалко», — поддел Бодракова Егор.

— Ну, это я так, для виду, — поморщился Бодраков. — Чтобы самолюбие у людей поджигать, чтобы лучше тянулись, работали, ясно? Вскрываю, так сказать, неиспользованные резервы. А ты что за сибирская язва такая, за язык хватать сразу, тоже мне Навуходносор.

— К чему это Навуходносор?

— А к тому, что на ухо «доносишь» людям не то, что требует обстановка. Если недопонимаешь, сиди тогда и молчи, не мешай. Ветер тростиночку гнет, а дуб ломит, ясно?

— Молчать, Финоген Ксаныч, не собираюсь, — выдержал Егор взгляд Бодракова. — Работать буду, как понимаю роль специалиста, чему нас в институте учили и к чему сама жизнь призывает. А контактировать нам с вами, куда денемся, надо — как председателю и агроному...

Вскоре Егор почувствовал на себе, что такое дуть против ветра. В копторе бояться с ним задержаться, поговорить чужь подольше, летят сломя голову, как от

какой-то заразы. В мастерских к его указаниям требуют чуть ли не письменных подтверждений. Егор видел, что так работать нельзя, он загоняется в угол. И был перед ним лишь один путь: честно делать свое агрономское дело, стараться быть ближе к людям — в поле, мехмастерских, у агрегатов, со всеми, кто не разбирался в ходах бодраковской политики да и не хотел ее знать.

С утра в бухгалтерии выдавали премию за перевыполнение плана по зерновым. Бодраков срезал ее только главному агроному. Остальным, в том числе и себе, выплатил полностью. Это так поразило Егора, что он не знал, как на такую выходку и реагировать. Недолго любить человека, даже ругаться в работе — куда ни шло, такое еще можно понять. Но влезть в святое святых, где все ясно, все четко, в процентах и цифрах, как черным по белому, такое Егору и в голову не укладывалось...

Егор уходил в поля. Земля всегда успокаивала его, давала работу мысли. Сейчас и это не снимало камень с души, в теле ощущалась ломота.

В Липовчике, суходоле, он решил спуститься по затравеневшему спуску, спуск был крутой и длинный. Ноги сами несли его вниз, выбрасывались одна за другой, как деревянные. Егор едва поспевал за ними и песся, выпучив глаза, вниз, а спуску этому не было ни конца, ни края. И вдруг острой болью рвануло его, как будто разорвало живот. И ноги опустили его прямо на комариновую кочку, на полыновые былки, он ухватился за них руками, так и держал себя на полгоре.

Боли в желудке бывали и раньше, но он не придавал им значения; молод еще, чтобы думать о каких-то болезнях, болезни приходят сами, когда о них много думаешь, но также приходят, оказывается, когда их вовсе не ждешь. Такого с ним еще не бывало. Он попытался подняться, сделал несколько судорожных шагов, и снова его резануло нестерпимой болью. Согнувшись, он сунул руку под рубаху, к желудку, и мял, гладил голое тело, стараясь хоть как-то унять эту адскую боль.

Вечерело, сумерки стягивались быстро, скоро не будет видно другой стороны суходола, а он не может двинуться телом, а до Ярища три километра пути. «Вот так и умирают», — пришло неожиданно в голову, и он этому не удивился, все ничто было сейчас перед ней, этой болью, которая ломила живот. Летели на почевку, должно быть, на устье речки Чистюньки, дикие гуси.

Летели, не серебрясь голосами, как обычно весной, а втихую, лишь изредка перекликаясь. Егор подумая о чайке, которая тоже летела туда, в устье речки Чистюньки, после чего вскоре умерла мама.

Кое-как он дотащился до Ярища. От ствола к стволу — старым садом — проволочся до клуба, отпер свою комнатку, свалился пластом на постель. Очнулся от голоса деда Колчака. Тот тряс его за плечо:

— Живой, Трофимыч?

Егор только мотал головой. И вдруг его стало рвать, выкручивать изнутри.

— Да ты и впрямь заболел, — забеспокоился дед и побежал, зачерпнул из ведра водицы.

Ночью он приходил снова. Принес из дому огуречно-го рассольцу, приговаривал: «Выпей, выпей, милок, от этого змия самое милое дело». Егор отстранял кружку, а дед еще и обижался: «Да, милый ты мой, дорогой, в твоём молодом положении лично только тем и спасался».

Дед ушел, а Егор понял вдруг, что кончается. Помирает, и все, и никто не увидит, как он сегодня, сейчас вот, сию минуту помрет. Холодеют, кажется, ноги, с большого пальца по пятку, от пятки до щиколотки и выше, все выше, почти до колена... а сердце пока все стучит, все стучит...

И вдруг Егору послышалась где-то кукушка. Как будто в лесу. Он идет по орехи за Липовчиком — суходолом, и ветки стегают его по глазам. А целая сумка орехов тянет за шею книзу, на дно суходола, к вымоине с настоялой водой. А кукушка на лещине: ку-ку да ку-ку. «Семь раз», — сосчитал Егор и понял, что это ведь не кукушка, — птица, а кукушка — часы, какие недавно он привез из Алатыря и повесил на стенку, на том месте, где красуется этот дурацкий, совершенно ненужный человечеству черно-бордовый атомный гриб.

IV.

Очнулся Егор, пожалуй, под вечер. Лампочка над головой уже влияла на освещенность комнаты, окошко было вполне синеватым. Он проснулся окончательно, раздвинулись веки, так они крепко держались, что не нашлось бы сейчас такой силы, которая бы сдвинула их, закрыла. В углу слышался шепоток: кажется, это была заведующая клубом Люба Неведрова. На правах хозяйки

она иногда забегала сюда к нему в комнатушку — подметет полы, смахнет пыль с подоконника. А кто это там с ней? — косички школьные с ярко-красными лентами? Неужто Стешка? Она...

По тени, скользнувшей к двери, Егор понял, Люба ушла. Значит, Стешка осталась. Она гладила ему волосы, он слышал давнишние, но не забытые запахи — ее тела и волглого сена из той луговой копенки под острым серпиком месяца в глубине ее глаз...

Стешка вскочила вдруг и, как коза, по стенке, лицом к двери, двинулась к выходу. Егор проследил за ее взглядом: на пороге стояла Миля.

К утру Егора отпустило, и он поднялся, стал сразу расхаживаться.

— Приехал сюда поднимать культуру, — прибирала комнатушку жена, — а сам живешь в таком, извините, хлеву. И чем питаешься! Сухие корки, «Завтрак туриста»... С ума сойти!

Егор попытался объяснить, что корки тут просто так, на всякий случай, а он иногда ходит в колхозную столовую, иногда обедает дома, у бабки Гали в Тигановке. Однако спорить с Милей было бесполезно, она просто сорвала со стены эту «совершенно дурацкую, совершенно бездарную мразь — черно-бордовый атомный гриб».

— Не гриб, а поганка, — не слушала она объяснений Егора о том, что это собственность клуба, чуть ли не реквизит. Выскочила на улицу — появилась с букетом ромашек, сунула их в стеклянную банку с водой, поставила банку на середину стола. Затем потащила Егора в правление. Влетела в кабинет к Бодракову, выпалила ему все, что думала:

— Сами живете вон в каком доме — дворец! Вы человек, — лицо ее пошло пятнами, она стала заикаться от волнения, Егор никогда не видел ее такой, — а моего мужа в хлеву держите. Посмотрели бы хоть, где он живет!.. Завтра же еду в район, иду к начальству, расскажу, как относитесь вы к молодым специалистам.

Все повысовывались из дверей, было интересно, как жена агронома кострошит Бодракова.

— Он живет, не жалуется, ему, стало быть, хорошо, — говорил Бодраков медленно, с трудом подбирая слова. — И вообще ночует редко, когда только задерживается... Но коль так вопрос стоит, то есть у нас домик стандартный, гори оно синим огнем... да вы знаете, Егор

Трофимыч, что шефы достраивают... Подождите немного, вот его вам и отдадим, занимайте, пожалуйста. Не возражаете? А кто против? Никто.

Миля уехала в город. Обещала вернуться как можно скорее, уже на постоянное жительство, дай только шефы закончат обещанный председателем домик, да и ей с детьми нужно собраться. А пока велела жить Егору в Тигановке. Сама навесила на комнатуху при клубе замок и ключ отдала Бодракову.

Председатель дал Егору пару дней на поправку, и Егор отправился на свой корень, в Тигановку.

С утра отец уходил на ферму вывозить навоз. Кузька тоже куда-то девался, а с бабкой Галей что говорить? Много не наговоришься. Все наперед известно, что расскажет старая из прежней да и нынешней жизни. Егор словялся по дому, делать ему пока было нельзя ничего. Он полез под крышу посмотреть рыболовную снасть и у печки, за боровом, среди всякого хлама, наткнулся на сундучок. Он был деревянный, с металлической ручкой. В таких сундучках, по словам отца, транспортировались в прошедшей войне батальонные мины. Егор и прежде примечал его, но внимания не обращал. Сейчас у него было время, и он решил узнать, что хранится там столько лет. Ключа, конечно, не нашлось, и Егор обил небольшой, довольно цепкий замочек долотом и стамеской.

В сундучке оказались бумаги. Толстая стопка плотно положенных друг на друга листов, перевязанных синей ленточкой. Егор развязал аккуратную ленточку, и листочки рассыпались по столу. Это были письма деда Петраки с фронта бабе Агаше. Семейная реликвия! Столько пролежали в пыли на чердаке... «Как же мы нелюбопытны, равнодушны, корней не знаем своих и знать не хотим, не желаем. И глядишь, нет уже гордости за свою большую семью, не копится фамильный ее капитал: кто, может, был великим мастером, хлебодеем, кто бороздил моря и океаны, кто жил праведным человеком, кого можно ставить в пример поколениям, а кто бездушным злодеем — и таких надо знать и помнить, чтобы после не оступились, стереглись такого наследства в семье... Поуехали в города, большие кустоватые семьи разрушились, память хранит не всех ужэ, только самых ближних, а ведь есть еще родичи, что подалее, с материнского боку, с отцовского. На семейных

фотографиях лица, лица, молодые и старые, родные и близкие, совсем ведь недавно висели они на главной стене. И где теперь, куда подевались, и лица эти, и их незабвенные фото, и письма — семейные реликвии, архивы домашние, эти музейные сундучки?»..

Письма деда Петраки были кое-где надорваны, смяты, в мелкой едкой пыли. Егор бережно брал каждое (бумага сделалась ломкой), слегка встряхивал, затем прогладил электроутюгом все складочки у солдатских三角льничков.

«Дорогая наша Агафья Матвеевна!

Как сама понимаешь, я уже нахожусь в действующей армии. Попал в санитарную часть. Командиры нам говорят, на переднем крае не будем, мины минировать — дело не наше, наше дело — мосты и дороги. Строить будем, что враг разрушает. Собраны у нас люди со всей нашей земли, даже есть ребята восточные, с Алтая и Киргизии, это где горы со снегом, какие мы с тобой сроду не видели. Почти все пожилые, а я по годам самый старший. Живем дружно, стрелять тоже нас учат, нельзя без этого. Топором одним на войне ничего не поделаешь...»

Глаза разогнались, глотали дедовы строчки, перед Егором война являлась с совсем иной, неожиданной стороны. Пришел с работы отец с Кузькой. Бабка Галя позвала ужинать. Егор выпил побыстрее молочка и ушел опять к себе в комнату. Долго сидел и смотрел в ночное, налитое тьмью окно и думал о войне с топором и пилой, родном деду Петраке и его верной жене — бабе Агаше.

Несколько дней Егор ходил под впечатлением от писем деда Петраки. Вот какие были, оказывается, его предки: дед воевал, баба Агаша, спасая детей в тылу, протянула линию жизни к нему, Егору...

Но вот Бронька заскочил на своем «вертолете», предложил проскочить до Адамовой мельницы. Егор сел на привычное место — в люльку. Бронька дал газ, и они понеслись. Все мелькало перед глазами; с низкой точки бурьяны и кустарники, комли деревьев и просто трава кружили голову, опьяняли. На Адамовой мельнице у куста с голубыми розами теперь чернела яма: снаряды, видимо, уже вывезли и взорвали, а розовый куст держался. Это прямо-таки восхитило Егора: снаряды и розы, совсем близко, вместе и столько лет. И Егор поче-

му-то подумал о Стешке. Стоял и смотрел на посадку — длинный, стройный ряд белоствольных деревьев — березы, береза в отдельности — густые, гибкие ветви до самой земли. И волосы Стешкины, как эти ветви...

Егор уперся лбом в шершавый, черновато-истресканный ствол, и вдруг все прихлынуло к нему, просто невмочь стало, хоть пропади. Так паводок ломит плотины, соломой лучше и не бутить, унесет. Так ветер колотит ставень о ставень, ну чем его остановишь, ведь ветер же. Вот тут и признался Егор Летагину Броньке, что давно уже любит Стешку.

Бронька молчал, Бронька тоже был человек.

— Поедем, броня крепка! — загорелся Летагин.

Катюшка Добренкова уже собиралась домой. С утра на ногах, накормила всех, кого надо, картошка на завтрашнее утро была начищена — целый котел. Только надела пальто, еще даже не застегнула на пуговицы, да накинула на плечи цветастый, жаркий свой полушалок, недавно купленный в городе, и еще обкручивала конец его вокруг шеи, как в дверь — глядите кто, ну и легок на мысль, паразит такой! — Бронька!

— Ты чего зашел-то? — сверкнула взглядом она, а сама уж раскручивала полушалок обратно, скоро идти домой не придется, а Бронька уж руками туда к ней, где помягче, в теплышко, и тут она за Бронькиной спиной увидела Тиганова Егора.

— А этот чего, агроном? — отстранилась она неохотно. — С тобой, что ль?

— Да, со мной, со мной, — говорил ей вполголоса, доверительно Бронька. — Да не бойся, он свой.

— А я и не боюсь, — повела Катюшка Добренкова полным, круглым плечом, подмигнув тем же моментом из-за Броньки Егору.

Это была беда Катюшки Добренковой — подыскать себе пару, не было другой такой крупной женщины в колхозе, да что в колхозе, во всей, пожалуй, округе, как Катюшка Добренкова. Не было для нее в пару мужчины, если не считать, конечно, Природина, так Природин — мужик смирный, домашний, семейный, да и уже в годах, не Катькин предмет. И хотя Катька и одеваться старалась, и наружностью была ничего себе, глаза-ста, броваста, темна густым волосом — черноплодная рябина, а вот не было «дуба» для нее, не к кому было ей «перебраться», пока не встретился на стежке-дорож-

ке ей Бронька, этого «хамлета» она мигом к себе приручила. И глядя на нее, Егор чувал, что и в нем поднимаются из глубин, ему не известных, какие-то тайные, но изъяснимые для него, запретные мысли и чувства.

— Вот дружок твой — агроном, да еще ученый, с высшим образованием, — говорила она Броньке, а сама косилась на него, Егора, — а чему научился там в институте? Ты хоть что-нибудь понял, Трофимыч, там, а? Ха-ха, — рассмеялась она, обнажив свои белые в ряд, как березки на лесопосадке, ядренные зубы.

— А что понимать-то? — немного смущаясь, пожал плечами Егор.

— А что жизнью, Егор Трофимыч, у нас не три и не две, а одна. И прожить ее надо, чтобы было, что вспомнить...

И тут наружной дверью хлопнули, дверь от удара ноги отлетела: на пороге стояла... жена Бронькина, Нинка. Бронька так и обомлел, Катюшка Добренкова медленно стягивала руку с Бронькиной шеи. Но было поздно.

Нинка рванулась вперед и, протянувшись через стол, схватила Катюшку за волосы. Катюшка вскочила, стол полетел на пол, и две женщины слились в один сплошной, неразволочный клубок. Неожиданность дала Нинке первый успех, но, когда Катюшка оправилась от удара и развернула Нинку в угол, прижала ее своим крупным торсом, Нинка, едва выглядывая из-под нее, закричала, закатила глаза. И тут что-то неизвестное дотоле и самому Броньке швырнуло его вперед, он схватил Катюшку за ворот и, что есть силы, отдернул от Нинки. Катюшка стояла, пялила какое-то время на Броньку свои глазницы и вдруг заголосила. Лицо у нее облилось краской, и на всю столовую раздался ее с ехидцей, запальный, прямо-таки истерический крик:

— А-а, любовничек, жену свою жалко стало! Распустил сопли, броня крепка. Подлецы мужики! — гремел ее голос. — Ходят, портками трясут!.. — И голос ее осекся, ноги как подломились, она опустилась на стул, и слезы брызнули из нее неостановимо, и она запричитала по-бабьи, тонюсеньким голоском, всклипывая и воздыхая: — А ведь клялся мне жаркими клятва-а-ами... говорил, что люблю-ю-ю тебя одну толечко-о-о... а что Нинка, да черт с ней, с этой Нинкой, она мне обеды не

варит, не зашьет рубахи, только деньги давай ей, такой распросуке-е-е...

— Не ври, не говорил я тебе ничего, — бегал глазами Бронька от Катюшки к Нинке, от Нинки к Катюшке.

— Ах, я вру?! Я вру?! — вскочила Катюшка. — Да я сейчас докажу, у меня доказательства. — И кинулась к шкапчику. — Вот они у меня, твои записочки, грамотки... «Катенька, — выразительно, на всю столовую прочитала она, — я без тебя не могу, приходи в десять ноль-ноль к щербатой раките, что у нас за огородами, я выйду...» Это кто ж мне писал?

— А ну дай, дай сюда! — тянул руку Бронька.

— Накоса, — показала ему Катюшка язык. — Завтра парторгу их отнесу, у него и возьмешь. Я тебе, милочек, крылышки-то подхвачу, научу, как таскаться по бабам, на чужой кусок бельма пялить, потаскун!

Теперь Бронькина Нинка только и делала, что водила глазами с Броньки на Катьку, с Катьки на Броньку. Наконец, она заметила тут еще и Тиганова Егора. И в миг лицо ее преобразилось:

— Ах, вот тебя, Бронюшка, кто сюда заволок? Ты, Егор, зачем мужиков женатых по бабам водишь? Это ты Броньку сюда завлек... Пойдем, Броня, домой, пойдем, Бронюшка. Ну, их всяких тут, пусть как хотят. А мы домой пойдем, делать нам туточки нечего, сами тут пусть разбираются...

И взяла, обхватила, потащила Броньку к двери, словно подпившего вместе с ней на семейной гулянке.

— Видали, ухажеры какие? — положив голову на стол, тихо плакала Катюшка Добренкова. — Полубовники какие, видали?

После этого Тиганову Егору стало так не по себе, что из Тигановки своей хоть никуда не показывайся, пока языки не отсохнут, головы не охолонятся. В Ярище чуть ли не каждый встретит его, не преминет укорить:

— Как это ты, Трофимыч, Катюшке Добренковой Броньку подставил, а? Ухажеры!

— Ай сама грешной не была, а, Марфа Петровна? — пожмет плечами Егор: ну что ей на это скажешь?

— Да уж ладно, — не спешит та же Марфа Петровна за своими делами. — Мои-то грехи ма-а-ленькие, это у Броньки большие. Броньке, гляди, не поддавайся, это-

му пакостнику, сзуюту, такая у них эта порода летягинская...

Возвращался Егор в Тигановку после одной из таких перепалок в Ярище. И дал зарок себе: да чтоб я к Броньке этому сел когда-нибудь еще в «вертолет», в авантюру в какую втравился — да никогда в жизни! Но жизнь-то есть жизнь, клясться клянись, да знай меру, не зарекайся.

Через пару дней Бронька опять появился в Тигановку. Прикатил на своем «вертолете» извиняться.

— Бабы эти голову закрутили, — жаловался он бабушке Гале. — Просто житья никакого. Туда пойду — издеваются, сюда — пальцем тычут. А парторг говорит, мы с тобой, Бронислав, еще разберемся. Хоть в моток лезь.

— А Катюшка что? — поинтересовался Егор.

— Презирает.

— А Нинка?

— Молчат.

Надо было выручать этого рыжего черта Броньку. И Тиганов Егор решил подыскать ключик к Лихопекову — заместителю бодраковскому, к которому отнесла по горячке Катюшка «полюбовные» Бронькины письма.

На днях Бодраков запретил, даже главным специалистам, обращаться через его голову в районные организации. И вот в поле с серьезной поломкой простаивает агрегат, механик Бронька Летягин обходит его стороной, а новый учетчик Саунин, ссаженный Бодраковым с «Беларуси» и оформленный на должность взамен ушедшего на саунинский трактор, боится звонить в «Сельхозтехнику». Сам же Бодраков уехал, а куда, неизвестно.

Егор знал, как скажет про все это Лихопекову: день, мол, уже на исходе, а техника не у дел. И если время перевести на деньги и предъявить Бодракову счет, то вряд ли хватит той премии, которую начислил председатель самому себе за зерновые.

Лихопеков появился в Ярище после Егора и потому каждый вечер он ездил ночевать к семье в соседнюю Алексеевку, где до этого был тоже заместителем. В вековой агроному сказали многозначительно, что только-только Лихопеков проехал на «рафике» в сторону сада, где шефы вчера под ключ сдали стандартный домик. Это заставило Егора поторопиться.

Перед свежавыкрашенной травянисто-зеленой стеной

ной был грудой свален красный кирпич — для печки или под фундамент. Тут же, в старой куче песка, играли детишки. Егор узнал в одном из них Федыку — внука Природина, от старшего сына Степана, тоже механизатора.

Федыку обидел дружок — карапуз такой же, но еще белобрее. И Федыка тер глаза перепачканными песком кулаками, и чем больше тер, тем сильнее — уже обоим — хотелось плакать. Егор подсел к ребятишкам, чтобы утешить их, и подумал: детский садик, что ли, в колхозе открыли?

На порожках стандартного дома появился сам Лихопеков. Кивнул Тиганову, подхватил обидчика Федыкиного — копия Лихопеков: и ушами лопушист, и лупаст, и шустер. Лихопеков подцепил его за руку и потащил к порогу.

— Ваш дом, что ли? — спросил Тиганов.

— А вчера ключи дали, мой теперь, — ответил Лихопеков.

— Да ведь мне обещали-то! — вырвалось у Егора.

Лихопеков как стал, так и остался стоять, бессловесный. Мимо них прошла худенькая, в пестром платье женщина. Кажется, жена Лихопекова. Кажется, пошла в магазин. Тут Егор заметил «рафик» под яблоней, а в домике — занавески.

— Это Сенька, отпрыск мой, — наконец, произнес хозяин дома, пропуская агронома вперед.

— Корнилов Колька подломался, электросварка нужна, — сделался вдруг серьезным Тиганов. — А Бодраков как в воду канул.

— Сейчас позвоним, вызовем летучку... Хорроши хозяйева, электросварки своей не имеем...

В стареньком трико, порванном на коленке, и в шлепанцах на босу ногу, Лихопеков казался Егору сейчас совсем не таким, как в правлении, даже на улице. Всегда ершистый, напористый, готовый тут же вязаться в спор, надавить, отстоять свою точку зрения. Здесь он был тихий, угловатый, стеснительный.

В квартире было все под стать хозяину: простенько, скромно. В зальчике, кроме телевизора, выделялся шкаф с книгами. Книги интересные, даже редкие.

— Хороши книги у вас, просто замечательные! — не выдержал Егор и улыбнулся невесело: как быть дальше-то самому, что сказать потом Миле?

— Правда? Всю жизнь собираю,— блеснули глаза Лихопекова.— Притащу какую-нибудь книженцию, а отсюда куда-нибудь сбуду, так у меня в этом шкафчике за сто книг и не выходит. Сто вечных книг.

— Почему? Что — обет себе такой дали?

— Да нет,— усмехнулся хозяин.— Просто так, привык. Как офицер, не обрастаю вещами. Поднялся с этого места и айда на другое. Оттого и поздно женился.

— И часто приходится переезжать?

— Не сказал бы. Но тут в районе работаю уж с третьим председателем... Все переводят. На укрепление, говорят, а вернее, для контроля... Полина Иванна, предрик наш, рекомендовала, сама сюда и привезла. Дельная женщина, без предрассудков... Чайку, может, а, Егор Трофимыч? С медком.

Сидели и пили чай со свежим липовым медом. Лихопеков не прятал глаза за вазу с крупными бордовыми гладюлусами, но и не выставлялся. Обыкновенный, внешне не выделительный человек, пройди в городе, не обратил бы внимания.

— Конечно, я понимаю... с квартирой... крушение иллюзий,— опустил Лихопеков ложечку в стакан, цепко посмотрел поверх него на Тиганова— Но я поговорю с женой, может, назад согласится?

— Ну что вы! — не выдержал взгляда Егор.— Зачем же, что вы.

Незаметно разговор перешел на дела, на их «Светлую жизнь». И в них Лихопеков проявил такую осведомленность, что Егор грешным делом подумал, уж не собирався ли тот к Бодракову давно. Все тут знает, все углы закоулки, как в своей собственной квартире.

— Хочешь, скажу, в чем у тебя была главная ошибка с Щекотихиной Ольгой, почему от тебя народ отвернулся? — подогретый чаем, склонялся к откровенности Лихопеков.— В партизанщине, именно так! Понятно, побуждения честные, а методы исполнения?.. Анархические. Ты слушай и на ус наматывай, от критики еще никто не умирал... Вот ты скажешь, это Бронька тебя втравил. Бронька — мотор, энергии хоть отбавляй. Ну а ты кто такой? Ты подумал об этом, и где твоя голова оказалась? Для Щекотихиной Ольги ты не чужак какой-нибудь — свой, вам взаимно труднее. Но тем для нее и обиднее... Сам понимаешь, что от тебя, агронома, главного специалиста, во многом зависит дело, от тебя многого

ждут... У Полины Ивановны, предрика нашего, главврачом брат родной где-то в городе. Так вот, она рассказывала, при встрече братец все у нее, у сестрицы своей, допытывался, как мы тут да что мы тут у себя в сельском районе? Особо что думаем насчет Продовольственной программы? Хоть он, мол, и врач — городской житель, а тоже в ней глубоко заинтересован. В нас с тобой, Егор Трофимыч, заметим, заинтересован, в нашем настроении, компетентности, умении работать с землей и людьми. Как человек, как гражданин да и просто глава семейства, которое, сам понимаешь, ему кормить надо. Выходит, от нас, селян, зависит, что будет завтра у них там в магазине, а стало быть, и у хирурга этого на столе...

— Откуда вы знаете про Щекотихину Ольгу? — перебил его наконец Егор.

— Ворона на хвосте принесла, — засмеялся Лихопекков. — Ты думаешь, если сам никому не рассказываешь, так никто о том и не знает? Да, господа, чего только от людей не услышишь... про иных молодых специалистов: зелень зеленью, дескать, молоко на губах, а судьба наша в их руках... Исподволь подливать масла в огонь — это логика, скажу тебе, несильного руководителя. А ты, Егор Трофимыч, вникай, тоже ведь будешь когда-нибудь руководителем. Не повторяй, как говорится, чужих ошибок, делай свои... Сильный же председатель обставляется сильными кадрами, выдвигает смелых, умелых, толковых, чего бояться-то, он одно знает: его сила — в силе дела, а сила дела — в силе помощников. Егор Трофимыч, ты меня понимаешь?..

Ну что теперь? В этом доме жил уже Лихопекков. Обещал он, конечно, помочь Егору устроиться на центральной усадьбе. Можно, к примеру, отремонтировать старую библиотеку — года два зияет пустыми глазницами, заменить кое-какие венцы да для тепла обложить в полкирпича. Но тут с кондачка не возьмешь. Пока Миля с детьми не сорвалась с места, ему, Егору — главе семейства, надо думать, что-то искать. А выход был...

Взметнув позади себя комья грязи, Бронька осадил «ирбит» за сараем. Едва поздоровался, сразу стал вводить Егора в курс дела.

— Сидишь тут, — говорил он агроному, — небось, уже

заплесневел, и знать ничего не знаешь. А тут,— Бронька снова был весел и бодр,— понимаешь, такое дело. В лесочке, что за «колымой», на отшибе барсук... представляешь? Еду вчера, гляжу: домохозяин, разъялся, подлец, жиреп. А сейчас проезжаю — нет. В гости, должно быть, поплелся, плетун. К милашке или так, на чайшко к соседу.

Егор молчал: что же дальше?

— Вот я и подумал, надо его, стервеца, потихонечку взять. Барсучье сало для желудка — нектар, божья роса. Всю хворь, как рукой.

«Ну, и дикая же у человека фантазия», — смотрел на Броньку Егор, а сам думал совсем о другом: о семье, о дедовой хате, корневом доме деда Петраки, вот куда привезет он своих.

Вечером, за ужином, отец одобрил план его действий, и только бабка Галя, как обычно, осталась при своем мнении:

— Ну, привезешь сюда свою Милю, с детишками, да, что ж, тебе тут, у отца, места мало? Гляди, домяка какой, сколько метров этих, а кому жить? Право дело, обижаешь ты нас, Егор Трофимыч, лишаешь радости.

— Пусть поживут сами,— поддерживал Егора отец.— Там оно, может, и лучше. Чем дальше, тем ближе. А нам, баб, будет куда ходить в гости.

И Егор горячо взялся за дело. Съездил в Алатырь, набрал в хозмагах краски, кистей, клея, обоев. И вот вечерами стали вместе с отцом пропадать в доме деда Петраки.

После того, как поработали летом здесь городские родичи, дел оказалось значительно меньше. Многолетний мусор выметен, вынесен, полы выскоблены, окна и подоконники, столы и двери протерты от пыли. Однако и пыль, и мусор успели опять откуда-то взяться, серели в тонком налете все те же рамы и подоконники, двери и выступы у «грубки» и печки. А полы опять были уже так захожены, что вызывалось желание тут же схватиться за веник, за тряпку сырую и мести, скрести, мыть полы эти с уксусом, чтобы они засверкали, как когда-то, первозданной, хромированной своей чистотой. Егор решил делать ремонт не кое-как, а как только умеет. Если уж обновлять жилье, где столько времени жили старые люди, так уж обновлять: Миля любила чистоту и порядок.

Сначала они долго советовались с отцом, как и что будут делать, что какой краской красить, какие где клеить обои. Потом чуть раскатали рулоны, примерили их к стенкам, чтобы удостовериться, что не ошиблись, а краской так даже чуток мазнули в одном местечке, подходит ли к горничной двери. И только после решили, что за чем будут делать, составили распорядок работы, план своих ближних и дальних действий.

Уже при этих советах, первоначальных разговорах Егор почувствовал то, что, может быть, никогда так не чувствовал раньше к отцу: близость. Отец, как всегда и во всем, горячился, даже ругался, не соглашался с ним, отстаивая свое, но потихоньку все же склоняя отца на свою сторону или прислушиваясь к нему, если это было толково, Егор ощущал самое главное: близость отца к себе и свою, ответную близость к отцу. Этого раньше не было, этого быть не могло. Когда отец по молодости куролесил, мама сильно переживала. Егор всегда любил маму и всегда был на ее стороне. Она беззаветно служила дому, семье, им — детишкам, когда они были совсем маленькими и, казалось, ничего не понимали, она прощала отцу все его дикие пьянки, все выходки, старалась, чтобы дети ни о чем не подозревали, ни в чем не винили отца: отец есть отец. Но он-то, Егор, все видел, все знал и потому еще больше любил маму и иногда ненавидел отца. Иногда он хотел сказать отцу все, что думает, но каждый раз натыкался на мамин взгляд, на мамино слово и понимал, что этого делать не надо, что это не понравится маме, что она хочет в доме хотя бы такого, шаткого мира, чтобы в семье у них было не хуже, чем у других. Егор сам искал в семье равновесия, сам хотел, чтобы не было стыдно перед ребятами, перед всей Тигановкой, в школе перед учителями за то, что у них происходит дома, за своего отца. Иногда он чувствовал, что не выдержит, вмешается, выскажет все отцу после очередной отцовской попойки и маминых переживаний, и тогда, может, даже придется уйти из дому, а это ляжет камнем опять же на мамино сердце, и Егор всякий раз молчал, все сносил, все держал, как и мама, в себе.

Нет, отец не был таким, чтобы его ненавидеть всегда, лютой ненавистью, он любил детей — «стоцентного» его, Егора, и даже слабоумного Кузьку, он старался, делал что-то для них, приносил иногда им пряников или конфет; когда они были поменьше — водил за руку в лес

показывать дятла, когда стали побольше — катал на машине и тракторе. А самое главное — его любила мама, значит, было что-то такое в отце...

Стали отдира́ть старые обои в горнице, и стены начали сыпаться. Штукатурка сыпалась, оттого что зимой многие годы дом не отапливался, штукатурка отсырела, держалась подолгу сырой, отходила от стенки и теперь выпадала наземь кусками. Это привело их с отцом в замешательство: в самом деле, что делать? Клеить по такой штукатурке? Будет сыпаться снова и снова, в горнице будет всегда нечисто, а стены, под обоями, неровные, бугроватые. Скалывать всю штукатурку и затирать песочком по-новому? Дело летнее, долгое. Егор стоял за то, чтобы скалывать, отец — за то, чтобы так оставить. Решили пойти на компромисс: сколоть там, где сыплется, а остальное не трогать. А уже летом куски эти општукатурить и оклеить опять. И закипела работа.

Отец отди́рал шпалеры, скалывал стены — Егор вытаскивал мусор. И все шло своим чередом. Едкая силикатная пыль висела в воздухе и заставляла чихать, пока Егор не догадался распахнуть окна и дверь, вытянуть ее сквозняком.

В один из «перекуров» отец мимоходом сказал Егору: — Бодраков про тебя спрашивал. Что-то, говорит, сынок твой все мимо моей двери, не заходит, ай за что обижается?

Отцу было приятно говорить это сыну: все-таки сам председатель оказывает внимание, обещает заехать сюда к ним, в Тигановку, где сроду, пожалуй что, не бывал. «Медвежий уголок», отдаленность какая-никакая, да и населенный пункт для колхоза не очень значительный. Собирались сселять на центральную, на ту самую новую улицу, что мыслится прямо в поле, за магазином, да стратегия изменилась. Пусть пока доживают старые да пожилые в своей Тигановке, а молодые и сами там жить не хотят.

Отец излагал все это Егору в перерывах, когда в очередной раз Егор появлялся в доме с тазом — выносить мусор. Нагребал в этот раз обрывки обоев, куски штукатурки, мелкий сыпучий песок, а сам уже почти не слышал отца, мысли Егора переключились на Бодракова: «Этот приедет, как пить дать, приедет». И ему становилось нехорошо, даже тревожно от слов Бодракова, услышанных тремя днями раньше от Броньки и повторен-

ных сейчас вот, едва ли не словечко в словечко отцом: «Не заходит, мимо двери моей, ай за что обижается?» Слишком уже хорошо Егор знал теперь Бодракова, чтобы в словах понимать его только то, что сказано, они всегда несли у него еще и дополнительный, внутренний смысл. «Что он этим имел в виду?» — вертел Егор так и этак бодраковскую фразу, теперь уже сдирая обои со стены, а отец вытаскивал тазиком мусор за двор.

А потом работка пошла не пыльна и не денежна, а веселее. Приступили к оклейке стен. Сделали смерок длинные и куски нарезали все сразу: стена была ровная. Егор становился на табуретку и, держа на весу длинный, от потолка и до полу, кусок, боясь перехлестнуть его этой, измазанной клеем, тыльной стороной, тянул весь кусок к самому верху, к углу. Попал на место, отец ладонью огладил пустоты, давя их к стене. Отступил на шаг: получились бугры, бугорочки.

— Не пойдет, — сказал отец твердо. — Снимай, пока не пристало. Будем делать основу, класть сначала газету, а уж потом на нее... Да и клея не хватит...

Егор побежал домой за газетами. Собрал их, разбросанные, по кладовке-чуланчику, по комнатам, по чердаку.

— Бабуль, — окликнул он ходящую за ним по пятам бабку Галю, — клейстер вари, городского клея не хватит.

— Хм, клейстер, — как всегда, оказала сопротивление бабка, сразу никогда не приступит к действию. — Клейстер — что, из муки? А муку мыши жрут. Это ж надо тогда там жить?

— А я что, — огрызнулся, поспешая обратно, Егор, — там плясать собираюсь?

— Ну, живите-живите, делайте на свой нос, молодые, шибко грамотные, — заворчала бабка Галя и пошла за мукой, загремела в чуланчике кастрюлями, ведрами, показывая свой характер: не нравилось ей, что Егор хочет жить со своей молодой в том-то доме, отдельно от них.

Теперь отец стоял на табуретке и заводил на место, к углу, намазанный жирно кусок обоев, а Егор был внизу и направлял, поправлял, прикладывал этот кусок к стене. И дело пошло по-другому: на газету легло, как влитое. Отец говорил что-то Егору, Егор — отцу, и ощущение близости с отцом, возникшее в Егоре чуть раньше, не пропадало, а укреплялось и ширилось. Прежнего слова и не было, не существовало в их отношениях, жило голь-

ко это, сегодняшнее, недавно открытое Егором в себе чистое, теплое, сыновнее чувство к отцу. Это было так хорошо, этого Егор не знал прежде, просто не было этого прежде у них, вот и все. И в отце тоже что-то случилось; и отцов голос стал как-то мягче, и руки его подрагивали, и сколько раз — Егор это тоже заметил — он словно бы смахивал пот ладонью со лба, сыреющего от прихлынувших чувств.

А на другой день дело пошло еще веселее. Егор всегда любил что-нибудь красить, просто это была его страсть — красить, освежать вещь, выявлять перед миром ее достоинства и красоту. Егор красил в голубое филенчатую дверь в зале с упоением, особенно когда пошел гулять по ней второй раз. Он заглядывал кистью во все уголки, вылизывал каждую складочку, отходил, чтобы взглянуть общим взглядом, набрасывался снова, тер-растирал-втирал краску, чтобы колер ложился ровным, всеобнимающим светом. Он любил делать работу на совесть.

Егор красил белой водно-эмульсионной краской подоконник и вспоминал, что именно здесь, в горнице, на этом вот подоконнике, совсем недавно видел фотографию деда с бабкой — Петра и Агаши, совсем еще молодыми, помоложе его.

— А куда девалось то фото, деда нашего с бабкой, не помнишь? — сдержав кисть, спросил отца Егор. — Гляжу по столам и не вижу.

— Северин забрал к себе в город, — ответил отец.

— Ну да-а, — как-то разочарованно протянул Егор. — Не сохранили...

И стало ясно сразу обоим, что в этом доме чего-то будто бы не хватает, какого-то стержня, без чего этот дом просто дом, как и все, а не их тигановский, общесемейный, корневой дом. И тогда, словно оправдываясь перед Егором, стараясь снять с себя хотя долю вины перед сыном, отец стал рассказывать о жизни деда Петраки и бабки Агаши, об их не малом даже по тем временам семействе, о том, как жили, трудились, кормили их, пострелов, отец с матерью; тянули в эту вот, в какой их теперь нет обоих, далекую жизнь. И начал Трофим Тиганов пересказывать сыну отцовы военные письма к матери, к ним, ребятишкам, и Егор подивился его сильной памяти, ведь столько лет, столько всяких событий легло между ними и нынешним днем.

— И всегда, помнится, дед наш... то есть мой отец,

начинал письма так: «Дорогая наша Агафья Матвеевна!» Наша — то есть не только его она, но и всех нас, детей. Наша общая мать.

— А вот и не всегда так писал! Писал и слово «моя».

— Это когда же так? Что-то не помню.

— Когда! А когда был ранен. И писал вам из госпиталя. И начинал так: «Дорогая моя Гаша! Пишу вам из госпиталя. И меня догнала проклятая пуля»...

— А откуда ты знаешь, бабка Гаша рассказывала?

— Сам читал! Обнаружил на днях семейный архив — дедовы письма.

— И где же это?.. А-а-а,— протянул Тиганов Трофим и хлопнул с досады себя по коленке.— Письма нашлись! А бабка-то перед смертью их искала-искала, весь дом вверх дном перевернула. А сама, видать, спрятала, куда подальше, да и забыла, совсем вышла из памяти, старая. Ну, и что там, сынок, еще?.. Есть про это вот? «Как, говорит, Тиганов, скоро отступать кончим?» — «Да куда ж, говорю, отступать еще, Москва вот она, дальше нельзя».— «Правильно, за спиной Москва, будем держаться»...

— Это есть. И еще пишет, мол, спрашивает его командир, какая будет, по-твоему, война — быстрая или затяжная? А дед отвечает: какая бы ни была, а все равно победим.

— Какая бы ни была — так отец наш не говорил, нет,— возразил горячо отец.— И не мог так сказать! Это фрицы желали скорой войны, блицкрига. А отец знал, такой войны для нас быть не может. Вишь, как он говорил, «все равно победим», верил в Победу. А если верил в нашу Победу, то, значит, не верил в блицкриг, ясно тебе, сынок?

— Рассудил, молодец! — засмеялся Егор.— Раз-два, и концы свел, все ясно.

— Мы «концы» сводили четыре с вершочком года,— посмурнел, нахмурился сразу отец.— Мне от тех «концов» до сих пор хлеб с лебедой снится, в рвоту тянет во сне от голода, вот!

Как присели с отцом на лавку, так и сидели. Говорили, говорили, словно впервые встретились. Ведь много ли человеку надо: одному — внимания, чтобы послушали, переняли на себя хоть часть его боли или радости, а другому — послушать надо, это самое взять на себя, чтобы сделаться человечнее, прибогатить свою боль и радость.

И когда спохватились, что же они просидели столько, были уже сумерки в горнице. Егор, глядя на отца, вспомнил о вчерашнем своем ощущении близости и подумал, что так, как сегодня, он относился только к одному человеку во всем мире — к одной только маме, значит, отец для него теперь за себя и за мать.

Через день, отпросясь у Бодракова, Егор отправился в город за Милей с детишками. В Тигановку они ехали жить уже всей семьей, вчетвером. Шли от большака посадкой — «светлым березовым ходом». Егор нес Устинчика, Ивашка бежал впереди, сбивая ногами грибы волпушки, росшие уже в изобилии, — охота бабки Галины, ближний ее интерес.

Не заходя к отцу, они прошли сразу к корневой хате — дому деда Петраки. Едва миновали порог, Миля сразу же побежала осматривать все: кинулась в зал и спальню, заглянула за печку, в печку, на печку, побежала сразу же в сенцы, обежала весь двор, все сарайки и погреб, примчалась обратно. Присела рядом с Егором на широкую лавку, где лежал и спал, ничего этого не понимая, Устинчик, а Ивашка тут же шмыгнул куда-то на улицу; прислонилась к плечу Егора головушкой горькой, взглянула в глаза ему снизу ввысь протяжным, чистым, преданным взглядом и — заплакала...

Миля хлопотала с ребятами, сразу с двоими: раздавала-переодевала, укладывала младшего, Ивашке давала то зеленую пластмассовую царевну-лягушку, то — книжку, а то — подзатыльник, ишь, как тут расходился, и говорила что-то сразу обоим, говорила. И хотя бабка Галя уже побывала здесь и протопила от сырости, Егор тут же кинулся в сарайку, что возле погреба, за дровишками. Совал дрова в грубку, а сам оглядывался на детей и на Милю с детьми, как Устинчик с ней за что-то уже воюет, а Ивашка возится с книжкой: еще бы, на этот год в школу вот-вот. И Миля наклонялась к Устинчику, брала его руку и вместе со своей рукой тыкала пальцем в Егора и, смеясь, говорила, дышала Устинчику на ухо: — Это папа, папа наш. Это наш папа.

И Егор улыбался ответно.

Покормив детей, они уложили их спать и сами, накопец, присели к столу. Егор принес из сенец бутылку «нарзана», отец привез на днях от тетки Варвары целый ящик минеральной воды. Егор полез в стол и достал оттуда стакан тонкого стекла, поставил его перед Милей.

Она выпила немного воды, смотрела задумчиво через стакан на окно. По тонкому стеклу выпадали бисером пузырьки, сизоватость седела, наливалась заоконной синевой. Только тут, по стакану, Егор и заметил, что там на дворе из теней по оврагам сбегаются поздние августовские сумерки. И положил руку жене на плечо.

— А ты любишь пить «минералку» из таких вот стаканов,— заметила Миля.

— Да, люблю,— ответил Егор. И молчал, он любил еще и другое: пить молоко из алюминиевой кружки.

Они сидели вдвоем — одни во всем доме. Спали дети, по-зимнему потрескивало в печи. За всю их жизнь они были в первый раз вдвоем и... вчетвером. В доме было тихо, тепло. Сколько мыкался, скитался, где только не перебивал он, Егор, там, в городе,— по общежитиям, по углам, по хозяйкам — честным и бессердечным, несправедливым и добрым, всяким; с тещей тоже было несладко, особенно когда появился Ивашка. В первый раз они сами в доме, это их крыша над головой, их жилище, их дом, они здесь хозяева, они здесь живут...

И тут прибежал Кузька. Крикнул что-то и убежал. А вскоре в сенях застучали, загромыхали ногами — появились отец, следом бабка Галя и Кузька. Наташили еды. Кузька приволок свою радиолу, тут же нашел розетку, включил. «Миллион, миллион, миллион алых роз», — загремел агрегат голосом Пугачевой, звук тут же снизили, но оставили. «Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен», — отдавались звуки в душе Егора.

В спальню, где были детишки, заходили на цыпочках, оглядывали их, спящих, а потом ходили, говорили, смеялись вовсю, и тогда из горницы Миля выпроводила всех на кухню. Бабка Галя уставляла стол всякой снедью.

— Да зачем вы столько? — помогала ей Миля. — Это же нам на неделю. Все равно выбрасывать, пропадет.

— Что же мы какие-нибудь, что ли? — говорила бабка Галя сама себе под руку. — Жить в деревне, милая ты наша дочечка, да не есть? Да первый кусочек наш. Возьмем, сколько съедим, и другим дадим, что останется.

После чаю Егор с отцом сидели и говорили уже отдельно, отец высматривал, сидя в красном углу, недоделки в ремонте: это место на потолке надо было бы мазнуть еще, в третий раз, видны полосы, а на трещины под печуркой не пожалеть ляпнуть глинки погуще, чтобы глаже, ровнее гляделось. Егор отвечал ему что-то, го-

ворил порой невпопад, но отец этого не замечал. Егор слушал не только отца, но и женщин, обсуждавших свои дела тоже отдельно, и бабка Галя, чего сроду не было, во всем соглашалась с Милей, кивала ей головой, все поддакивала и, вырвав моментик, встревала со своими советами, как выхаживать ребятишек. «...Рожали десятками, не боялись, пускали на свет божий, — слышался Егору через отцов голос бабкин. — И гляди, какие герои! Воп хоть наш «стопроцентный», мужик твой, Егорушка»... И Миля тоже кивала ей головой, выходила в спальню взглянуть на ребят и опять возвращалась, подсаживалась к бабке Гале, вставала, подкладывала что-то в тарелки — бабке Гале, отцу и Кузьке, ходила по кухне хозяйкой. И там, за окнами, обжимало дом ночной темью, где-то там далеко оставался город, Бодраковы, тяжелые роды, а тут было чисто, тепло, хорошо, и тогда не такой уж и темной казалась сегодня эта беззвездная, безлунная ночь на дворе, не таким уж и «медвежьим углом», отдаленной от центральной усадьбы была их родная, всегдашняя кочка земли — Тигановка. «Миллион, миллион, миллион алых роз», — увлекал Егора женский голос куда-то туда, где он уже был, где алые розы казались уже не алыми — голубоватыми. И сосновые стены трещали-потрескивали от жары в хате, от их разговора, от посапывания тут же рядом, в спальне, сразу двоих братишек — Устинчика, сосунка еще, и Ивашки, завтрашнего — без пяти минут — школьника. От Милиных то долгих, то коротких, всепонимающих взглядов на него, Егора, и было так хорошо, даже шумы ракиты над крышей не утрашали Егора, Егор просто не замечал сейчас ни ракиты, ни ветра желтовато-зеленого шума, ни самого хлебного, яблочного, медового августа.

Это и было, наверное, счастье.

VI.

К непогоде свербит, ох, и ноет в плечах у него. Руки — будто ввинчены, так и скрипят при ходьбе — длинные, до коленок мотаются, качни ими — поднимут и понесут. Вот и жизнь за спиной, уже лететь-то вроде бы некуда, а копни — дитем, глядишь, и остался. Только брови навесил, вид суровый себе придал. Так вот мы и живем, матереем, что-то в себе заглушаем, чем-то другим и самим себе кажемся...

С такими мыслями и спешил Добарин Селиван Данилыч, учитель тигановский, в Ярище, на центральную усадьбу. А стежка по пойменному лугу во какусенькая — бритва, ласточкин росчерк, лопушистый коневник колотится по бокам. Луга нынче щедры на траву, разметнулись аж до ершистых, залесенных увалов. После первого спаса, когда, созревая, по садам начинает мякнуть антоновка, загораются на этих увалах березы, опоянут золотым кольцом всю чистюнинскую пойму — просто чудо как жить.

Оглянулся Селиван, прежде чем уйти за поворот: на привычном месте, в островке зеленом — дубово-березовой рощице, белошиферная крыша — его Марусино-Ключевская начальная, там же домик его при школе. А правее, — по излучке Чистюньки, — полуподковой, в речку окнами, вся тебе и Тигановка. С этого края, к школе, под ракитой живут Тигановы, их так и зовут — Подраakitные; Селиван учил у них девку и сына, девка уж семь лет как в Москве, поезда в метро водит, а Васятка — в Алатыре, на асфальтобитумном заводе; старики живут в своей хате сами — двое, одни. А во-он по-над берегом, в лозе до полкрыши, деревянный домик-сундучок Бобыревых, полнокровный был дом, словно улей; уж и не помнится, сколько из этого улья в классы к нему перебегало, а теперь сундучок пустует. Бобырь с бабкой у внуков, на центральной, а здесь огород лишь сажают. А туда, к низочку, — дом Корсаковой Тоськи, что дояркой, у этой детей сроду не было, два перста с мужем Федькой. А еще дальше — в хате деда Петраки — хозяином теперь внук его, Егор Трофимыч — агроном, тоже Тиганов, возвратился из города; этих четверо, старший сынок Ивашка пойдет к нему в первый класс...

Так ушел в себя Селиван, что не заметил, как бултыхнулся в ручей. И ручьишко-то пустячишко, а ботинки через край залило. Присел Селиван на бережок, стал выливать воду из обуви, и жалко ему стало ручей мутить — в рощице, из ключей, возле их школы затеялся, а тут уже не перешагнуть. Недаром и рощица эта, и сама школа, как и поселок при ней, что исчез всего лет восемь назад, называют, как и называли когда-то, Марусины Ключи. Сидел Селиван и, пока вода из обуви выливалась обратно, успел представить, сколько же детских следов перебивало тут на песочке: успевали-таки, шелапуты, достичь ручья на большой перемелке.

— Селиван Данилыч! — крикнула ему издали Корсакова Тоська — бежала, должно быть, с утренней дойки. — На ферму звонили, в сельсовете вам телефонограмма. Из рай-оно!

— Знаю, — неохотно ответил Тоське Добарин, — уже передали. — И с усилием натянул ботинок на левую пятку. — Слышал, а то как же. — Хлопнул оземь каблуком для осадки и выпрямился, закинул назад свою крутую, седовато-мучнистую гриву.

Телефонограмма из районо, вот то-то и оно. С тех пор, как в Марусино-Ключевской школе прекратили эксперимент, что-то не помнится, чтобы его судьба кого-либо интересовала. Как стало ребятишек меньше пятнадцати, так академия педнаук с экспериментом в Марусиных Ключах и покончила. А ведь сколько шуму было, сколько газетных статей, даже диссертацию один молодой человек составил — «Воспитание у учащихся сельской начальной школы чувства патриотизма через самостоятельное художественное творчество на базе русских народных сказок и фактов местной природы...»

Телефонограмму ему отдает Чигринова Наталья — библиотекарьша. Селиван снимает с себя, как репей, ее боковой внимательный взгляд. «Селивану Даниловичу Добарину — заведующему»... За первой строкой Добарин не сразу доходит до общего смысла: «...явиться по поводу закрытия шко...» Стоит, а бумажка в руке едва держится, трясется отдельной дрожью.

Конечно, школенки в последнее время крутом закрывались. Но как смести Марусино-Ключевскую, когда в ней имеются дети, а пока в деревне хоть один ребяенок, школа должна жить...

Взял в сельсовете Селиван телефонограмму и не помнит, как притащился домой. Сидит в хате, уж сумерки, и Клавдия Николаевна, жена его, встает, как живая, такая, как только ей помереть, и все тянет руки к нему, все вытягивает, как резиновые, и туда зовет к себе, в Варин бук, что за Адамовой мельницей. Идем, говорит, будем вместе за все отвечать, что сделали, могли сделать и при жизни не сделали хорошего...

Очнулся Селиван — серебристо в окне, по постели бело-голубоватые полосы. Вышел наружу — луница! Теплынь и как вызвездило. А дышится, словно пьется после дневного зноя. Одна звезда, величиной с орех, делится через ракетку в темя — Альтаир в созвездье Орла... Гер-

бовная, царская птица... Всю жизнь он, Селиван, только и делал, что учил ребятшек. Еще бы какие-то два года и на полную пенсию, с выслугой...

«Шшшуууффф», — прочертилась с Альтаира через все небо избела-синяя, электросварочная полоса.

Селиван сбрасывает с себя оцепенение и в приливе сил, даже без очков, видит отсюда через школу и через дубовые заросли: тускло отблескивает ручка на входной двери — никель со стеклом, красивая штучка, лично в Москве купить знакомым заказывал. По всей Чистюлькинской пойме лениво перебрехиваются собаки, а тут у них, в Марусиных Ключах, такая стоит тишина... Луна цепенеет, широкие голубые мечи рассекают пространство между стволами вековыми и дымятся, сжимаются и разжимаются, дышат. Он лично выбрал местечко под новую школу, лично возил с завода силикатный кирпич. Уж на его-то век, верилось, ее хватит, и на век нынешних ребятшек, и на век ребятшек их ребятшек. И вот завтра все может пойти по-иному, все оборвется...

В ночи тарахтит дизелек: не спят люди. У речки в несколько дней вырыт карьер, теперь днем и ночью оттуда везут песок на дорогу, участок от Ярища через Плещеево на Оболешево спешат сдать до холодов. И там, на карьере, работают и их, тигановские. Сережа Карнаев там мотористом; принес тогда в школу гриб чагу, с него и открыли раздел природы...

Вот и дуб-дубище — самый давний во всей этой рощице, вечное дерево, вот и сестрица-береза. Повел Добарин щекой по стволу, а по щеке — холодок, под корой что-то вроде как перебулькивает, распирает кору, потрескивает она изнутри, и в тело его, словно насосом, вгоняет этот древесный поток, и чует он, как наливается весь, сам становится деревом, и соки земные бродят в нем, подходят под самое горло так, что не продыхнуть. И тут сердчишко провисло, упало перепелом и зачастило, а через ствол передалось корням, через корни — земле, и вот шевельнулась береза, пахнул ветерок, меж стволов закачались голубые мечи...

Сколько раз слыхивал в спину: что это, мол, за учитель такой? Пиджак и в будни, и в праздник один, точь-точь как у скотника Левона Ивантеихова, да и на ногах черте что — ходоки какие-то, матерчатые, с кожаными носами. У любой доярки теперь три-четыре модельной обуви. Ну что на это ответить? Поправит очки, усмехнется!

возьми да подсчитай свое и его, учительско, денежное удовольствие. У тебя, братец, скота полон двор, твой товар только дай — живые деньги. Плюс зарплата, а в последние годы она в колхозе неуклонно растет. А у них с Клавочкой сроду никакого хозяйства, все внимание — детям. Ну да он чужое считать не привык, зачем?..

Мотор на песчаном карьере смолкает, вместо него начинают стучать о железо железом, затем о дерево деревом, железом по дереву, топором по дубу, березе...

Сколько своих деревенских утекло за годы по Чистюньке-речке, потом по Кнубрю из этих мест в город, в тот же Алатырь. Живут себе выходцы эти там, наэтажах, а как мечтается иному о коровенке, ракилке под окнами, травянистом лужке за порогом. Как хватается он за лопату, ковыряет клочок земли величиной в блюдечко, в ладошку где-нибудь на пустыре. Конечно, у города есть и свои преимущества: печь не топить, «скорая», если что, рядом, газ и вода в доме, а он на асфальтах вроде как в командировке, в отходе. Но когда-нибудь кровь напомянит, свое возьмет...

Селивана всего куда-то несет, тело его растворяется, становится светом в подлунной роще, отдельной березой, и это не в ствол ее ударяет топор, рафинадами брызжут щепки, дымится при луне теплый березовый сок. Всегда так, светится каждым нервом, когда устает. Годы в конце концов это то, как мы себя чувствуем сами...

На выезде из Ярища, под разлатым Куделькиным дубом, где обычно «голосуют», чтобы уехать в Алатырь, Добарин увидел своего, тигановского. Это же сын Трофима — Егор Трофимыч, агроном! Расстелил по травке чистый платочек, на платочке — яйца, хлеб, огурцы.

— Дома меня, дядя Селиван, видал, как подкармливают, — приглашает Егор присесть и Добарина. — Понасовали в карманы, а куда с этим в город?

— Значит, еще не пропал аппетит, — стоит перед ним Селиван, как вкопанный, и вздыхает: — Еду вот в район, школу у нас, кхм... закрывают.

— Да вы что?! — застревает кусок у Тиганова в горле. Егор сидит, не зная, что и сказать. — А куда же Ивашку-то, первоклассника моего, будем девать?

— А-а, — машет учитель рукой в пространство. — Я и сам концы не сведу, оборвалась ниточка...

— Вот что, Селиван Данилыч, идем к председателю! Нет, едем в район, вместе едем! Пойдем вдвоем по на-

чальству. А куда? В роно, в райисполком? Да мы, дядь Селиван, на дыбы всех поднимем... Это что-то не то. Не может быть, чтобы взяли вот так и закрыли. Быть не может того...

В Алатыри на Тиганова Егора свалилась тысяча дел: в агрохимлабораторию надо — это в одном конце города, на товарную станцию узнать насчет удобрений тоже надо — это в другом конце, а еще не забыть занести данные в районный информационно-вычислительный центр, забежать в магазин «Сельхозтехники», так что сегодня вдвоем не получается. И Добарин в роно появился один.

Просидел в приемной часа полтора. Перед самым обеденным перерывом в дверь заглянул Наумовский — директор Оболевской восьмилетки, родом тоже тигановский, его, Добарина, ученик.

— Вы ко мне, Селиван Данилыч?

— Вот к нему, — показал Селиван глазами на дверь с крупными наборными буквами «Зав. районо».

— Значит, ко мне, Безобразов в командировке, — загремел ключом Наумовский в соседней двери, с табличкой поскромнее — «Инспектор». — В его отсутствие, батеньки-матеньки, принимаю, Селиван Данилыч, я... Ах, Агарков? Между нами... его, Селиван Данилыч, ушли. Вернее, нас, батеньки-матеньки, поменяли местами. Да ведь родом он из Оболевево, ему будет там хорошо.

Наумовский прошел к столу, сел поглубже в кресло-вертушку, тронул левой рукой телефон. Позади него во всю стену горела фляжками — жаркими точками планеты — политическая карта мира. Уголкем на ней залезала в Индийский океан карта области, карандашом был выделен их Алатырский район.

— Ну как я ничего тут, смотрюсь? — толчками, как жезл горлом мял, засмеялся Наумовский. Всегда так, еще с первого класса, смеялся. — Ах, это-то? — перехватил он взгляд Добарина на провисшую под тягой бумаг этажерку. — Полная бюрократия. Нужен свежий ветер в... э... просвещенческие паруса.

«Виски еще смоляные, — остановил на нем взгляд Селиван Данилыч, — секретарша в передней... Олю Воронину, помнится, уже во втором классе за бок щипал... В вертушке своей как и сидел. А к Безобразову применил свое ударение: мол, не тот Безобразов, что от безобразного, а тот, что покамест без образа».

— Ничего, Сергей Митрич,— смотрел в глаза ему старый учитель,— ты еще молодой, еще смотришься.

— Как это молодой? — напрягся весь Наумовский.— А когда же выдвигаться, под пенсию? Вот тут Агарков сиднем просидел и во что превратил кабинет? Может быть у человека с таким кабинетом современный стиль руководства? А мы вдарим по перспективе: затрапезную дорожку — вон, фикус заменим пальмой...

«Там ему не было разворота, а здесь ничего...— смотрел Селиван неотрывно на Наумовского.— Нет, зачем ему наша школа?..»

— Стенки — фанеровочкой. Представляешь, Данилыч, под липу? Светло, легко. Договорился уже, мастера сварганят, что хочешь... А заву отделаем кабинетик под дуб. Под дуб солиднее, впечатляет, да?

— Впечатляет,— отвел глаза от устойчивого, жгуче-карего инспекторского взгляда Добарин.

— Так-так,— забарабанил пальцами по столу Наумовский.— Так-так, тик-так.

«А ведь это он посылал мне вчера эту... телефонограмму,— мучительно думал учитель.— Безобразов взвалил на него эту... миссию. Не такое, понятно, масштабное дело — начальная школа. Да, но и не такое простое: а вдруг Добарин пустит в ход старые связи, должны же они быть у него, эти связи, если когда-то гремел человек...»

— Неплохо, конечно, только вот здесь пустовато,— повернулся Добарин к стенке с вешалкой.— У нас в школе поделок много, ребяташки сделают, что угодно. Домик бабы Яги, скажем, из бересты.

— Конечно, Селиван Данилыч, конечно,— снял Наумовский телефонную трубку и тщательно начал набирать телефон.

«Идея эта была идеей его, Наумовского. Правда, школу в Оболезево еще до него взгромодили — трехэтажную, на пятьсот учащихся, все же экспериментальный поселок. Но интернат — его детище. Хозспособом строить — хлопотно, но интересно: всюду вхож, деньгами крутишь... В конце концов всем хорошо: директору совхоза — людей привлекать, народ будет держаться, заведующему роно — премия за второе место по области. А на деле что получилось? Отгрохали интернат, а жить в интернате некому. Пока строили, контингент еще сократился. А все оттого, что в экспериментальный поселок

людей приехало жить меньше, чем ожидалось. И вызвал тогда Безобразов к себе Наумовского: за один показатель, сказал он, спасибо тебе, а за другой — по ученикам — оба скоро по пее схлопочем. Школу твою следует переводить на неполный комплект: завуча на полставки, завхоз сократится, сам будешь в роли завхоза... Тогда-то и предложил ему Наумовский прилить к восьмилетке весь се микрорайон, все эти школенки, да еще и Селиванову школу из соседнего Ярищенского микрорайона. Ничего, обойдется...»

Но разве обо всех этих сложностях расскажешь Добарину? Если бы Селиван сейчас заговорил о телефонограмме, Наумовский разъяснил бы ему получше, пожалуй, самого Безобразова, что это, мол, общая картина, пичего не попишешь. Следовало раньше вести работу среди населения, чтобы больше заботились о рождаемости. Но Добарин молчал; пренеприятнейшая ситуация: он — твой старый учитель, ты — его ученик. И все же лучше было бы разговаривать с ним самому заведующему, сам себе не позавидуешь...

— Так-так-так, — поморщился Наумовский, постукивая по рычажку телефона. — Черт знает что, не отвечают.

— Так обед уже, Сергей Митрич, — Селиван приподнялся даже, заметив, что Наумовский набирает, кажется, свой собственный номер.

— Как там в Тигановке сейчас — грибки, должно быть, и еще по черничку, наверно, ходите?.. Ах, батеньки-матеньки, Селиван Данилыч, какие там у нас совершенно изумительные места! Оболезево, вся Кнубревская пойма, наши Марусины Ключи и Тигановка. А тут, верите ли, дня не видишь. Крутишься, как белка в колесе. Бумаги, бумаги — входящие, исходящие, проекты постановлений, акты проверок, письма трудящихся. И на все нужно чутко, нежнейшим образом. А там у нас вышел с лукошком — чудо: лески-перелески...

«Аз, буки, веди, глаголь, добро...» — посерел лицом Селиван, перебирая в уме «кириллицу». Когда-то, еще в педтехникуме, «кириллица» эта помотала ему нервишки. Была такая преподавательница, каждый раз поднимала его перед всей группой, заставляла краснеть, пока, наконец, он не стал молотить эту чертову «кириллицу» в прямом и обратном порядке. И с той поры, когда его начало мутить от всевозможных человеческих несовер-

шенств, он вызывал в себе ту далекую картину, на доске мелом старославянские буквы...

— Аз — буки... веди — глаголь — добро... — четко, на весь кабинет, выговорил старый учитель.

— Что вы сказали? — положил Наумовский трубку мимо рычажка.

«Сейчас развернется направо, остановится резко, упрется взглядом, Курлинский-Мурлинский, — смотрел Селиван на телефонную трубку. — Глаза его? Они всегда привлекали: один — карий, другой — серовато-зеленый, чуть вкось. Бывало, поставит на тебя взгляд и держит... Захлопнуть школу легко, попробуй восстанови...»

— Чего вы, Селиван Данилыч, сказали? — развернулся Наумовский к нему левой стороной.

— Да так, — склонил голову старый учитель. — Просто так, Барма-Кутерьма, Курухан Куруханович, Курлинский-Мурлинский.

— А-а, — глядел на Добарина левый — серовато-зеленый, ласкательно-грустный глаз Наумовского. — Вы все сказочки свои... Ну, заходи, заходи, Селиван Данилыч, когда что. Всегда, когда что. — И встал, провожал Селивана до двери, придерживал правой рукой Селивану поясицу. — А в общем, когда там грибки, когда ягодка... не стесняйся, звони. Всегда, батеньки-матеньки, чем могу, чем богаты...

Замок на двери висел незамкнутым, наборный. На что ему он такой? Селиван долго тер ноги перед порогом, прошел в прохладные сени. Как не стало Клавдии, так герань на подоконнике и взялась сохнуть, мухи под геранью местечко избрали, а вернее сказать, забывает Селиван регулярно герань поливать. Вяло, без особого интереса, смотрел в окно Селиван, как туда, за Курганную гору, Козюлькину рощу, западало усталое солнце.

— Селиван Данилыч, живой? — подали голос из сеней.

Это Тиганов Егор, агроном, Трофимов сын, Ивашкин отец.

— Так ходил или нет по школьному делу к начальству?

— Попал к Селиверстову — заместителю предрика, начальнику нашего управления, — сверкнул глазами Егор. — Абсолютная поддержка! Мы, говорит, школу закрыть не позволим. Это не по-государственному. Будем и

одного твоего Ивашку учить. Так что ты, говорит, не волнуйся, трудись спокойно. Неучами, говорит, детям вашим расти не дадим... Так что и ты, дядь Селиван, пока отдыхай себе в отпуске. Занимайся огородиком-садиком, все будет в порядке.

После ухода Егора Добарин мимо крапивника, припорошенного падающим с тополей первым желтоватым листом, двинулся к школе. В коридоре уселся на табуретку, на которой стоял обычно бачок с кипяченой водой, сидел и проникал взглядом за каждую дверь, в классные комнаты, пытаясь представить себя уже не учителем. «Всегда был, всю жизнь свою был и вдруг уже не учитель?..»

VII.

Через день, к вечеру, Тиганов Егор стукнул в окно: — Слушай, дядь Селиван, ничего не выходит. Селиверстов звонил: он — за, да финансисты уперлись. Это, говорят, у вас, производственников, так: захотел премию этому, захотел доплату другому, а у нас в просвещении твердый план. Ваш тигановский учитель, по нашим бумагам, еще прошлой осенью вроде как помер: сняли с Марусиных Ключей единицу, с сентября не планировали. Селиверстов бессилён... Прямо не знаю, что дома и говорить...

В тот же день Добарин собрался и уехал в областной центр — пройти по соответствующим учреждениям, по знакомым своим и коллегам. Солидные люди, со степенями, все, как один, хорошо встречали Добарина, усаживали рядышком, чайку предлагали, расспрашивали, вспоминали про эксперимент, а как речь заходила о деле, так разводили руками: ничем не можем помочь. «Ну не для себя же в конце концов, — переживал Селиван. — В конце концов жизнь моя прожита, а пекусь я, дорогие товарищи, о предмете вашего недавнего внимания, об интересе педкадаемии. Сколько сил, сколько времени ухлопано, и все на ветер? Музей сказки, созданный детскими руками, обрекаем, а он службу еще сослужил бы. Пусть едут, глядят все, что могут сельские дети...»

В пединституте, на художественно-графическом факультете, Селиван не выдержал, чуть не заплакал. «Вернусь к себе, в Марусины Ключи, — решил он, — вытащу все из школы во двор, сложу в костер и запалю к черто-

вой бабушке. Еще и плясать на огне буду, как какой-нибудь варвар...»

Едва ступил на свою тигановскую землю, как в береговой посадке, вот она, бабка Галя,— мать Устиньина, Трофимова теща,— грибов полон фартук.

— Ну как, Данилыч, школу охлопотал? — подошла она, как будто тут его и ждала.

— Все, кума, круг замкнулся,— без желания говорить проходил мимо нее Селиван.

Он знал, сейчас бабка Галя сорвется с места и понесет по людям известие. Вот уже две недели нет никому покоя, бурлит вся Тигановка. В Селиванову школу этой осенью должны идти четверо, да еще с Адамовой мельницы — двое, да еще Ивашка — агрономов сынок — явился из города. Первое время адамовские были спокойны, даже поддевали тигановских: ничего, поприсядете маленько, а то экскурсии, бывало, к вам прутся и прутся, Селиван из газет не выветривается. Тигановские вразумляли их: «Да что же школа-то ай, дурья башка, на луне? Возьмешь, баба, завтра еще родишь, куда отпрыска учиться пошлешь?» — «Все, миленькие мои, отrojала свое, отработалась, голова стала кружиться,— говорила бабке Гале теща Бронькина — Рогалиха.— То, бывало, кладка через Чистюньку была широка, проскользну — не качнется, а теперь и улица узка, все штакеты плечами посбиваешь». Через несколько дней и адамовские призадумались, и над ними тучка зашла, висит с той поры, как топор: закроют школу или не закроют? Ярищенские — им чего пока волноваться? — утешали тигановских: подумай, да у нас в школе дети ваши будут учиться, в интернате жить... Утешители! Конечно, люди всякие есть, каждому на рот замок не навесишь. Тогда еще, вскоре после смерти Клавдии Николаевны, встретила его, Селивана, эта кума всеобщая, Рогалиха. Что у бабы было на уме, неизвестно, только она возьми да и брякни: «Ты, Селиван,— говорит,— считаешь себя дюже праведным. А знаешь, что на тебя наши деревенские злятся? Ты,— говорит,— детей у нас не учишь, а портишь. Свои были бы, так над своими бы не изгалялся».

Домой Селивану сразу после поездки в Алатырь идти не захотелось: кто там ждет и зачем? Свернул на едва приметную стезьку к ярко-зеленому блюдцу-болотцу, за которым начинается Козюлькин лес, а за лесом, как бельмо во глазу, торчит Арысь-гора. Прошел к ней Селиван:

вершина как срезана вниз до самой воды, это и есть Падун, смотреть с него страшно. Сел Селиван на траву, стал смотреть на каменистый берег, истыканный стрижиными гнездами — темные дырки в жестком, коричнево-рыжем песчанике. Стрижи взвивались, отталкивались от среза гнезда и — с писком дугой и ввысь. А под ногами глухой, заглубленной дрожью дрожал край обрыва. «Так ты, — все торчала в глазах Рогалиха, — детей у пас портишь, не тому их учишь — всяким сказочкам. Сам был с детства хитрой, а детишек не на то наставляешь. Пока это они от репьев-то твоих отчешутся. Каково им после в городе да и в колхозе?.. Орла еще, какую-то лешую птицу, придумал...»

Из-под ног его сорвался камешек, звук долго летел вниз, перекатываясь, озвончаясь в стрижиных дырках, наглыхая ближе к воде.

Коль приглядеться, отсюда видать Оболезево. Новая улица из стандартных домов, водонапорная башня, школа — экспериментальный поселок... А за пойменным лугом, где бакша сейчас вся в бурьяне-колоке, был когда-то «пятак» у Адамовой мельницы. Как бы ни устали, как бы ни были голодны тогда, после войны, а бегут, бывало, сюда девчата и парни со всех кутков, из других деревень, и — на всю ночь, до утра. Песни — свои, частушки — свои, своя «матаня», уж какая есть, а своя... Молодежь после школы айда в города — по заводам, в конторы. Да ведь вы, родители, сами их туда и налаживаете. Что ты, Рогалиха, Варюше своей говорила? Руки ей выставляла шершавые, жесткие: «Гляди, дочь, какие они у матери. От коров, от свеклы. Беги отседа, беги. Всего лишусь, всем, что есть, помогу, только беги». А что в городе? Деревенских город уже наглотался, уже, кажется, хватит, даже лишнее есть — по пивным, по подъездам. Конечно, кость деревенская здоровая, свое ломит. Выходят наши и в летчики, и в академики. Так ведь я, кума, не про то. Я про то, что уже бы и остановились, пора. Хоть бы дедовских могил постыдились, вернулись бы, подперли родителей, а вы, матери, им все суете, суете в руки свое кровное, заработанное. Вот хоть ты, Рогалиха, Варюшке — младшей своей — на кооперативную дала? На «Жигули», небось, собираешь. Вон их сколько, «Жигулей», по Ярищу, Тигановке, сколько гаражей поналеплено. Сами в городе, а гаражи в деревне у матери...

Сменил Селиван опорную ногу, едва переступил, как

позади что-то зашелестело, глядь — от сосны, с осыпи, отделилась булыга да мимо него, да в реку, бултых в воду. Отпрыгнул Селиван от обрыва: неужто зверь какой — рысь или сохатый? А это человек за сосной, глазенками так и ширяет.

— Ох, и напужал же ты меня, дедушка, — выходит на солнечный свет мальчишка — две торчинки-ржанинки на макушке, с голой грудью, рубаха на шее разорвана да кое-как схвачена репьями.

— Эй, Журка! — кричит он лохматой собаке.

— А, это ты Ивашка, — веселеет Селиван и строжится для виду, напускает тяжелые брови. — Во-первых, я тебе не дедушка, а учитель, скоро пойдешь ко мне в первый раз в первый класс. А во-вторых, чего это ноги у тебя, как у гусака, сизые и в волдырях? От крапивы, что ли?

— А я нынче в первый класс не пойду, пересажу годок. Все говорят, школу твою закрывают.

— Не закроют! Пусть попробуют только, нельзя. Тебе же, Тиганову Ивану Егорычу, надобно в первый класс.

— А чего ты тут делал?

— Думал, — говорит старый учитель.

— Про кого?

— Про тебя. А ты?

— Я-то? — мнется мальчишка. — А меня мальчишки избили, Усыня. Говорят, ну и дуй к себе, откуда пришел.

— Бить, конечно, нехорошо, — вздыхает Селиван. — Никуда не годится. С Усыней я поговорю... А сейчас идем, чего тебе покажу. Только, чур, никому не говори, это тайна.

Едва заметной тропкой, по крутизне, спускаются они к середине Падуна. Вот и расщелина за камнем.

— Пещера, — шепчет едва-едва Селиван.

Но стрижи и от этого звука порх-перепорх вниз с отвесной скалы. Раскричались, снуют перед носом.

В пещеру Селиван с Ивашкой вползают на корточках, а дальше уже встают во весь рост. Как здесь глухо, темно.

— Гав-гав! — кидается в угол Журка.

— Что это?! — пятится Ивашка за спину Селивану. — Леший какой-то, ишь, глазищи таращит.

— Гляди, — сбрасывает Селиван тряпки, кору, мхи, хламье всякое. — Видал? — смотрит на Ивашку Селиван восхищенно. — Видал, брат ты мой, чудо какое?

Смотрит Ивашка, а перед ними на коряге распласта-

лась другая коряга — птица не птица, вот-вот орел взмахнет крыльями и полетит.

— Сам сделал? — дотрагивается до коряги Ивашка.

— Один раз в году он выходит на свет,— говорит Селиван таинственно.— Прилетает в Козюлькин лес, садится под березу Лесиню, сидит. И тогда ребяташки приходят к Лесине, все, кому в первый раз в первый класс...

— А в этом году? — настораживается Ивашка.

— А чего ему? — кладет Селиван на Ивашкины ржанки-торчинки ладонь.— Прилетит, куда денется. А Усыню не бойся.

— И чего он тогда говорит, лешак?

— Что было, что будет. Ишь, какой глазастый, все видит. Что-то тебе расскажу — хочешь быть, хочешь сказку.

— Давай,— устраивается поудобнее у коряги Ивашка.

— Так вот, жил-был на белом свете мальчик, навроде тебя, еще маленький. Совсем маленький, Зауморыш. «Не желаю больше быть Зауморышем,— сказал он себе,— а желаю быть Богатырем». И отправился в дальнюю путь-дорогу, чтобы вырасти по дороге и вернуться обратно большим. За плечами у него была котомка с камнями, на ногах железные башмаки...

— Зачем камни-то? Лучше бы хлеба побольше,— шевельнулся Ивашка.

— Так за хлебом... насущным... и пошел,— задержал взгляд на нем Селиван.— Так вот, шел-шел Зауморыш, а тут жуткий туман, речка молочная — кисельные берега, как на тот бок перебраться? Присел Зауморыш к пенечку, подпер локоток, пригорюнился, ну никак не может туда перебраться. А уж ночь на дворе, волки пляшут на горе. И горячими слезами заплакал тогда Зауморыш. И упали те слезы вместе с туманом на траву, покатались, и там, на полянке, где остановились, поднялась-раскинула ветки береза-березонька — Лесиня-Лесинюшка — сережки алмазные. Перевесили те алмазы Лесиню, прилегла она к земле-матушке, по стволу Зауморыш на тот берег и перебрался. А за ним Лесиня вся сама туда перекинулась, стоит белостволая, а под ней коряга... вся во мху, в траве... в ветках рыбка трепещет.

— Березка сама наловила? — задел стенку Ивашка плечом, и на спину просыпалась глина.

— Ветками и наловила... Сбросил Зауморыш с коря-

ги мхи, травы, водоросли, глядит, а это Орел, этот самый. Только глаза потухшие.

— Неживой?

— Ясное дело, еще неживой,— усмехнулся Селиван, прислушиваясь к уходящему грому, там, за пещерой.— Так вот, черти ночные из болота набежали, вилами ресницы раздвигали, да все никак, бесполезно. Но едва встало солнышко, две живые алмазинки капнули с березы Орлу под ресницы, и вспыхнули глаза, проснулась лешая птица, сказала такие слова: «Что же ты, малыш, в самом деле, такой зауморыш? Ай работой с детства замотан? Или много пил, мало ел... гречневой каши? Физкультурой не занимался?» — «Нет,— отвечает Орлу Зауморыш.— Гречневую кашу я люблю. Только забота одна меня приморила и морит: все иду и иду, а расти не расту».— «Потому не растешь,— говорит Орел Зауморышу,— что один идешь. Ты возьми с собой в дорогу дружков своих... Машу Чернушку, Ваську Усыню, Филюшку Ивантеихова и Петьку — тетки Рогалихиного внука... У меня на крыльях всем места хватит...»

— Усыню не приведу,— живо отодвигается от Селивана Ивашка.— Он драться сразу, за камни хватается.

— Посадит всех птица на крылья и айдате до Солнца. Сколько всего по дороге узнаешь, с букварем, а хоть и без букваря, это дело!

Выглянули Селиван с Ивашкой наружу, а гроза уж сошла, ни единого облачка. Конопатинки на Ивашкином носу блестят, как новенькие, как земляника в варенье, ягодка к ягодке, в начищенном бабкой Галей жарком медном тазу.

По полям, по лесам-перелескам пробежала огневка, рано на сей раз лиса желтый хвост протянула. Ясень, на что неподступный, громадится в конце огорода у бабки Гали, а и тот колыхнуло, и зацвел он, затеплился. Вот-вот вокруг Тигановки вспыхнет по увалам золотое кольцо. Лето было сухое, безводное, спичку сунь — кажется, все так и полыхнет. Ей, лисе-огневке, чего? — на-чередила и дальше по пойме, а в доме деда Петраки настоящий пожар.

Егор заявился с работы, а Миля хлоп у него перед носом дверью и вроде на огород капусту от гусениц обирать. «Могла бы сначала на стол подать, покормить,—

упало у него настроение.— Тоже мне, характер показывает, этого еще не хватало».

Вернулась Миля с огорода, загремела чугунками, кастрюлями, искала повода, как подступиться к Егору.

— Завез в свою глухомань,— бросила она ложку на стол.— Ни магазина, ни клуба, а теперь еще, люди говорят, и школу закрывают. Это правда?

— Да погоди ты! — оторвался Егор от тарелки с борщом.— Может быть, обойдется.

— Как это погоди?!— вспыхнула Миля.— Значит, все-таки закрывают? Как же нам быть с Ивашкой-то?

Под горячую руку Миле лучше не попадайся. Бабка Галя как вошла в сени, так и застыла, не знала, чью сторону принять. За внука заступись — они, глядишь, уже помирились, а все шишки Аришке, третьему лишнему, то есть ей, бабке. Бабка Галя полегонечку дверь за собой притворила да на улицу: господь с вами, разбирайтесь сами. А потом через дырку в сарае шмыг по лестнице в сени, да на чердак. Все оттуда слышать бабке Гале, куда лучше.

Он за титечку ее прихватил: ясное дело, мужик. А она как взовьется, кобылица необъезженная, да по руке его, по руке.

— Не подходи! — кричит.— От тебя пахнет одеколоном, как от той твоей... Стешки...

«Ишь ты, ишь ты! — придвинулась бабка Галя к краю чердака, чуть не свалится.— Как заговорила. Недаром Рогалиху видели, тут с утра кружилась, вот кому язычок-то подрезать... Хотя, верно-правда, народ про то с каких пор гуторит, а до этой телушки только что доказалось... Ну,— ерзает бабка Галя, как на гвоздях,— сейчас это самое тут и начнется. Выведет она его, паразита, на чистую воду рогачами и кочережкой. Вся посуда на-земи будет.— Бабка Галя даже глаза жмурит, голова в плечи входит, представляется, как она своего Романа Кириллыча так-то учила и самой доставалось.— Да детишек-то жалко, Ивашка начнет голосить. А вот как меньшого, запальная, выхватит с люльки, тогда надо слезать. Хватит, отвоевались... Хоть и внук он, а учить таких надо, а как же...»

Но что это? Привалилась Миля к плечу его да, бесстыжая, бесхарактерная, ему на ухо, едва слышно — плачет, что ли?

— Ах, Егорушка, что ж нам делать с Ивашкой-то, ес-

ли школу закроют? В город обратно стыдно. В другую какую-нибудь деревню податься, где получше встречают?

Ивашка как пил молоко за столом, так чуть ли не поперхнулся, даже ногами болтать перестал: что это мать удумала, куда переезжать?

«Ишь язва, на что мужика подбивает», — наострила уши на чердаке бабка Галя: чего он сам жене скажет?

— Не-е-ст, — заблеял по-овечьи Ивашка и кинулся к отцу. — Я никуда не хочу.

— Кыш, — высвободил коленку Егор. — Тебя еще не спросились. А то возьму да ремнем протяну, чтобы не встревал во взрослые разговоры.

— Я не встречаю, я не встрев-а-а... а-а... а ехать никуда не поеду-у-у... я с бабушкой буду, с бабой Галей а-а-астанусь...

— Садись, пиши другу, — напирала Миля на покорного, ваятого почти без боя Егора. — Ну хотя бы этому... своему институтскому Кириллову Димке. Так и так, мол, какие условия: есть ли школа, дают ли жилье специалистам, сколько платят, какой объем работы?

— Известно какой! С темна до темна.

— А ты спроси, поинтересуйся, — положила Миля руку ему на плечо, — за вопрос сто рублей не возьмут... И чем скорее уедем, тем лучше. Куда нам без школы с этим галманом? А там другой, не заметишь, как подрастет. Влипши, так надо же выходить из положения... Ивашка, поищи-ка отцу тетрадку.

— Не поищу, — упер глаза в пол Ивашка.

— А я говорю, поищи!

— Не поищу. Тетрадка моя, пойду еще дальше запрячу.

— Ах ты, гадость! — потянулся за торчинки на макушке у сына Егор. — Для вас тут стараешься, тянешься, а вы так-то к отцу?!..

— Не бей меня!!! — вырвался Ивашка из цепких отцовских рук и — в сени, бух головой в живот бабке Гале.

— Ну будя, будя, — закрыла руками она от Егора Ивашку. — Сдурел, что ли? Охолонись.

— Ах, охолонись? Я — охолонись?! Рот затыкаете, я что — в зятях у вас, да? Я у вас по бровке ходи? Крепостное право навесили... И ты хорош, не гляди на меня так-то вот, не гляди...

Егор подцепил за плечо Ивашку, но тот, изловчась, тут же, между ногами, нырнул в раскрытую дверь.

— Не поеду с вами! — убегал он, сглатывая слезы. —
Никуда не поеду-у-у!!

Уже ночью бабка Галя нашла его на огороде, в буди-ке среди огурцов. Припав к огромной, истресканной жел-той тыкве, спал Ивашка, съехав ухом на землю, в кулач-ках его было зажато по зеленому огурцу. Бабка Галя по-пыталась разжать кулачки, но пальцы закаленели.

— Довели мальчонку, — притянула бабка Галя к груди Ивашку. — Вот родители, как сбесились, прости меня, господи, — тыкалась она мимо стежки: только звезды при-свечивали ей дорогу. — Нет, мы так-то не жили, так-то не жили. А это что ж, с ума посходили. Все им куда-то надо, взлетались-взмыкались. Полетаете — плюхнетесь голой зад-ницей, прости меня трижды, господи. Вот тогда стариков помянете, что наставляли, учили уму-разуму вас, дура-ков. Кабы впрягся по-настоящему, кабы свое оттерпужил, не до Стешки было бы в горячую пору, не до любви. Пришел бы да грохнулся, как подкошенный. А то силу на ком стал свою проявлять, выхваляться перед женой... Ну, вот, дитятко, здесь, у бабки, теплышко тебе, хорошо. Ишь, какие отец с мамкой, обижают нас с Ивашкой, ста-рого человека и малого... Спи-спи, я с тобой, внучек...

Наутро Ивашка молча смотрел из-за печки, как отец шумно пил чай и морщился. Провожать отца Ивашка не захотел, нет охоты.

— Не проводишь меня до калитки, нет? — приостано-вился Егор и покосился на дверь в чистую комнату, пе-решел на шепот: — Все они, сынок, бабы такие-то, ну их к врагу, сынок, не женись. А то будешь, как лошадь за-мотанная, все вези да вези... В общем так: давай лапу, замнем вчерашнее; мы же с тобой мужики. Я тебя скоро в город с собой возьму, поедем за букварем.

— В город? — так и подался к отцу Ивашка. — За бук-варем?!

Все в Тигановке жалели даже не столько Селивана, сколько себя, хотя каждый вроде уже под годами, срам-но заводить колготу, а чем черт не шутит, вдруг возь-мется откуда-либо с ветра, случается всяко. Все жили в ожидании, что те, у кого детишкам бегать в Селиванову школу, своего все же добьются. Особая надежда на тех, кто с «портфелями» — на Егора Тиганова, агронома, и на бригадира Усынина.

— Так что, ето... кума, да погоди, куда ты летишь,— прицелила бабу Галю Ивантеихова прабабка — самая древняя в Тигановке: выползла на солнышко в своих грязных, обрезанных по щиколотку валенках.— Так что, ето,— шамкала она проваленным ртом, долго собирая слова.— Твои внуки Селиванову школу вдвоем обработают. Молодка одного не успела родить, уж второй...

— Ваша Катька-то в Ярище десятый кончает?

— Кончает.

— Вот пусть сюда, как все добрые люди, и приезжает. Выйдет замуж, накидает детешек по лавке как раз для Селивановой школы.

— Катька так сказала? Да ето отец не знает, он ей ятреба выпустит. Он же в город, в портнихи ее сулил-ся...

— Вот-вот, а теперь будет свинаркой,— поддела Ивантеиху бабка Галя.— А то что ж, мы с тобой, бабк, одни тута каторжные. Пускай и молодежь по свекольным бороздкам на коленках поедит.

— Ну, я побежала, дочк, я побежала,— развернулась прытко старуха.— Да где ж хоть етот... Артем, где Артем, господи? Чтоб ето... дурочку остепенил. Право слово, как при старом режиме, накидает по лавке...

Бабка Галя завела Ивантеихову и довольна. Вот идол, этот Егор, у них не бывало такого-то, завез жену сюда с двумя ребятишками и гулять? Вчера вернулся с работы поздно, поле заречное, мол, докашивали, поломался комбайн. А сам не в кабинете ли с милой своей обретался? Там-тамочки, за занавесочкой. А то в другом месте полудновали, где-нибудь под березой... Эх-хе-хе, кума, в паши дни не было ни кабинетиков, ни самого времечка на такие дела. Замашки в день за семнадцать копеек пахватаешь-надергаешься, дак они, рученьки-то, распухнут под локоток. Это теперь все машинами, все комбайнами. За рубли и не глянут на работу, плати червонцы...

Засело в голову бабке Гале, кабы и в самом деле внук с семьей не уехал. Дай Ивашка в Селиванову школу походит — подрастет, станет бегать в Ярище, после Селивана все туда из Тигановки бегали. Чаше стала крутиться бабка Галя теперь тут, у внуков,— и улизлива, жох! Увидала, что Миля взялась Егору поливать из ковша, тут же шмыг в горницу и назад с полотенчиком.

— Завтра едешь, Егор Трофимыч,— сказала она,— в район по делам. Заодно бы и насчет школы зашел. Все

же ты у нас в начальствии. Голова к голове. Кто просто-го человека послушает?

— Зайду, баб Галь,— запустил Егор мыльную руку себе за шею.— Обязательно.

— А то что Селиван один сделает? — подал голос из раскрытого сарая Ивашка.

— Ах, и ты тут? Ишь, старик, ишь, прислушивается,— крикнула Миля ему туда в темный провал сарая.— Ты молчи, твое дело девятое, не лезь, когда взрослые разговаривают.

— А то как же, девятое,— подала бабка Галя Егору чистое, из сундука, полотенце.— Да чего молчать-то мальчонке, разве его не касается? Ему в школу, а дите не знает, пойдет оно в школу в этом году ай нет. Роддители-и, прости меня, господи...

— А ну, приди, приди сюда,— пригрозила мать Ивашке в сарай.— Заранее снимай штаны, я тебе крапивкой подсыплю. Ты цыплят соседских с утятами к речке водил, три штуки утопли?

— Не могу прийти,— отвечал откуда-то сверху Ивашка.— Я никак...

— Да где ты?

— Здесь, на матице. Лестница вниз упала, а я сижу уж давно, после утра.

— Вот местечко себе отыскал, хорошо,— заворчала Миля и отдала ковшик бабе Гале, заторопилась к Ивашке.— Во куда тебя, неслуха, буду теперь сажать. Чего же ты не кричал?

— Не кричал,— вздохнул Ивашка.— Я все пробовал сам.

Егор обещал взять Ивашку в город. И теперь Ивашка ждал и не мог дождаться, когда же они с отцом отправятся в город покупать для школы букварь.

С вечера, свернувшись под одеялкой калачиком, Ивашка думал о букваре. А через три двора на печи все вздыхала о нем, обо всех о них бабушка Галя. Миля втайне написала письмо жене Егорова друга и ждала теперь ответа, да от бабки что разве же скроешь? «Может, господь письмо Милю куда определил,— утешала она себя.— Ведь уедут, лиходеи, и мальчонку с собой заберут, ребятишечек. Отымут от бабки драгоценный кусочек, обесчестят. А уж я не молоденькая, к вечеру ног не чую... Ну, какого рожна надо, здесь, что ль, плохо? Школу бы только вот, окаянные, не закрыли».

Чуть рассвет встрепенулся, бабка Галя глаза приоткрыла. И Ивашка открыл глаза, думал. И Егор с Милей. Все у них свелось к одному: Селивановой школе. Прежде так за нее не болели душой, вот какая завелась первотрепка. Подхватился Ивашка с постели и на двор, за сарай, а отец — на пороге уже в сапогах и в плаще, уже в город собрался.

— А-а, без меня, — захныкал Ивашка, — без меня-я-я.

— А ну, — сказал отец строго, — тогда живо мне, по солдатски! Одна нога тут, другая — за калиткой.

— Я сейчас! — крикнул Ивашка и совсем забыл, что бежал за сарай. Подтянул штаны, и готово.

В городе тоже хорошо. Не как в том, где они жили раньше, но ничего, красиво: большие дома и улицы, даже фонтан есть перед универмагом. Под конец купили они с отцом и букварь.

У автостанции, откуда ярищенские уезжают домой, забежали в кафе чайку попить на дорожку, да там и застряли. Мужик один явился — вместе с отцом в одном классе когда-то учились. Сначала они все говорили, вспоминали, а потом сильно кого-то стали ругать. И дядька начал хвалиться, что приехал сюда из деревни на лошади, повел за кусты и показал, где она брошена.

— Поедем, папа, — повис Ивашка у отца на руке, — лучше на автобусе.

— Лошадь жалко, колхозная, наша ведь, — освобождал от Ивашки руку отец. — Пропадет же, кому тут нужна?

И вот они оба в телеге, и город уже далеко за спиной. Ехали они не по асфальтированной дороге, по какой ходят автобусы, а по старой, заросшей. Опустив голову, лошадь брела, брела да и стала.

— Ну пошла! — занес отец вожжи над головой. — Ну, вперед, малая авиация!

«Бедная лошадь», — только подумал Ивашка, как отец уже вытянул из грядки на повозке палку и стал бить, живую, ее по мослам.

— Ну, худоба! Ну, кожа да кости! — стервенел отец.

Палка хрупала каждый раз, вот-вот пробьет кожу, кости проломит. Под каждым ударом лошадь аж проседала, но шагу не делала, стояла, как вкопанная. «Авиация, ядрена шишка», — шептал отец, и слезы сбегали у него по щекам. И жалко сделалось вдруг Ивашке от-

да, и лошадь жалко, так жутко. И тут лошадь вздыбилась, и из повозки вывалилась буханка хлеба. Лошадь взглянула на нее и заржала. Ивашка разломил буханку и сунул почти половинку прямо в рот ей, в крупные, желтые зубы. Лошадь сдвинулась и пошла.

Перед самой Тигановкой Ивашка соскочил с телеги и бросился напрямик, через поле домой.

Мама встретила его на пороге: почему один, где отец?

— Не поеду с вами, никуда не поеду-у-у! — кричал в испуг Ивашка, и плечи его под рубахой тряслись, худенький — кожа да кости. — Вы с отцом нехорошие, злые! Нехорошие, злые!

— Сынка мой, ма-аленький, ласковый мой, — заслоняла мама собою Ивашку от глаз, от ветра, от палящего солнца, от всего белого света.

VIII.

Праздник был сегодня в Тигановке: провожали в Селиванову школу детишек. Все с утра встали пораньше: скотинку выгнать, по грядкам пробежаться да успеть приодеться по-человечески. Извлекли из сундуков свои залежалые туфли-баретки, повязали шалашиком платки в белый-синий-красный горошек, юбки в сборку надели да светлые кофты — так оно попрохладнее, хотя лето уже и на излете, а все же солнышко припекает.

Потянулись тигановцы огородами, стежками к Ивантеиховой кладке через речку Чистюньку. Подходили с той стороны через луг и адамовские — с Адамовой мельницы — Рогалиха с внуком, а другого отослали в этом году сразу в Ярище. Рогалиха облапила темными, жилистыми руками во-от такую охапку цветов, — полевые, садовые, кашки-ромашки, георгины-пионы. Все слупила, что было у них на поселке, не жалко.

Перед школой многолюдно и шумно, с Первомая так вместе не собирались. Кто на бревно присел, кто стоит на своих двоих, а кто на колодезный сруб облегся, издали наблюдает.

— Чего облегся-то, идол? — ширкнула по затылку, проходя мимо, Рогалиха старшего сына бригадира Усынина — Гришку, тот восемь классов в Ярище этим летом закончил.

— Чего ты? — смерил Гришка ее презрительным

взглядом. — Завтра уж еду в техникум, через четыре года вернусь бригадиром, я тебе нарядец закрою.

— Весь в отца, весь в отца, азиат...

— Тссс! Тише, — зашикали те, кто поближе.

И вот появляются ребятишечки. Первого, как под конвоем, толкают-подталкивают Ваську Усыню — брата Гришкиного, этот так и норовит стрельнуть куда-нибудь в бок. Не нравится ему, что все на него пялятся, но отец — сам бригадир, Кирилл Прокопич — держит за шиворот своего второклассника выразительно твердой рукой. За ними едва поспекает мать с хвостинкой и все остальные Усынины.

Маша Чернушка сама бежит в школу, только покакивает, с ноги на ногу перепрыгивает, а родные вон где, отстали. За Черновыми кучкой держатся Ивантеиховы. Филюшка-Филя все старается забиться в серединку, только свои его все вперед суют, на показ. Позади Ивантеиховых, удрав от бабки, идет-тянется Чудо-юдин Петька — Рогалихин внук, Нинкин сынок.

А Ивашка уж давно тут как тут с отцом с матерью — всех встречает, каждого поджидает. Из города у Ивашки портфель — такой красивый, синий, с якорями морскими...

Стоят ребята отдельно, у всех на глазах, ткнуться не за кого. А вокруг все смеются, кричат, как грачи на березах. Ждут кого-то.

Наконец, подъехал на «козле» председатель колхоза Бодраков, и тут из дверей школы вышел навстречу ему Селиван Данилыч. В сером своем, главном костюме и черном галстуке, учитель раздавал книжки — кому какие, по классам.

— А мне не надо, дедушка, — полез Ивашка в портфель с якорями. — У меня есть букварь. Вот какой, совсем новый!

Все вокруг засмеялись. Добарин похлопал по плечу Ивашку и сказал строго, но не сердясь:

— Я тебе не дедушка, а учитель — Селиван Данилыч Добарин. Понял, Тиганов Ваня?

И сам отошел к председателю, и председатель тут же начал говорить про нынешний праздничный день в их деревне, про всякие планы по зерну и по молоку и что вот он, Ивашка, надежда колхоза, и надежду эту взрослым людям надо, честно говоря, подкреплять.

— А теперь, товарищи, — завершил свою речь пред-

седатель, — пройдемте в само здание, где учились многие из присутствующих. Ну, если не в данном, то в старом, гори оно синим огнем, еще дровяном помещении, по все равно, как у нас тут выражаются, в Селивановой школе. — И первым шагнул за порог, и все за ним туда. А учитель приостановился, колебался, глядя на Бодракова.

— Так ведь, Егор Трофимыч, — Бодраков отыскал глазами агронома («тут, конечно, куда денется?») и усмехнулся, довольный собой, — пока дети есть, школа должна быть, и точка? Так вы, кажется, говорите с Егором Трофимычем, да?

На сей раз Егор взгляда от председателя не отвел. Стоял и смотрел, как над Тигановкой таяла, вот-вот истончится, растащится ветром, темнея с одного края, с другого, полная солнца тучка.

Переступил порог Ивашка: куда он попал? Сказка тянется от двери до двери, из комнаты в комнату. В окна летят гуси-лебеди, несут на спине мальчишку над синими морями, зелеными лесами, золотыми полями прямо к терему-теремку, а из терема выглядывает дружная семейка: тут тебе и лягушка-квакушка, и мышка-норушка, а медведь ходит рядом с дубинкой, все прилаживается, как бы это ему на всех разом так присесть, чтобы от всех одно мокрое место осталось.

— Когда-когда еще я коряжину эту нашел, — шепнул Ивашке отец. — За Агапкиным кривляком, страхалина. Принес, а вишь, учитель нашел ей местечко — подпирать теремок.

Все разбрелись по комнатам, зазывали к себе учителя. А Усыня показал из кармана кулак Ивашке: «Ну, надежда, достукаешься! Это ты у меня стянул яблоко?» Обманщик какой, сам свое яблоко съел.

Наглядысь, приоттаяв душой, тигановцы начали выходить потихоньку по двое, по трое, кучками. Переталкивались, пересмеивались, как мальчишки с девчонками. А на улице — вот-вот осень. Воздух с полей, хоть ложкой черпай, до того хлебный. Не стовариваясь, все как двинули на бригадный ток да как грянули песню:

— Ой вы, кони, вы, кони стальные!..

Ну не так, как бывало, конечно. Но ничего, певуны в Тигановке пока не перевелись.

А учитель ребят под крыло себе. Постоял, наклонился к Ивашке, провел ладонью по его рыжинкам и, как

смог, улыбнулся. И ведь, правда, не поймешь этих взрослых — улыбаются, когда несмешно, и смеются, когда хотят плакать.

— Айда в лес, все в Козюлькин лес! — сказал Добарин повеселее и увлек за собой остальных.

Бегут по луговой стежке Журкипы уши, в траву нырнут — снова вынырнут, а стежка стелется навстречу синему лесу, к Арысь-горе у Чистюньки-речки. Направо учитель глянет, налево кивнет, ни былки не обойдет, каждую с головы до ног взглядом окатит. А вот и ручей-ручьишко, не пустяк тебе, не пустячишко. Присел Ивашка на бережок выливать из обуви воду, а учитель ну говорить про Марушины Ключи, без которых не было бы Чистюньки-речки, а без Чистюньки не было бы Оки-реки, Волги-матушки, а без них, родимых, и всего Каспийского моря...

— А вон там, — показывает Добарин, — марь болотная. Долго немецкие танки торчали, да когда еще в землю ушли. Земля наша добрая, всех принимает.

Щеки у Ивашки так и горели, конопатинки к носу сбежались.

Вот и подошва Арысь-горы. Вот Козюлькин лес. Как горох, ребяташки рассыпались по лесу. Аууу, уааа! Только лист шумно валится с липы, шелестит по елке иголка, да звенит натянутое меж ветвей сухое серебро паутины. А вот на Орлиной поляне и береза плакучая, стоит Лесиня в зеленой шали; лиса-огневка первой хвостом ее не заденет, не качнет крепким зубом сохатый; если ты добрый человек — приходи к Лесине, она всегда тебе рада...

— Помогай, — засмеялся учитель и швырнул Ивашке конец пеньковой веревки. Дернул Ивашка за него — с березы, прямо на него, покатило-поехало чудо крылатое, летающий пень.

— Видал?! — засмеялся, захолопал руками учитель. — Это же Орел к нам сюда с неба спустился!

Глянул Ивашка — Орел. Тот самый, пещерный житель. Сидит себе на коряге, растопырил широкие крылья.

Начали обрывать его, вешать всякие ветки, мхи да лишайники. После схватились за руки и давай водить карагод, цеть про лешую птицу. А Усыня стоит и молчит, потому что в племя Орла ему уже не приниматься, давно принят. И Ивашка с Машей молчат, слов не знают, такая беда.

— Ничего-ничего, — подбежал к ним Селиван. — Камнем-пнем все перепнем. — И повел к Орлу, посадил на широкие крылья, провожал в путь-дорогу словами: — Улетайте — летите к самому солнцу...

— К солнцу, к солнцу! — повторяли ребята.

— Вся страна перед вами — не облететь, не объехать...

— Это наша Родина, Родина!!!

— Встретятся вам волшебные города и деревни, чудесные поля и заводы, богатыри, защитившие землю и трудом ее украшающие. И науки встретятся разные — от грамматики до арифметики. И всегда и везде все искали и ищут Счастье... Будет день («будет день»). Будет ночь («будет ночь»). Будут ветры в лицо («ветры, ветры в лицо»). Пронесем же сквозь них ясность души, беспокойство свое, правду чувств и поступков, и мужество...

С утра дети были уже на пороге Селиванова дома: открывай школу. Селиван, конечно, им обрадовался, но беспокойство, возникшее в нем в последнее время, усилилось. Попытался представить себя на месте инспектора. «Э, будь, что будет», — махнул Добарин на все и долго держал в ладонях сверхпудовый замчище. Уже в коридоре нащупал рукой нахолодалую медь старого друга «валдайца», и хрипловатый, надтреснутый голос звонка, захлебываясь от восторга, разбежался по всей маленькой школе.

Конечно, не так думалось начать новый учебный год. Селиван, рассадил ребят — каждого за отдельную парту, а Ивашку с Машей Чернушкой за одну вместе и перед собой — это первоклассники. И привычный школьный день стал отсчитывать минуты, часы.

Нарисовал им на черной доске мелом букву «а». А что эту букву учить? Они ее знают. И эту, первую, и все остальные. И принялись Ивашка с Машей сразу слова составлять из кубиков, а потом их писать. А потом учитель вывел на доске цифру «один», и Ивашке зевать захотелось. Только зевнул в окно, а там, за окном, его мама стоит под березой, в руках что-то держит, поесть, наверное, что-нибудь принесла, мамочка, хорошая. Поерзал-поерзал Ивашка, пихнул под бок Машу Чернушку, чтобы отодвинулась, и пошел себе прямо к двери.

— Ты куда это разогнался? — повернулся к нему учитель.

— А воп мама моя пришла, под березой стоит.

— Ну и что? — сделал складки на лбу учитель. — Ты, Тиганов Ваня, теперь первоклассник. А у первоклассников дисциплина бывает даже сильнее, чем, например, у третьеклассников. А если ты уморился, так и скажи, не хитри. Сейчас возьму звонок и позвоню, перемена начнется. Тогда и отдыхай себе на здоровье целых десять минут.

Только взялся Селиван за звонок, как под окнами зарычала, как тигр, машина. Все прилипли к стеклу: «рафик» — домик желтенький на колесах. А Добарин слегка побледнел, все в нем так и перевернулось: из машины выходили Агарков и Наумовский.

— Ну вот и застали тебя, можно сказать, прямо на месте преступления, — снял и вытер изнутри шляпу бывший инспектор, а ныне директор Оболеншевой восьмилетки Агарков. — А мы смотрим, нет ребят у нас на занятиях. Ни вчера, ни сегодня. А они, видите ли, вот где, самостийная школа.

— Не являетесь к нам в роно, Селиван Данилыч, — подошел к Добарину с улыбочкой бывший директор, а ныне инспектор роно Наумовский. — Мы уж вам местечко в Алатыри подыскали, в вечерней, комнатенку при школе. А так нельзя, Селиван Данилыч, у нас же в Оболеншево контингент не набирается.

— Ну что это, ей-богу! — горячился Агарков. — Мы их ждем, места в интернате им подготовили... У нас ведь тоже первый класс с гулькин нос. Если еще и медвенские своих заберут, что же нам, первый класс закрывать? — обращаясь он к Наумовскому.

— Зачем закрывать? Вот берите детей и везите.

— Как это берите? Как это везите? — вышла из-за березы Тиганова Миля — Ивашкина мать. — Что они вам, бревна, что ли? Берите, грузите! А вы нас, отцов-матерей, спросились?

Усыня сорвался с места и во-он уже где замелькал рубахой по лугу на бригадный ток.

— Да что нам тут разговаривать? — рубанул Агарков воздух ладонью. — Заварил кашу — пусть отвечает, явку нам обеспечивает. А школу закрыть, ключи отобрать и в роно.

Поник старый учитель, пиджак сразу опал на нем, повис, ношенный, как на орлином чучеле.

Вытерев ноги, Агарков и Наумовский подошли к порогу, взялись за замок.

— Не дам запирать на ключ, не дам! — раскинула руки на дверном косяке Ивашкина мать. — Уходите отсюда, уезжайте, откуда приехали!

— Успокойтесь, мамаша, — волновался Добарин, — не надо, Эмилия Николаевна.

— Вы их, Селиван Данилыч, не защищайте. Ваше дело детей учить, за это спасибо. А этих гоните!

И тут все заметили, как от бригадного тока сюда катится живой шумный клубок. Впереди Нюрка Чернова — Машина мать, даже древняя Ивантеиха, и та за хвосты всем цепляется.

— Детей наших грузуют?! Детей наших увозят?! — сама не своя, вон откуда еще кричала запальная Нюрка.

Прибежали, стояли, никак не раздышатся.

— Да не увозят! Вон они, наши дети, — успокаивала их Тиганова Миля. И повернулась к присмирившему вмиг Наумовскому: — Школу вздумали закрывать, а вы нас, матерей, спросили? Вот вы, лично вы, небось, в городе живете, своих детей и в музыкальную, и в художественную водите, а у наших последнее забираете.

— Кто же виноват, что детей мало, не парожали? — подал голос оболешевский директор Агарков, но инспектор его придерживал, морщился: не надо, не связывайся, что ты в самом деле.

— Ну а если школу закроете, — цепляла приезжих Чернова Нюрка, — что, народу у нас больше станет? Кто придет сюда хлеб на наших суглинках выхаживать, с Луны, что ли, люди свалятся?

— Ну вот что, дорогой друг, — приблизился оболешевский директор к Добарину, — если завтра же дети в школе у нас не будут, приедем с милицией.

И пыхнув дымком, «рафик» скрылся за вековыми дубами.

— Наумовский этот... земляк называется, тьфу! — в сердцах плюнула Нюра Чернова.

— Это какой Наумовский — с Возков ай с Медвенки? — приставляла ладонь к уху моховая, древняя Ивантеихова. — Ах, с Возков. Так это горлохваты отпетые. Ишь, кончик к фамилии подцепил, был всегда себе на уме, а теперь еще и Наумовский. Они такие — Наумо-

вы эти... с Возков. Все норовят к чему-нибудь приржаветь, на чужом руки погреть. А вот те, что с Медвенки, те трудяги, по шахтам — по заводам пошли, совсем другой народ, да.

На другое утро Селивана потянуло к школе опять. Ребятишки, щеглы-воробьи, тут как тут, полный сбор.

— Нет, ребята, — сказал им с грустью старый учитель, — придется все же ходить в Оболешево.

И сам повел детей на дорогу, к автобусной остановке. От Тигановки до нее всего ничего, каких-нибудь полтора километра. Но с трудом сегодня одолевал Селиван изволок, это свекольное поле, где по мощной, лопушистой ботве хорошо видать — сахарная свекла в этом году уродила.

И как двинулся автобус дальше, на Оболешево, как мелькнули в окне глаза Ивашкины, Машина косынка, Усынины рыжие кудри, как замахали, замолотили детишки руками, так ноги Селивану как подломило, даже очки запотели. Протер их Селиван, побрел назад сбоку свекольного поля, мимо Тигановки, к дубово-березовой роще на отшибе — своим Марусиным Ключам...

На школу Селиван не глядел — сиротская, бездыханная, мертвая. Теперь это просто помещение, школы нет. Уже с веранды шибануло запахом гнили, еще вчера, кажется, этого не было. Селиван оглядел водосточную трубу: не проржавела ли? Сделал движение к потолку — не прохудилась ли крыша?

У бачка с питьевой водой задержался: «валдаец» на месте. Откуда он взялся, да кто его знает? Ведь был еще до войны, до революции даже, еще в церковно-приходской, земской школе. Селиван качнул звонок — одинокий звук пропал в пустом коридоре. Витиеватая надпись на старой, темно-зеленой меди взвеселяла, как и когда-то: «Пролечу, прозвеню бубенцами»...

IX.

С того дня, как Егор вернулся из райцентра на лошади, его еще долго мучили угрызения совести. До чего можно, братцы мои, докатиться. А между тем расслабляться нельзя, надо быть бдительным, и на работе, и дома. Что это с Селивановой школой устроили: детей приписали даже не в свое Ярище, где десятилетка, а в какое-то Оболешево — семь верст не крик, восьмилетняя

школа. Права Миля, что дети им — бревна, что ли, куда погрузили, туда и привезли. Сейчас в Оболешево еще можно ездить автобусом, а дай слякоть, станет автобус — куда детей, в интернат? Таких-то малышей?

Дела агрономские ушли на второй план, все мысли Егора теперь занимала Селиванова школа, письмо Милю в соседний совхоз, жене его институтского друга: втайне от всех отослала она и втайне ждала ответа.

Егор знал, как много зависит от воли человека, как решат они судьбу школы на месте, так и будет. Обратиться к председателю — Бодраков, пожалуй, вильнет, «уйдет в сторону моря». Взять в союзники Лихопекова? И вообще-то может ли быть Лихопеков союзником?..

Дома тоже сгустились тучи. В первое время Миля па завтрак, бывало, блинчиков испечет, за кваском, яичками сбегает к бабке Гале и от споров уходила, не спорила. А сейчас так и ищет, чем бы ему досадить. То ей толь на сарае проверь, прохудился, то в подвале порожки разъехали, мол, мужик называется, а нет хозяйственности, никакого расчета — что выгодно, что невыгодно.

Пришла пора копать на своих огородах картошку. Прибежала бабка Галя, Егор вырвал на работе денек, даже Ивашке школу отставили, всей семьей собрались: картошка — дело святое.

Егор скинул рубаху, подставил солнцу спину — крутые, бугристые плечи, двигался с прохладцей следом за бабкой Галей.

— Вишь, огурцы как понче рано пожухли, — откинула она огуречные плети, проворно бегали ее пальцы, выгребая из рыхлой, унавоженной земли живые, в сыроватой свежине литые картофелины. Градом сыпались в ведро клубни, бабка Галя успевала работать и руками, и языком. Егор так не умел, не могла и Миля.

— А отчего, спрашивается, пожелтели? Агрономы, специалисты, прости меня, господи, что хоть вы толком знаете? Дождь такой пролил, я заметила, черные пятна выжгло по листве, по самим огурцам — захватило, захват! Все эту... атмосферу... дырявят, шпигуют туда-сюда... И чему вас там, в институтах, учат? Мужик, бывалыча, больше вашего знал. Выйдет за огород, облюбит палец, поставит на ветер — теплый ай жесткий? Что завтра будет, что послезавтра, а что — по приметам — и через полгода? Раньше жили — никаких комбайнов,

никаких тебе тракторов, а о завтрашнем дне больше знали и думали...

— Неправда, бабушка, — встрял в ее речь Ивашка, — и теперь думают. По радио говорят, атомным ледоколом добрались до Северного полюса.

— Не перебивай старого человека, — разогнулась бабка Галя и смерила взглядом картофельную кучку перед собой. — Диктор по радио с утра солнце пророчит, хоть бы глянул, идол, в окно, как за окном-то у самого дождь вовсю. И отец твой верит тому диктору больше, чем себе, прости меня трижды, господи.

— При чем тут диктор, бабушка? — укорил бабку Галю Ивашка.

— А при том, что многие делают вид, что работают. А без них в колхозе было бы даже и лучше... Свеклу у материной фермы начали убирать. Слышь, Егор, сходил бы туда, доглядел. А то подъемником этим возьмут да макушки посрежут...

— Ну я пошел, — живо потер ладонь о ладонь Егор.

— Куда это? — подбежала Миля. Хоть и в старой бабкиной плюшке и косынке маминой по самые брови, а раскраснелась — еще ничего, хороша.

— Как куда? — задержал взгляд на Миле Егор. — Пойду догляжу, и правда, там без меня черт-те чего наработают.

— Во-во, — заворчала бабка Галя, — дернуло меня за язык, окаянную.

— Да надо же ему, бабушка, надо, — взял Ивашка отцову сторону. — Он же ведь у нас агроном.

...Утром, шагнув за дверь широко, без стука, Егор вошел в кабинет к председателю. Бодраков, в извечном своем порыжелом плаще, стоя, договаривал что-то по телефону.

— Чего тебе, агроном? — бросил он трубку и утер одной рукой лоб синим, в косую клетку платком, в другой — уже держал наотлет фуражку.

— Вы, Финаген Ксаных, в колхозном доме живете?

— Ну, в колхозном, — присел председатель на краешек стула. — Сам знаешь, гори оно синим огнем, живу.

— И мне давайте. Как специалисту.

— А в этом, в каком сейчас, что — крыс гонять?

— Давайте жилье, — сжав желваки, смотрел Тиганов в глаза председателю. — В таком положении больше быть не хочу. Сам не хочу и вам не пожелаю.

— Так, — уселся Бодраков поплотнее. — Мне-то что — разве жалко, да лимиты где, сам знаешь... Мы вот что, Егор Трофимыч, целый поселок, новую улицу строим. С водопроводом, асфальтом, посреди водоем в тополях, понимаешь, в пи-ра-ми-дальных.

— В пи-ра-ми-дальных! За лимиты сейчас беритесь, выбивайте, — повернулся агроном спиной к председателю и вышагнул за порог.

Из школы Ивашка домой появился поздно, а утром опоздал на занятия: автобус не успевает, велят ставить детей в интернат. Об этом Миля высказалась перед ним со всей решительностью.

— Ну, и ставь, — уткнулся Егор в чашку с дымящимся невпроворот борщом.

— Ага, папочка, в интернат, — дернул носом Ивашка. — А я не хочу. И все не хотят, никто не хочет.

— Подумаешь, не хотят, — тяжело оторвался от чашки отец. — Надо, значит, надо. Кто-то вас, сопляков, будет спрашивать.

— А я не хочу, не хочу в интерна-а-ат, — заплакал Ивашка, и скорые слезы ринулись прямо в суп.

— Гляди, пересолишь, — отставила Миля тарелку, метнув на Егора убийственный взгляд.

Когда буря сошла, Егор потребовал у Ивашки дневник.

— Та-ак, по чтению — пять, по арифметике — три.

— Не добытной будет, — вздохнула Миля. — Не в дом, а из дома будет тащить, как отец.

— Что же это я, интересно, из дому тащу?! — насторожился Егор. — Что и куда из дому сволок?

— Сена смирды все наворотили, а ты хоть бы возик домой привез.

— И не привезу, пока план не выполним. Это тебя бабка Галя настрополила пасчет сенца-то?

Сидит за столом Ивашка, вроде ногами болтает, а сам вслушивается во все, на ус наматывает. Вот отец с трудом снял отсырелые сапоги, вышел в сени, там у него за шкафом постель. «Уже, небось, зорями холодно, ложился бы в хате», — скажет сейчас ему мама. — «Пар костей не ломит», — ответит отец и ляжет носом к стенке, к пахучим сосновым доскам, к которым, если прижаться, так носом к смоле и прилипнешь.

Иногда Ивашку к себе забирает бабушка. Сколько раз пытался он уследить за ней, когда сон ее, старую,

смаживает, но каждый раз, как только Ивашке ступить на пол, она тут же схватится, спросит со своей печи:

— Что тебе, внучек?

Глаза ее, за занавеской, так всю ночь и сверкают. Острые, как у кошки. «И зачем я только на свет уродился? — подбирается обида к Ивашке. — Всем со мной плохо... Папка назад бы уехал в город, работал бы в своем институте. Мамка однажды бабушке жаловалась, если бы не дети, век бы с ним не жила. Сейчас папка с мамкой не глядят друг на друга, а все из-за него, Ивашки, из-за Селивановой школы. И Селиванова школа вот она, за огородами, а до Оболеншево сколько. А вчера оболеншевские сцепились с Усыней: кто, говорят, вас к нам сюда звал? Учитель ходит, бабушка говорит, как неудельный. Это, говорит, самое тяжкое наказание, какое можно только придумать для человека. А вчера он встречал их с автобуса, вместе шли домой вдоль свекольного поля. Положил он руку на плечо Ивашке... Уж какую ночь снится Ивашке лешая птица, Селиван с орлиными перьями, электричество где-то в груди... Учитель сказал, нельзя жить человеку без арифметики, жизнь, что хочет с ним, то и сделает. Вдыхает Ивашка, да так, чтобы слышала бабушка, но бабушка не шевелится. Ивашка ставит ноги на половичок, выпрямляется — бабушкины глаза из-за занавески не сверкают. Сморило смотрело, за день нахлопоталась...

Зябко на улице. Туман движется от Чистюньки-речки, ужимается, тенью качается, каким-то живым человечком. В лицо, голову, по плечам ему бьются отсырелые листья — с дуба, ясеня, клена. Вдрагивает каждый раз человечек, замирает, проходя спящей улочкой к школе. Вот собачка — Журка — подбежала, обнюхала его, завиляла хвостом.

А туман внизу так сгустился, что руки не видать, нос собьешь о березу. Между туч ныряет луна. Страшно маленькому человечку. Под сараями — тени, в тенях — черти и лешие. При каждом шаге даже кожа за ухом натягивается.

Вот и роща дубово-березовая, школа. Человечек дерг замок на себя — ни в какую, чуть поблескивает рядом ручка — никель со стеклом, красивая штучка. Человечек просовывает голову в форточку, вкручивается всем телом — туда-сюда, ни взад — ни вперед, повисает. Так и

висит десять минут, полчаса. Перед глазами коридор, бачок с голосистым «валдайцем». Кровь толкается в голову, хочется спать, человечек почти засыпает. «Утром придет Селиван и увидит его, что подумает?» Еще усилие и, перевалиясь через форточку, человечек падает вниз. «Вот она, эта пуговка, зацепилась и не пускала»...

Ночью все кошки серы, и совсем не туда смотрят окна. Человечек стоит в коридоре, привыкая глазами: гуси-лебеди, крейсер «Аврора»... И, хотя все они сейчас темные, он знает, что днем они красные, эти всадники, это знамя и небо, нужно только, чтобы был всегда день. И вдруг где-то начинает стучать пулемет, и красные конники срываются с подоконника, и красное знамя мчится в высокое красное небо...

Человечек подходит к окну, кладет что-то коням под копыта... Уже в форточке он толкнул нечаянно шибку, так стекло в локоть и врезалось. Кое-как стянул майкой рану. Возвращался той же дорогой.

И туман потеплел, приподнялся. Перед бабкиным Галиным домом человечек приостановился и замер: чья-то тень, кто навстречу?

— А, это ты? — раздался низкий, густоватый спросонок голос. — Ты чего бродишь?

— Дедушка, — дернул человечек за рукав Трофима Тиганова. — Ну, охлопочи, охлопочи Селиванову школу.

— Что я тебе — волшебник, что ли? — собрался уходить на работу Трофим. — Вон Егор у нас агроном и то...

— Нет, ты у нас не волшебник, — вздохнул маленький человечек. — А дедушки, баба Галя говорит, даже выше начальства.

...«Неужто уж растаскивать начали? Выбита ниже форточки шибка», — бежал к школе Добарин, аж дух захватывало, рванул замок — цел, в коридоре все тоже на месте. Кинулся в одну, вторую, третью комнаты — ничего. Переходил спокойнее от экспоната к экспонату. И вдруг взгляд упал на подоконник: белый картон, на нем нарисована птица — лешая птица Орел. под Лесиней, только в очках, с букварем на крыле, а в груди Орла красное яблоко; и скачут красные всадники в красное небо, и стрела от красного яблока метит в шаткие буквы на белом картоне: «Сонце».

Селиван поправляет очки, улыбается: «Сонце», именно «сонце», никакой ошибки, именно так»,

Не видать, где кончаются эти свекольные борозды. С утра подъемник прошелся по ним, теперь здесь командовали женщины. Одни — таскали корни за мощные, лоснящиеся чубы, сбрасывали их в кучки. Другие, сидя на мешках, секли эти чубы пожами, сбивая землю с длинных крысиных хвостов.

Егор подсел к Черновой Нюре, взял в руки свободный нож.

— Что, агроном, ай в простые решил записаться? — расправила женщина ватник на шее.

— А чего? — отсек Егор свекле макушку. — Подаю заявление в ваш коллектив, принимаете?

— Дай местечко-то ему, не вишь, просит, — живыми глазками уколола Нюру Рогалиха, сама рукой осадил под подбородок платок.

— Не блуди, старая, ты свое отблудила, — осекла ее Нюра. — Тут серьезное дело — дети. Пешком ить нонче ушли в Оболешево.

— Да ты что? — сорвались голоса. — Не дойдут сегодня до школы. Пойдут теперь блукать по полям, перелескам. А зверья сколько кругом расплодилось — кабаны, волки, лоси...

Одна за другой сюда к ним подходят женщины, собираются вместе — Чернова Нюра, Тиганова Тоська, Ивантейхова Вера, Усынина Тоня. Появился и сам бригадир Усынин. Лица у свекловичниц забурели под ветром, ватники сделали всех одинаково толстыми, неповоротливыми. Говорили все — кто с детьми и уже без детей. Егор больше молчал, собирался с мыслями, сразу так про все это не скажешь.

— Это мой коповод, должно, всех смутил, — спохватилась Тоня Усынина. — Что же делать-то с чертенятами, а, бабы? Агроном, может, скажет?

Егор все молчал и все слушал, и что-то входило в него — бессловесное, такое огромное, что не хватало груди: «Да разве же дело в школе? Сегодня нет школы — завтра не будет деревни. За локоток ухватились. Действительно, гром не грянет, мужик не перекрестится...»

— Нет, дорогие женщины, не дотянем мы с вами тут до космической эры, — встал со свекольного курганчика Егор, собираясь пройти в конец поля к свеклоподъемнику.

— Мы тебе про рожь, а ты нам про что ж? — все задевала его Чернова Нюрка. — Стучаться надо, бабонь-

ки. Как со свеклой разделаемся, так за школу возьмемся. Да и агроном вот поможет. Ты, Егор Трофимыч, ушами не хлопай, сынишка ведь тоже в Оболешево гоняет автобусом. Напирай, где надо, не бойсь, а мы подтолкнем, подсобим тебе по силе-возможности...

И все встали, пошли по местам в сапогах, ватвиках, все сорок одежек-застежек от осеннего, жестокого ветра.

Еще издали Селиван заметил его около школы и отрезал путь к отступлению. Чесанул было тот в сирень, да ноги как приросли. Стоит, глаза от земли никак оторваться не могут. Левый локоть забинтован, разбух под рубахой.

— Отчего это, Ваня, рука у тебя толстая такая? — наклонился к Ивашке Добарин. — Ай оглоблю подвязал или развил физкультурой?

— Нет, оглоблю я не подвязывал, — ответил Ивашка. — Я, Селиван Данилыч, немножечко ранен.

— Молодец! Где же так тебя научили? Сами грамоте учитесь, сами лазите, ранитесь? А ну, как пишется слово «солнце»?

Ивашка сделался красный, как бурак, опустил голову еще ниже. Эх, и жаль же стало его Селивану: ну что, право, как банный лист, прицепился, как пишется да как пишется? Когда надо, узнает. Своевременно или несколько позже.

А за Арысь-гору катилась круглая сковорода, отражаясь, красная, в только что вставленной шибке.

Х.

И опять они собрались пешком в Оболешево, только в этот раз не через развилку — устье Чистюньки, где утонул тем летом Федька Ермилин, а верхней дорогой, где мост, по которому ездят. Весной вода заливает старое русло и держится здесь, голубовато-зеленая, как глаза у Тиганова Ивашки. А травы по берегу темные, мощные — родниковое место. Подошли к старице ребята, а вода в ней теплым-тепла и, как прозрачное стекло, разлита по траве. Стоит в этой воде осока, усами шевелит, ногу оглаживает. А между пальцами серебром постреливает рыбешка.

Закатали Васька Усынин с Филюшкой-Филей шта-

ны и давай ловить ее то руками, а то и рубахой. Целый картуз натаскали пескарей и плотвичек.

— А ну, собирайте дрова! — скомандовал Усыня. — Сейчас пир устроим.

И вытащил Чудо-юдин лупу из кармана, стал загравлять костерчик. Потом насадил рыбешку на черенок да сунул в огонь ее жарить. Один бок у нее обгорел, другой совсем еще белый, сырой. Сдернул Усыня с палки свою «вкуснятинку» и зубами хрясь-хрясь — недожаренное и горелое, всякое. Смак! Прилег к воде и давай тянуть ее в себя, словно конь. Дух переведет и опять пьет, никак не напьется.

— В школу опоздали, — захныкала Маша Чернушка. — Все Елене Васи-и-ллльне расскажу-у-у...

— Дура! Катись в свое Оболешево и рассказывай, — бросил Васька Усыня в нее пустой черенок.

Жалко стало Ивашке Машу и школу. Вон куда уж прошли по букварю. Задавали стих на сегодня, так он его пазубок, хоть сейчас, хоть ночью — только спроси. Это Усыня, кроме как по-матерному, ничего длинно сказать не умеет.

— Сам ты дурак! — смело сказал Ивашка Усынину. — Раскомандовался... Забыл, что ли, куда собрались?

— Ах, тебе в школу надо? — схватил Ивашку за плечи Усынин — такой верзила. И повалил на землю. — А ну катись отсюда, катись в свой город...

И поддавал Ивашке под зад коленом, поддавал, сколько влезет.

— Бу-бу-бу! — все равно передразнивал Усыню Ивашка. — Бригадиров сынок, трепло, чертова молотилка. Твой отец валит навоз у Варина бука, а мой отец отвеча...

В этот самый момент перед Селивановым домом остановилась телега. Бросив на штaketник вожжи, с телеги прямо в крапиву прыгнул директор Оболешевской школы Агарков. За ним неловко слезла на грешную землю худенькая, остроплечая женщина с болезненно тонким лицом — Галушкина, учительница начальных классов.

— Ну, пройдемте, Елена Васильевна, к этому воинствующему, а, Черномору, — толкнул Агарков перед нею калитку.

— Почему Черномор? — пожала плечами Галушки-

на, следуя за директором. — Что в нем такого от Черномора?

Селиванов поднялся из-за стола: он только что ел, поспешно накрыл стол полотенцем. «Кофта распустилась на локте, зашита суровыми нитками, — заметила Галушкина. — Может, даже и женская, еще Клавдии Николаевны».

— Ну вот что, товарищ Добарин, — прошел директор дальше в горницу мимо оторопевшего Селивана. — Мы к вам, э, с серьезным вопросом: где наши, э, ученики? Мы не видим их в школе. Вы понимаете, что творите, какую на себя, э, берете ответственность?

— Что творю? Какую ответственность? — продолжал стоять там, где и ел, Селиван.

— Заварили кашу, подбиваете, чтобы дети не ходили к нам в школу, нарушая, э, закон о всеобуче...

— Зачем же так? — вспыхнула Галушкина.

— ...ожидаем детей, волнуемся: где они, что с ними? — не обращал на нее внимания Агарков. — А они, оказывается, и не думают учиться. Ведите нас в свою школу!

— Никуда я вас не поведу, — наконец, обрел речь Добарин. — Да что, Елена Васильевна, у вас там стряслось?

— Хорошо же! Елена Васильевна, нам с вами делать тут больше нечего. Сейчас мы, э, уйдем и вернемся с официальными лицами. И, учтите, в школу все же войдем!

А вот и песчаный откос. За черемухой потянулись полузросшие окопы, в конце чернел вход в землянку — солдатская или партизанская? Серая жаба, раздув бока, уставилась стеклянными шариками. И тут же изъеденные ржавчиной пустые гильзы, колючая проволока.

— Наша или фашистская?

— Наша, — сказал Усыня уверенно. — Отец говорит, фашистская — в один провод, ребрастый, а эта двойная и круглая.

Все стали озиаться вокруг; всем сделалось не по себе: а вдруг откуда ни возьмись фашисты? Оттуда, из лощины, из-за разваленной ивы. Лезут и лезут. А патроны кончаются, а миномет заклинило, одни гранаты. И раненых сколько! Все ранены.

— По фашистам — огонь! — закричал, выходя из себя, Васька Усыня и давай швырять во врага что попадет: комья глины, траву, Петькину шапку. — А ты чего делаешь, почему не стреляешь? — повернулся Усыня к Ивашке, тот сидел, обхватив голову руками.

— А я земля, я горю, и мне страшно, — смотрел на него печально Ивашка.

— Тебе страшно, когда кругом бой?!

— Я земля, — сказал едва слышно Ивашка, — и на мне все убитые. Нет, они не убиты, они просто лежат и вот так защищают землю, вот так! — И Ивашка упал, обхватив руками все перед собой.

А потом все лежали лицом вверх. И березы над ними качались макушками, и текли облака, и летели над ними утки, и тут же в кочке, что под затылком, комарик ворочался, вот устраивался, вот шепуршил.

— И никакие это не кочки, — вдруг поднялся Ивашка. — Здесь же партизаны сражались!

Все так и онемели, повскакали, оглядывались.

— Айда домой, — первым пришел в себя Васька Усыня. — Айда в Селиванову школу.

— В Селиванову школу!.. В Селиванову школу!.. — покатило по лесу эхо от партизанской землянки.

...Селиван снял с крючка пиджак — коричневый, в мелкую клетку, который обычно надевал на уроки, тряхнул от въевшейся пыли и вышел во двор. У штaketника стояла кобыленка, понутив голову, касалась губой дорожной пыли.

— Читаешь газету, милая? — заторопился к ней Селиван.

Вожжи, брошенные на штaketник, намотались на колесо и затянули животному шею. Селиван распустил их, бросил с телеги лошадке сенца... «Не уехали, — подумал он о непрошенных гостях. — Значит, еще заявятся». Проходил по школе, в ней не хватало самой малости: жизни.

Подсел к крайней парте, положил голову на холодную крышку, и перед глазами все поплыло: оболешевший автобус, тугие, редкие выхлопы двигателя, возникли детские голоса — все ближе и ближе, уже под самыми окнами, на порожках. И вот по веранде проколола дробь резвых ног. Селиван открыл веки...

— Селиван Давилыч! — стоял на пороге Ивашка, а

за ним — Маша, Петя, Филипп, Усынин. — Мы опять... мы к тебе...

— Да вы что? — испугался учитель.

Селиван ведет снова урок. Вот, оказывается, что бывает — нет жизни без них, дыхания нет, чем дышать?

— Повторение. Так, первый класс: Тиганов Ваня, что было задано на дом?

Вася Усынин пересказывал про парад Победы на Красной площади, но Селиван уж не слышал его. В окно хорошо было видно: сюда направлялись люди. Оболевцы — Агарков и Елена Васильевна, из Ярища — кладовщик Зобин и Бодраков, председатель колхоза.

— А-а, вот вы, голубчики, где? — распахнулась дверь и, как из-под земли, перед ними вырос оболешевский директор. — Ну, что я вам говорил? — обернулся он к тем, кто был сзади него. — Вот они где, смотрите!

Лицо Агаркова стало жестким:

— Вы, Селиван Данилыч, ради личного благополучия ставите на карту судьбу этих маленьких граждан.

— Только не при детях, только не при детях, — аж приседал от волнения Добарин. — Я вам все объясню...

— Подойди ко мне ты вот, малыш, ну да, ты, ты! — протянул руку к Ивашке Агарков. — Какой синеглазый.

— Не трогайте меня! — увернулся от его ладони Ивашка. — В вашу школу мы не пойдём, мы пришли в свою школу! Не трогайте нас, не трогайте.

— Хорошо, хорошо, — сказал Бодраков примиряюще. — Ну, а в нашу, Ярищенскую, вы, надеюсь, пойдёте?

— Ах, так? — побледнел Агарков. — Вы все тут заодно? Елена Васильевна, нам тут делать нечего! Идёмте отсюда, а им пусть разъясят соответствующие инстанции...

— Ничего, Данилыч, носа не вешай, — подмигнул учителю Бодраков. — Бог не выдаст, свинья не съест. — Голос председателя был далек, доходил до Селивана, как из водосточной трубы. — Придумаем что-нибудь, гори оно синим пламенем. Выборы в местные органы надвигаются взамен выбывшего депутата. Мы тут агитпунктик пока откроем, а там, может, и клуб — кино крутить близлежащим поселкам. Заведующим тебя оформим, не возражаешь? Ну вот и лады...

С утра пораньше Селиван пришёл на бригадный двор за подводой. Уразумев наконец, для чего учителю ло-

шадь, Феоктистыч — конюх бригадный — указал на тощего, в толстых бабках хитроватого мерина. Тот придремывал на солнышке, галка ходила у него по спине, клювом копалась в хребтине.

— Этот не стопчет, не перевернет, — держал повод одной рукой, другой — помогал заводить хомут Феоктистыч. — Этим даже цыгане погребовали... Ну, милай, комолай, послужи еще родине. И чего, Данилыч, самому детишек везти? Вон Федька Безлепкин ездит в Ярище за хлебом почти каждый день, заодно бы их и отвозил.

Сегодня Селиван решил отправить в Ярище детей самолично. Во-первых, пусть все видят, во всей этой истории с пропусками уроков он ни при чем. Во-вторых, ребята, наконец, переступят школьный порог, это точно. А что дальше будет — увидим.

Гремела по осохшему, давно без дождей, проселку телега. «Что с Ивашкой? — туго держал Селиван вожжи. — Тихий такой, неужто заболел?.. Можно ли устраивать такие сцены при детях? Это же как кнутом по нервной системе. Он же хрупкий, чувствительный мальчик»...

Перед мостиком мерин неожиданно остановился, встал, как мертвый, — ни тиру, ни ну. Ни вожжой, ни словом, хоть убей. Селиван растерялся.

— Бензин кончился, — хихикнул Филька-Филюшка.

— Зальем бензобаки, — оживился Ивашка. — Дай-ка хлеба, — повернулся он к Ваське Усыне.

— Я уж съел, — спрятал Васька глаза.

— На, — подал Ивашке кусок свой Петька Чудюдин: вот у кого всегда найдется запасец.

Ивашка подобрался к голове мерина сбоку, сунул хлеб ему прямо в зубы. Мерин открыл сперва один глаз, потом другой — у, хитрющий какой, дармоед, не косись, не оглядывайся.

— А теперь давай двигай, — провозгласил Ивашка.

Мерин нехотя привел в движение сначала свои разбухшие бабки, потом переступил на месте, затем, мотнув гривой, сделал решительный шаг — колеса взвизгнули, телега дернулась и пошла.

— Здóрово, — восхитился Селиван, уступая местечко Ивашке рядом с собой.

— Старый знакомый, — вздохнул, усаживаясь получше, Ивашка.

— Я их на конюшне всех вижу наскрозь, — похва-

лился Филька, тоже лошажник.— Всех объездил, пообскакал.

— Ты мерина и забаловал, а то кто ж,— поддел Филюшку Васька Усыня.— Батяка мой говорит, мерин такой забалдуй стал, такой мудрой, никакой уверенности, что доедешь обратно.

— Сам ты забалдуй,— обиделся Филька.— У него, впшь, зубов уже нет, ему хлеб нужен, а твой батяка и соломы жалеет.

— Коровам надо, надои подпирать, — держит сторону отца-бригадира Усыня.— За надои по головке не глядят.

— А животную надо кормить,— встречает Маша Чернушка.— Ты, Усыня, свой кусок уж слупил и на Петькин вон зарисься.

— А я с лошадьми страсть как люблю,— улыбался Филька.— Скачешь-скачешь, а поля вокруг так и вертятся. Ласточку пробовал обскакать...

— Есть, ребята, такие школы — жокейские,— повернулся Селиван лицом к Ивашке,— специальные конезаводы, кони — скороходы, бегуны — быстролеты. Вот закончит Филя сначала простую школу, а потом — хоть куда. И вернется наш Филюшка, Филипп Ивантеихов, охлопочет тут ферму конноплеменную, станет первым наездником, гордостью всего колхоза, района, а может, и области. И устроит Бодраков здесь ипподром...

• С тем за разговором и доехали до Ярища.

Назад мерин доставил Добарина враз.

В тот же день Безлепкин привез обратно Ивашку с температурой. Селиван, узнав об этом от Феоктистыча, решил утречком заглянуть в хату деда Петраки — проведать Ивашку. Тут у них только что пронеслась домашняя буря, остатки ее еще видны были на лице бабки Гали и особенно Мили.

— Вас, молодых, не учить — вовсе белый свет перемутите,— ворчала, как всегда, старая и тут же, без всякого перехода, обратилась к Селивану: — Вон хоть кум скажет, ладно ли это при таких-то хоромах к преду идти просить угол? Значит, бабка с отцом черт с ними, можно деру от них? А мы-то с Трофимом возрадовались, духу нам придало, что вы туточки, дома... Не перебивай! Я — за мать говорю, вместо Стюши. Мать на дело вас наставляет, мать плохого вам не пожелает. Егор здесь у нас не за холодную воду, а там и подавно, сама тянись

да вытягивайся. Знаем мужиков этих, всё одной меркой мерены, прости меня, господи.

— Где Ивашка-то? — спросил, наконец, Селиван.

— Да вон,— вздохнула Ивашкина мать и кивнула в горницу.— Лежит, сварился... Метался ночью, все бредил, директора какого-то прогонял. Наверно, позавчера полежал на земле, Маша говорит, в Козюлькиной роще играли.

— Хвороба из ничего не возьмется,— вставила свое бабка Галя и махнула Селивану: да проходи, чего там, проходи.

Ближние окна были занавешены шалью. Ивашка лежал, разметав кулачки по постели. Глянул на Селивана — глазенки так и засверкали. Изменился как, спал с лица за какую-то ночь.

— Чего это ты, богатырь, болеть вздумал? — положил Селиван руку Ивашке на слипшиеся волосенки.

— Я только немножко,— сделал Ивашка движение головой,— поболею и встану.

— Лежи, лежи,— придержал его Селиван.— Коли положило, лежи.

Селиван приоткрыл форточку, переставил со стола на тумбочку, поближе к Ивашке, стеклянную банку с ромашками. Сидел молча, не отрывал глаз от Ивашки.

Тихо-тихо, на кухне тикают ходики. Селиван придвигает табуретку, кладет руку Ивашке на одеялку, на Ивашкино тельце под одеялкой, и тут же огненная детская ручонка взлетает и обжигает Селивану ладонь. Так вдвоем они могут быть час, два, до самого вечера. Селиван слышит, как чем-то горячим обливает его изнутри, так на него уж давно никто не смотрел, с той поры, как не стало Клавдии. Так Селивану больно и хорошо, что дышать невозможно, просто сил никаких нет дышать...

Селиван отворачивается, чтобы Ивашка не видел его лица, шепчет, чтобы только что-то сказать:

— Чего разболелся, вставай.

— Вчера мамка с папкой ругались,— еще туже сжимает Селиванову руку Ивашка,— а я лежал и не слушал, они ругаются, и я не хочу больше тут с ними жить.

— Зачем же так? — вздрагивает Селиван.— Ты лежи, Ивашка, не надо, лежи.

— Селиван Данилыч, я все думал, почему у меня нет военного дедушки, а потом понял: он погиб на войне...

— Э, да что там,— машет рукой Селиван и уже не отворачивается, смотрит на мальчишку глазами, полными слез.— А-а, какой я теперь тебе, братец, учитель, видал?— говорит он и держит голос, боится сорваться.— Ты зови меня так... просто дедушка.

Бабка Галя всхлинула на кухне, отерла ладонью лицо.

— Я — Земля, я — Земля,— откидывается на подушку Ивашка.

— Тебе плохо, ты бредишь?

— Нет, я не брежу, и мне хорошо. Я — Земля, я лечу и лечу-у... лешая птица несет меня к самому Солнцу-у-у...

Тихо-тихо, на кухне тикают ходики.

— Слышь, Ваня,— кладет Селиван руку на плечо мальчику и чувствует, что уже не может молчать, что, если сейчас не скажет чего-то такого, может, самого важного в своей жизни, то уж не скажет потом никогда,— слышь меня?..— Мальчонка поднимает глаза на него, смысленый мальчонка.— Плохо на свете жить одному, тяжело, понимаешь?

— Понимаю,— прикрывает веки Ивашка.

— То хоть работа была, забирала силы, а теперь что? Вот тут, Ивашка, кабы яблоко было, просто красное яблоко, а то ведь сердце. Хоть и подношенное, а все равно шевелится, стучит... Жилось и не думалось, что стану когда-нибудь старым, не нужным...

— Какой же ты старый, ты еще молодой,— шевельнул пальцы Ивашка.

— Годы свои не замечал, а теперь люди дали заметить. И оно бы все ничего, только вот что обидно: силы у тебя еще есть, опыту сколько, приспело понятие... Ты меня слышишь?

— Слышу,— вздыхает Ивашка.

— Так вот я и говорю им — из области, из академии,— продолжает Селиван уже поспокойнее.— Вам, говорю, это эксперимент, вам себя показать надо, а для меня это — жизнь... Мыслей всяких, научных терминов — целое море, а суть, она в чем? В честной работе. Ты, говорят, Селиван, детишек учишь, как сказку рассказываешь. Это, говорят, очень важно в современном механизированном веке, когда всякие эмоции с детства у всех выщелачиваются... да-да, Евгений Сергеевич из института усовершенствования так и сказал, вы-ще-лачивают-

ся... В общем, ты, говорят, самородок, педагог с божьей искрой, талант. Твое яблоко, говорят, упало с макаренковского, а то, может быть, с сухомлинского дерева. А по правде сказать, ниоткуда оно не падало, само здесь, на нашей земле, выросло... Жизнь, Ивашка,— это как сказка, музыка, все вокруг играет, поет. Я когда только начал в школе, так детям все разрешал, пусть растут, думаю, как трава. А они на учительском столе у меня чечетку отбивать стали, при мне частушки навозные петь. Это уж постарше, когда-когда понял, как надо с детьми: и чтобы каждый развитие свое получал, и чтобы на столе у тебя не плясали... Большие я тогда, Ивашка, планы своей жизни строил, село свое хотел преобразовать, чтобы под каждой крышей завелся свой человек, чтобы, как червячок, точил в доме: не воруй, не обижай слабого, не хлещи водку ведрами... Что и говорить, народ в нашем селе забалованный исстари. Мимо нас в город тракт проходил, называли тогда его «свиной дорогой», по нему гоняли всякую живность, в том числе и свиней. Ну, наши кое-что и прихватывали. Это уж как заведется в дому древоточец, так меняй все полы. Вот и я тогда решил начать все со школы, а потом в селе все само собой, мол, изменится...

А эксперимент придал интересу нам с Клавочкой. Мы с ней так за это дело схватились, ночи, бывало, не спали. А еще, конечно, сколько ей женского дела в хозяйстве. Вот она до времени и померла, моя Клавочка, Клавдия Николаевна... Я ее любил, она тихая такая, безответная, ясное солнышко. Заболеет, бывало,— слова жалобного не услышишь. А сама надо мной лучше матери: как ты, Селюшка, что-то сдал с лица, ай желудок, ай печень?.. А сама вот так млела-млела, у самой-то, оказывается, было давление. Ох, и трудно, Иван Егорыч, доживать одному. Значит, счастьеце мне такое, плани-и-душка-а...

Тут голос у Селивана пересекается, Селиван взглядывает на мальчонку — тот лежит без движения, спит.

— Слава те,— вздыхает Селиван.— Может, этак встанет на ноги поскорее... А я, Ивашка, вот что надумал,— говорит Селиван, ему уже спящему,— ты и завтра дома побудь, отлежись, а я сам в правление схожу, врача участкового вызову... Я с детства, бывало, как остужусь, так бабка меня вот как лечила: курицу сварит, зверобоею от-

топит, русскую печь нажарит — курицу в зубы, чаем запью и на печку. За ночь сто потов сольет — утром встанешь, как новенький... А еще труднее, Ивашка, говорить людям правду в глаза, а надо. Спишь, сынок? Ну спи, спи тигановское семечко — орлиное племечко, спи...

Селиван натягивает одеялку на Ивашкино тельце, сидит строго прямо, прислушиваясь к звукам, которые доходят с улицы сюда через форточку... Где-то морем плывут корабли, где-то в цехах тракторы собирают, книги печатают, делают и проверяют жуткость эту — нейтронную бомбу, а вчера завезли в магазин ярищенский хека — распрекрасная рыба, дочь морей-окиянов. Сашка Усын — Васькин брат — пригнал утром из города «Кировца», Чигринева Наталья — библиотекарша — книжки свежие привезла; и только школа в Марусиных Ключах у всего на отшибе...

Пронесли из конца в конец Тигановки магнитофон. Травянистым навозным духом потянуло из форточки, тонко задзенькало в жесть молоко. А из-за посадок на тихие деревенские звуки легло тарахтенье мотора — шла вечерняя дойка. Идет, движется во всех своих хитросплетениях жизнь, живут люди днем нынешним, будущим днем, и только ему, Селивану, не нашлось в них живого местечка...

Цепенея, клонится Селиван над Ивашкой, собирает-ся уйти и никак не уходит.

На кухне прошуршало, перекатилось «ку-ку», «ку-ку», «ку-ку» и запнулось.

— Сломалось? — вскидывается Ивашка.

— Как раз, шесть часов, — успокаивает его Селиван и, боясь скрипнуть половицей, выходит на кухню.

Осень. Едва солнце в тучку, как у рта уже вьется парок. Где-то далеко, над Арысь-горой, цедится первая звездочка.

Ссутулясь, Селиван уходит в конец Тигановки, туда, где в Марусиных Ключах к школе лепится один-единственный дом.

— Ох, да что же мы, клуци, — смотрела вслед учителю бабка Галя. — Молочка парненького не налили человеку. Вон в ведре принесла.

— Я сейчас, сейчас, — кинулась Миля к бабкиным кубанам, насаженным по всему двору на штакетины, словно чьи-то пустые бритые головы.

XI.

Егора схватило опять прямо на картофельном поле. Шефы из Алатыря, с асфальтобитумного завода, помогали убирать картошку и ссыпали ее мелкими кучками. Егор, доставив сюда им мешки, предложил сносить все в большой бурт и частично затаривать. Старший из шефов заспорил, Егор горячо стал доказывать свое. В конце концов они пришли к общему мнению, но Егор почувствовал себя плохо.

Он отлеживался в березовой посадке, на травке. И когда боль поутихла, Бронькин «ирбит» закрутил его с прежней лихостью по полям, отдаленным бригадам.

В полдень с потребсоюзовской машиной Егор очутился в Алатыре. Двор овощной базы, куда была доставлена колхозная картошка, примыкал к райбольнице. Вырвав полчаса, он заскочил в приемный покой: так, на всякий случай, что скажут врачи. Оказалось, так просто ничего не бывает. Волевой, энергичный, в темных квадратных очках хирург — доктор Варенцов, сделав наружный осмотр, категорически настоял на обследовании. И вот люди в белых халатах сделали Егору первый анализ.

После гонки, которую представляла это лето вся его агрономская жизнь, на него свалилось белое безмолвие: белые стены, белые тумбочки, даже металлические прутья на койке и те выкрашены в белое. Дальше ехать, кажется, некуда. И Егора потянуло на размышления, ничто сейчас так не волновало его, как Селиванова школа. Что-то новенькое появилось у Бодракова: не пустить детей в Оболешево, но ведь не оставить их и в Тигановке. Оболешево или Тигановка — какая, собственно, разница? Все равно детишек отдавать в интернат, с таких-то лет отрывать от семьи...

Егор захотел позвонить в Ярище, чтобы знали, где он и что с ним; телефон, оказывается, не работал...

Егор не ночевал дома. Обычно он сообщал об этом заранее, а тут даже Бронька, проезжая к полудню через Тигановку, ничего вразумительного не сказал Миле. Лишь пожал плечами да загнул такую двусмысленность («в крыше над головой нам, красавцам, кто, извините, откажет?»), что Милю прямо-таки затрясло. Катюшки-

ны письма создали Броньке известную репутацию. И если рыжий намекал, в этом, стало быть, что-то было...

Прибегала Рогалиха: ну как муженек? «И не обьвится,— вздохнула.— Глянь, цела хоть сберкнижка?» — «Чего-о?» — «А то! Говорят, снял денежки со сберкнижки и деру с оболешевской девкой... на курорт,— выкладывала она все до конца.— Да ты особо не убивайся, придет. В отца, должно быть, такой-то гончарный, гордый блудить. Ничего, погоняет — вернется». — «Да н-нет, б-быть не может», — стояла Миля перед ней растерянная, почти со слезами.— «Ну тогда... это... уехал куда по письму? — задержалась, уходя, Рогалиха.— Письмо почтальонка привозила на ферму, доярки ему передали».

Егор не явился домой и ко второй ночи. Бабка Галя осталась тут ночевать. Ужинали поздно, ждали хозяина. Миля вышла за порог: в ночи прислышался дизель. Успокоилась отчего-то, прошла за полог, прилегла к Устинчику. Только стала прикрывать веки, как бабка шорохнулась на печи, заворчала:

— От безголовые, от неудельные! Молодые эти, право слово, жить не могут, кружат друг дружку... И Егор этот когда перебесится, прости меня трижды, господи...

Лежала Миля с открытыми глазами, ворошила всю жизнь свою с Егором: «В последнее время совсем другим стал, слова ласкового не дождешься. Уж и забыла, когда глядел на нее, как когда-то. Если так ему опротивела, зачем тогда и жить?.. А Ивашка, Устинчик? Им отец нужен, как это без отца?.. А ему? Как это от живой жены когд-то искать?..» И Миля всматривалась в дверь так упорно, с такой неестественной силой, что вспыхнуло все перед ней электричеством, на двери отпечатались два белых диска — ее собственные глаза.

— Кыш, черти бы тебя! — прогнала бабка Галя со стола кошку, которая опять там, на кухне, перекинула крынку.

Пора подниматься, бежать на ферму. «Может, там что-то знают, письмо все-таки передавали? А может, с ним что случилось? Лежит где-нибудь уже неживой, остывает тело, и нет у детей больше отца, буду растить их сама, безотцовщину»...

Подоткнув под Устинчика одеяльце, Миля вышла во двор. Слушала, как в зыбком, молочном рассвете где-то у Ивантеиховых бегал пес по цепи, а совсем далеко, за Арысь-горой, буксовала машина — редела, тужилась,

бедная. И вот поближе, должно быть, на ферме, затахтел дизелек. Спихватилась Миля: доярочки уже на работе, пора и ей туда к ним. Шла, выбирая впотьмах дорогу, а сама думала: «Вернусь, а он уже дома, как ни в чем не бывало, сидит и только посмеивается... Ну ж я подсыплю ему, я ж на нем отыграюсь! Хорош, голубчик,— скажу ему,— завез нас сюда, а сам, как молодой, неженатый, по девкам мотаешься? Что ж ты жену свою в гроб вгоняешь, она почь не спит, чего только не передумает, может, тебя кто убил, может, ты утонул где, с моста сбросили, с сердцем где-нибудь завалился — мало ли что, все бывает, а ты — пате, вот вам, явился. Так-то вы, мужья, о семье беспокоитесь»... Распалаясь, Миля шла все быстрее, почти бежала. Вот и ферма. Дизелек тарахтел, горела на столбе электрическая лампочка, но в тырле уже властвовал утренний свет, лужу переплывали холодные облака. Доярки работали в резиновых сапогах — ловкие, как заведенные, руки сами знали, куда что поставить, что из чего куда перелить.

Прежде всех закончила дойку Чернова Нюрка. Вытирала руки и на Милю бесоватыми глазками зыркнула, сказала погромче, на всех:

— Правда ай нет? Мужик твой деру дал с оболешевской девкой?

Миля как стояла, так на бидон и присела.

— Не трепись, этим не шутят,— набросились на Нюрку доярочки.— Откуда взяла-то хоть?

— Земля слухом полнится, на «вертолетах» привозят. Все денежки, говорят, со сберкнижки в карман и айдате.

— Да у нас и сберкнижки-то нет,— слабо дыша, переводила взгляд с одной на другую доярку Миля.— Еще не завели. Маме деньги все отдавали.

— Ну и дура! — отрезала Нюрка.— Деньги бабе держать надо вот где — в жмене. Тогда мужик будет перед тобой всегда, как жеребчик: дай па курево, дай па бутылочку. У бабы бразды, поняла? Баба в авторитете. У-у, телушка...

— Письмо Егору передавали? — собиралась с силами Миля, спрашивала, а сама боялась ответа.

— Вов Нюрка передавала,— подбадривали ее доярочки.

— Письмо-то? Из совхоза какого-то,— подтвердила Чернова Нюрка.

Больше Миле было не нужно от них ничего.

Дома все было ей не мило: в этом Егор ходил, за это держался, тут сидел, там лежал. Газета па тумбочке — им прочитана, ложка на столе — им положена. Шифоньер открыла — костюм синий в полосочку: на свадьбе был в нем, Ивашку в ЗАГС ходили вместе записывать — тоже в нем был Егор; в Москву ездили, в Большой театр попали однажды — Егор был опять же в этом костюме... Если уж ехать в деревню, так не сюда, где все ему друзья да подруги, а к институтскому товарищу, в тот совхоз, на новое место, где школа. Не мерять бы Ивашке с таких-то лет километры... «А может, письмо это и сорвало Егора, по письму полетел? — успокаивала она саму себя. — Так оно скорее всего и случилось».

Миля сунула игрушку Устинчику, присела к окну, стала качаться-раскачиваться, словно руку сожженную нянчила. Вдруг шаги по крыльцу, подскочила — не он! Баба Галя внесла дровец. У себя управилась и вот к ней сюда прибежала. Дома день-деньской крутится, не присядет: поросеночку дать, вычистить у коровы, сенца из стожка крюком надергать, угля наколоть, вот какие кущици, черти бить топором умахаются. И здесь, спасибо ей, помогает...

Взяла Миля косу в руки — соломки поросенку на подстилку подрезать, схватила плетушку, и та попалась с оторванным дном, так свекла в нее и провалилась. Ушла Миля в дом, присела за стол напротив того места, где обычно сидел Егор.

Постучали в окошко:

— Это я, Нюрка.

— Чего тебе? Заходи.

— Некогда, — замотала та головой. — Ты, девк, давай собирайся. К Селивану бабы идут, школу мыть. Пойдешь?

— Пойдет, пойдет, — ответила за Егорову жену бабка Галя и уже бежала к шифоньеру, достала Миле ее новенькое пальто — болотного цвета, с коричневой норкой, вместе с Егором выбирали в универмаге. — Пойдет, пойдет, а то как же.

На Селивановой школе уже красовалась новая вывеска — белым по красному полотну: «Агитпункт». Сюда уж нагрянул народ: кто мыл полы в коридоре, кто по углам гонялся за паутиной, кто пилил доски, а кто из этих досок сбивал кабины. Селиван стал носить дрова из

сарая. Сараем служила старая школа — бревенчатая, полувросшая в землю, никакого вида перед повой, из силикатного кирпича. Лес для той, прежней школы пилил в лесах, возможно, и дед Колчак, теперь же вся она до бревнишки скоро уж пойдет на дрова.

Селиван затопил плитку и стал носиться вокруг экспонатов: это, глядите, не зацепите, там не сядьте, это не оброните, не намочите водой, не смахните со стола. Кутерьма такая, содом и гоморра. Милю увлек общий переполох, она схватилась за тряпку полы мыть в классе, где бы надо было учиться Ивашке, да Нюрка отняла, подала ей другую, поменьше: протирать парты. Все позабылось, что угнетало душу, так увлекло ее дело, старалась, чтобы на парте не осталось ни подточинки, ни чернильного пятнышка.

Протирали вдвоем одну крышку: она — с этого края, Нюрка с другого — сошлись посередке, локоть о локоть стукнулись. Нюрка кивнула, подняла глаза на Милю, улыбнулась:

— Ну, что обижаешься?

— За что?

— Да за... книжку сберегательную...

— Да ты что? — искренне улыбнулась ей Миля.

Чаша терпения переполнилась, дольше Егор быть в больнице не мог. Он уговорил нянечку — тетю Домну, та вынесла ему из кладовки одежду, и еще одним большим здесь в тот день стало меньше.

Мысли о Селивановой школе, приведенные в порядок за двое суток больничного уединения, заставили его прийти в райисполком. А все это, очевидно, сделала интонация, с какой Лихопековым говорились слова о предрике Полянской Полине Ивановне — «женщине без предрассудков».

Она приняла его. Выслушав, пообещала разобраться во всей этой, как ей показалось, некрасивой истории. И, торопясь на сдачу многоквартирного жилого дома, как бы между прочим спросила Егора про Лихопекова:

— Ну, как он там? Лично вам заместитель нравится?

— Мало пока контактировали, — ответил Егор ей уклончиво.

— А вы контактируйте, не стесняйтесь, — улыбнулась Полина Ивановна.

Последним рейсом оболешевского автобуса Егор добрался наконец до Тигановки. Проходил мимо Селивановой школы уже в сумерках; удивился, увидев в одном из окон электрический свет. Боясь хрустнуть хоть веткой, он пробирался через сад. Приподнялся на цыпочки: посредине комнаты на табуретке сидел учитель, на коленях его был баян — сюда, к Егору, черно-белыми пуговицами. Вот Селиван положил ухо на корпус — дрогнуло от едва уловимого воздуха, звуки соединялись во что-то знакомое, близкую с детства музыку. Егор приложил ухо к раме...

После разговора с Бодраковым Селиван получил для агитпункта из ярищенского клуба полный комплект: проигрыватель, пластинки к нему и даже баян марки «Мелодия». Все прежние «ключари», которые только и делали, что открывали и закрывали дверь культурного очага по великим празднествам, оставляли баян в покое. Селиван обследовал его и остался доволен.

Когда-то, еще в педтехникуме, он играл на гармошке, чем, пожалуй, и тронул сердце юной сокурсницы Клавочки. И вот сейчас — а куда денешься? — эти черно-белые пуговицы и узорный бордовый развод возвращали Селивана во времена его молодости.

Селиван положил на колени бархотку, аккуратно расправил ее, на бархотку опустил баян — инструмент! Делали же люди, работала фабрика: дерево и металл; металлические голоса, чтобы цели, деревянный корпус, чтобы отзвучивал, а все вместе — в ладу, душа в душу, мелодия. Пальцы только вот не попадают, да ведь теперь все не то: распухли суставы, ладонь бесчувственна, осушена кисть. Третий день подбирал он этот вальс.

За окном темно, а тут топится плитка, в чугушке квочет картошка в муцирах.

— Тра-та-та, тра-та-та, — отбивает пяткой такт Селиван, пальцы едва поспевают, и Селиван тужится, выжимает до поту в себе эту способность, чтобы попевали. Егор улыбнулся, увидев, как учитель с досады пнул ногой табуретку. Вот он долго усаживается, поправляет нервно бархотку, закрывает глаза. Нащупывая пужную ноту, силится поймать ее, протянуть в музыку, мизинец же левой, сломанный, очевидно, когда-то, торчит, не сгибается, тычется куда попадая, и важная, просто необходимая нога норовит вывернуться, ускользнуть, раствориться в хаосе звуков. Усилием воли Селиван выровни-

вает строй; смахнув со лба пот, заставляет пальцы двигаться, бегать; пальцы правой сбиваются с черно-белых пуговок, левая — мертво лежит на басах. Самое трудное — соединить руки, чтобы они работали заодно, врозь и вместе, в едином порыве. Наконец, из этого хаоса отбираются самые важные, просто необходимые ноты, они согласуются, строятся, возникает мелодия — бархатная, трепетная, как пламя свечи: «Тихо вокруг»...

— Ти-и-ихо вокруг... — в такт баяну шевелятся Селивановы губы.

И тихо вокруг, во всей школе. «Не обращай внимания, это я капельку сбился, — едва слышно шепчет сам себе Селиван. — На восточной войне, на далекой земле погибли солдаты. Просто люди, просто наши ребята. И мы живем, а тех ребят нет. И только сопки скорбят о них, и волна амурская несет эту скорбь... Белая волна, белая волна плещет, величава и вольна»... Тихо вокруг, мглой покрыты тигановские холмы. Тихо в Марусиных Ключах, во всей Тигановке, в Селивановой школе, так тихо, что звенит воздух, кровь ходит толчками в ушах.

— А написал вальс простой человек, капельмейстер, дорогие товарищи, — прикрывает Селиван ладонью баян, так скажет он на концерте своим деревенским, когда придут они сюда в агитпункт. — В знак скорби нашего народа по погибшим своим сыновьям...

Вот из-за туч блеснула луна, и Егору стало слышно, как, положив голову на баян, плачет прямо в басы Селиван... И своя, личная боль кажется Егору сейчас такой маленькой, малозначительной.

Боясь хрустнуть веткой, все так же на цыпочках отходит Егор от окна.

— Дочечка-а, — окликнула Милю бабка Галя. — С ложкой серебряной ничего не делала, никуда не кунала?

— Никуда, — откликнулась Миля. — А что?

— Гляди, почернела как, глянь, — вертела в руках бабка Галя единственную в доме серебряную вещь, подаренную им с Егором друзьями, когда у них родился сын — первенец Ивашка.

— Почернела, — удивилась и Миля.

— Почернела, — вздохнула бабка Галя и прибрала от

греха обратно в футляр. «Слава богу, Ивашка в Ярище, не где-нить, а в этом, как его... интернате, учителя доглядят», — бормотала она, и ее тянуло взглянуть в «святой угол», где при бабке-покойнице тлела лампадка.

Только бабка Галя убралась восвояси, как в сенях раздалась привычные, родные шаги — Егор! Миля так вся и встрепенулась, Ивашка тоже поднял голову и смотрел на мать. Лишь Устинчик продолжал колотить царевну-лягушку по спинке кровати.

Егор сбросил у порога сапоги и прошел в горницу к зеркалу. Стоял, разглаживая пальцами морщины под глазами на темном своем, жестковатом от ветра лице. Откинул назад светлый слегка вьющийся чуб.

— Чегой-то ты приглядываешься, ай жениться в другой раз собрался? — прилегла Миля сзади подбородком к нему на плечо.

Егор ел жадно, проводя деревянной ложкой по всей миске. Борщ был горячий, из печки, при каждом глотке Егор смешно, по-мальчишески морщился.

— Мужик называется, — Миля сидела напротив и смотрела, как ходили в еде его крепкие, покрупневшие руки, как двигалась в просвете рубахи загорелая волосатая грудь. — Я к тому, — смягчаясь, уже почти ворковала Миля, — все вы такие мужчины: сами в сторону, женщин вперед выставляете. А ведь ты, Егорушка, не последняя фигура в колхозе. Что ж ты Бодракову до сих пор не заявишь о Селивановой школе? Так Ивашка и будет шлындать или жить в интернате?

Егор продолжал есть молча, сосредоточенно, знал, о чем думала сейчас Миля, конечно, вовсе не о том, о чем говорила.

— Вишь? — показывала она на печку. — Опять идолек домой приволокся, завтра вместе идите в Ярище... Ну егоза! Ну чего тебе нейметя? — смотрела она уже ласково за занавеску, из-за которой выглядывали Ивашкины бесенята-глаза. — Мамку с папкой давно не видал? Папку разве увидишь, папка тоже у нас...

— Егозза-а, х-хи, — нырнул Ивашка обратно за занавеску, на еще не настывшую за день лежанку.

— Видал, отец? — подняла Миля Ивашкины резиновые сапожонки. — Продрались в носке. Либо камень сбивал где... С камнем, спрашиваю, где играл сапогом?

— Они сами порвались, — раздался голос уже в глубине лежанки. — О военную проволоку зацепились.

— Горе ты мое луковое,— сокрушенно вздохнула мать.— Что теперь с сапогом-то делать? Сапоги новенькие, а хоть выкидывай... А может, Ивашка наш пусть годочек дома пока посидит, а, Егорушка? Подрастет еще, как ты думаешь?

— Дома не буду сидеть,— раздалось басовито с печки.— Лучше буду ходить.

— Видал, отец? — кивнула Миля Егору.

— С характером,— подтвердил отец.— Ты бы ему чепить собрала туда, в интернат.

Миля наливала в банку сметаны, клала в тряпицу творожку — все от бабки Гали, та пока что снабжает, кормилица.

— Баба Галя,— сообщила она Егору,— не любит этот интернат. Собирает малого — изворчится. «Ему туда пхаешь-пхаешь,— говорит,— да все прахом — то киснет, пропадает, выкидывай, а то мыши рукастые половинят, ишь, повадились. Лучше бы школу,— говорит,— тут выхлопатывали. Если уж средств на наших детей не хватает, так и в самом деле,— говорит,— пустим по миру шапку, соберем Селивану на жизнь, пускай только учит».

— Будто в деньгах дело! — толкнул Егор дверь и, уже выходя в сени, бросил вслед жене: — В больнице провалялся, в Алатыре, на обследовании. Хорошо, что сбежал...

— Уедем отсюда! — бросилась Миля в горячем порыве к Егору.— Уедем, Егорушка, в город обратно, в совхоз, куда хочешь!

Он толкнул ладонью сенечную дверь, вышел наружу, под звезды. Стоял и чуял, как сквозь пиджак на него давила прохлада; после хаты хоть глаза коли, спит почти вся округа, редко, где жив огонек... Придет день такой, час такой, миг, когда за все, что мог, а не сделал людям хорошего, нужного, может, самого важного, придется все-таки отвечать.

ХII.

— Был в Алатыре, на приеме у Полины Ивановны, предрика,— встретил Егор Лихопекова.— Про вас интересовалась, как вы тут пускаете корни.

— Ну, и как сам считаешь?

Проходили мимо усадьбы, где жил теперь со своей семьей Лихопеков. Груды стройматериалов перед окна-

ми исчезли, стенки лихопековского дома уже были обложены в полкирпича.

— Ничего,— опустил Егор голову,— можно считать, заземлился.

Сегодня в Ярище, на мехтоке, царило праздничное оживление: отправляли последнюю машину с зерном. План этого года выполнен, теперь жди звонка из Алатыря с просьбой помочь соседям, пойти навстречу руководству навести «косметику» на весь район в целом.

Водитель — остренький, рыжеватый парнишка из прикрепленных к хозяйству — натянул на полный кузов брезент, поправил над кабиной полотнище «Мы победили!»

— Рейс-то какой — исключительный! Корабль на воду спускают — шампанским по борту, на здоровье, мол, пьют.

— Счастливого плавания! — искренне пожелал ему Лихопеков.

Хорошее настроение не покидало Егора. Закончив дела на мехтоке, они с Лихопековым вышли в сад. Выбрали местечко поукромнее, присели на травку. Солнце было еще высоко. Разговор получался сам собой с какой-то долей откровенности. Полегоньку улетучивались те не очень приятные ощущения, которые возникли в нем, когда они проходили мимо лихопековского жилья.

— Встречал ли ты, Егор, в своей жизни по-настоящему доброго человека? — спросил его Лихопеков.

— Да.

— Кого же?

— Добарина — учитель у нас в Тигановке. Учпил мою маму, меня. Не пришлось вот только сыпешку...

— Значит, тебе повезло... Вот мне уже сколько лет, а все вроде жить начинаю. Дай, думаю, одно одолею, перенесу, после будет полегче. Должна же, Егор Трофимыч, быть какая-то справедливость: вслед за первым испытанием не чинить тебе еще и второе, если ты был мужествен, честен и справедлив... Вот организм человека, говорят, заложен лет на сто пятьдесят, почему же уже под шестьдесят, когда по-настоящему к нему только приходят умение и опыт, организм уж изношен, и ему даже по закону на пенсию? Жуткое расточительство! Вот и Добарин этот...

— Как вы думаете, Добарин — сильный или слабый человек? — перебил Егор Лихопекова.

— Ну,— засмеялся Лихопеков,— во всяком случае, нельзя считать его сильным. Да, пожалуй, нельзя. Слишком испытывает давление со стороны, на него слишком давят. Может быть, так?

— А что, сильный тот, кто давление не испытывает? — наступил Егор на свернутый желтовато-зеленый яблоневый лист.— По-моему, Добарин — сильный человек. И сила его в том, что он любит людей и люди любят его...

Взялся откуда-то ветерок, и лист под каблуком Егора расправился и затрепетал. И листья вокруг поползли, зашуршали, свиваясь в пухлые рыжеватопыльные канаты, и канаты эти подкатывались под сирень, акации, забивались во все ложбинки, в темные уголки большого колхозного сада. Осень есть осень, золотой венец года.

Храня в груди тепло и какое-то облегчение от того, что последняя машина с зерном отправлена государству, Егор направился за сад. Вот она, и шлакоблочная пристройка к основному зданию школы,— интернат. Здесь живут и тигановские ребяташки. Кто-то подошел к окну — Ивашка, а может быть, Маша? Или Филя-Филюпка, Чудо-юдин, Усыня? Припал к стеклу носом: собираться завтра домой или не собираться? Страсть, как в Тигановку хочется! Один скажет, а все засмеются, загалдят разом: конечно, завтра домой. Домой, что бы там ни было,— дождь ли, слякоть, пурга.

Как беркут, в углу двора, у туалетов, Егор углядел того, кого надо,— Ивашку. Ивашка стоял у ракички в одной рубаше, без шапки, спелушивал пальцем кору.

— Ты чего тут? — со смущением, словно виноват в чем-то, подошел со спины к сынишке Егор.

Ивашка поднял глаза, и Егор увидел лицо старичка.

— Стою,— вздохнул Ивашка и отвернулся.

Егор вошел в комнату, огляделся: в два ряда койки, даже цветы на подоконнике, тюлевые занавески. Только вода в стеклянной банке позеленела и тюль засидели мухи, а так все хорошо, ничего. Мудрые глаза детей глянули на Егора.

— Ну и как тут у вас? — сказал он, бодрясь.— Так. «Режим дня. Мероприятия... с пяти часов отдых, чтение книг, игра в домино». И как вы тут играете, кто тут у вас чемпион? — как сумел, улыбнулся Егор Ивашке, Петьке Чуде-юдину, Фильке, Ваське Усынину. «До-

мино... От чего ушел из города, к тому, гляди ты, и пришел».

Егор выскочил вон, на порог. Следом скрипнула дверь, кто-то коснулся его плеча. Егор поднял голову: перед ним был Ивашка. Из двери гроздью смотрели и Маша Чернушка, и Усыня, и Петька Чудо-юдин, и Филюшка-Фля.

— Земляки,— как сумел улыбнулся Егор,— идем-ка, братва моя, в сад.

Присели на лавочку, чертили палкой по сырой стежке круги и квадраты, смотрели на пожухлые кроны яблонь, на блеклое, худосочное солнце, никто ни о чем не спрашивал, не говорил ни о чем. А где-то там, за двумя лесами и грядами, за семью горизонтами, была своя школа, своя деревушка, родные поля-косогоры и мама.

Егор взял Ивашку домой. Проходили мимо Устиньинской фермы.

— Зайдем? — подтолкнул сынишку Егор.

Вот здесь и работала Устинья — его мама, Ивашкина бабушка. Тут стояла ее группа коров, она и сейчас на месте. Коровки вели головами вслед, провожали тугучими взглядами, горячим выдыхом воздуха через ноздри.

В аппаратной, как мешок с комбикормом, кто-то спал прямо на шлангах, вот заводил носом, старатель. Да это же скотник Левон Ивантейхов, он же возчик кормов, моторист! Засмеялись Ивашка с Егором, а Левон как вскочил да за кнут.

— Ох, вы меня напугали, черти! — заругался Левон и пошел налаживать движок для вечерней дойки, все налаживал, а оно никак не налаживалось.

— Погоди, Левон,— сказал ему Егор.— Дай вот Иван подрастет, он тебе его и запустит.

— Побыстрее надо мне возрастать,— сказал Ивашка всерьез.— А то ты, Левон, уже скоро помрешь.

— Почему это? — приостановился Левон и, храбрясь, ударил себя кулаком по телогрейке.— Во грудь — еще ничего, как котел.

— Водку пьешь,— покачал головой Ивашка.— Бабушка говорит, пьешь без меры и про дело забываешь.

— Это верно, жру стерву,— сбил шапчонку на затылок Левон и опять наклонился к движку. Подмигнул обоим Тигановым: — Но на деле, скажу вам, это не отражается... Иначе Бодраков,— завелся Ивантейхов сполуборота,— вмиг бы подписал увольнительную. Сказал

бы, катись-ка ты, Левон, к тэттой матери. А то вон собрался я в город, в Серпухов этот, к двоюродному, дык Бодраков меня на коленках просил: ни в коем, говорит, никуда ни-ни-ни. Ты кадр у меня первостатейный, без тебя не могу, ты у меня правая... нет, ты у меня левая... в общем, я без тебя, как стакан без рук, понял? Без тебя ферма мертвая — молочко перестанет течь, детки малые в городе заплачут, старушки божьи на воду сядут, скажут, ай Левон снова запил. Нет уж, ферма наша неостановима, попробуй не подои коровок — что будет? А мотор у нас, как часы...

После этих слов движок взял и завелся.

— А чего движок крутят? — повернулся Ивашка к отцу. — Им же доят на тырле.

— Энергии нет, — объяснил Левон Ивантеихов, — линию переключают на высоковольтную.

Едва вышли из коровника, как вот они на пороге, доярочки, — подружки Устиньины. Увидели Ивашку, кинулись к нему: «Гляньте, вылитая Устинья!» Ком подкатил, перекрыл Егору дыханье. Если сейчас, сию минуту не выйти отсюда, ком этот разорвет ему горло, легкие, осколками брызнут глаза.

— Устюшин телок, — говорили доярочки нараспев. — Сейчас молочка надоим, нальем тебе, погоди.

Редко, полчаса усидит Бодраков в кабинете. Покидая его, говорит конторским обычно: «Ушел в сторону моря». Это означает, что он может быть, где угодно: на полях и фермах, в своем и соседних райцентрах, а может и просто дома отсиживаться, чуть ли не под замком: личное хозяйство тоже своего уважения требует. Не торопится Бодраков ремонтировать рацию в машине — на кой опа? Вяжет руки, сковывает инициативу.

Но сегодня Бодраков не успел уехать с утра, и вот сиди тут и мучайся. Все жилы вытянет из кого угодно этот Левон Ивантеихов — скотник тигановской фермы. В кабинете, возле цветных телефонов, Бодраков чувствует себя как-то весомее, лучше. Вот и сейчас расслабил галстук, уселся поглубже, нахохлился.

— Так что, вычеркивай, председатель, — тянул все ту же песню Левон, — выписывай меня из колхоза.

— Да где ж это калач с изюмом, Левон, про тебя испекли, хе? — смерил взглядом Бодраков его, малорос-

лого, в темном, прожженном паяльной лампой халате.— Может, на Рижском взморье ай на Кавказском хребте, у самого синего в мире Черного моря? — И, глядя на всегда сонно припухлое, а сейчас такое азартно решительное лицо Ивантеихова, тоскливо подумал: «Ну вот и плакала моя встреча с Веремеевым из «Сельхозтехники». Уедут ребята ремонтировать инвентарь в соседнее хозяйство, в Оболеншево».

— На Кавказском хребте не знаю,— возникал, как с того света, голос этого баламута Левона,— а вот на моем хребте хватит кататься, катальщики.

— Со стаканом, братец, везде одинаково, гори оно,— поморщился Бодраков.— Что в городе, что в деревне — одна тебе честь.

— Не храбрись, не бросайся людьми, пробросаешься...

— Да что там у тебя, Левон Афанасьич? — вздохнул Бодраков, понимая, что дело может принять нежелательный оборот.— Ты не хитри, не хитри. Ай с бабой чего не поделили? Хата, что ли, плохая? Так покупай в Возках у Кольки Свиридова, уж три года пустует, никак не продаст. Покупай да перевозки, транспорт выделю.

— А на какие шиши?

— От деяти! — схватился Бодраков за деревянные ручки креслица.— На какие! Сына нашел на какие шиши женить, полдеревни собрал да еще из Харькова, из Москвы...

— Ну вот денежки и, тью-тью, упорхнули... Нет, давай, товарищ Бодраков, мне немедленно открепление, я поехал.

— И куда, спрашивается?

— Ну не к Черному морю. К родичам, в этот, какого, Серпухов.

— Да кто же там у тебя?

— Двоюродный, Витька — слесарь в ремонтно-механическом.

— Так что, Витька этот у тебя князь, хоромы у него, что ли?

— Ну, не хоромы,— положил Левон шапку на стул, продолжая стоять,— а первое время как-нибудь перебьемся, а потом на производство пойду, на производстве, куда денутся, дадут. Тогда и своих выволоку.

— Н-да, — заерзал Бодраков, схватился за красную

телефонную трубку, потом за зеленую.— Ну, дак это... если что... ссуду бери, дадим, потом выплатишь... Гори оно синим пламенем, в город приспичило тебе, колхоз свой бросать. Эх ты, глянул бы хоть на себя — прима какая.

Левон Ивантеихов, скотник, оглядел себя от раскисших в навозе, сбитых в пятках сапог, до темного рабочего халата в пятнах от комбикорма и молока, но ничего выдающегося такого в себе не нашел.

— Какая же я прима? — аж рот разинул от удивления скотник.

— Какая — сигарета такая, — старался председатель подбирать неоспоримые аргументы. — Винниковская, гнилая. Кабы курская — не сказал бы, курскую, сам знаешь, все на захват. А ты винниковская, тьфу, язви ее душу, ажпик скуля сводит!

— Это почему же я винниковская? — поставил руки в боки Левон, и Бодраков понял, что дело, которое начало вроде бы заглохнуть, повернулось вспять, черти вынесли его с этой «Примой». — Ты, Финаген Ксаыч, хучь грамотный, а я человек мелкий, всю жизнь при коровах и лошадях, но я тоже человек, на «Приму» винниковскую в корне даже обижен, нельзя.

— Это я в шутку сказал, — пошел Бодраков на пятую, — это я так выразился.

— А то ведь знамя-то не с кем будет держать, — показал Ивантеихов в угол глазами. — Один со своими подлокотниками не надержишься.

— Это я к тому говорю «Прима», — объяснял Бодраков Левону как можно спокойнее, — что гнилой ты весь какой-то. Глянь на себя, морда черпая из нутра и снаружи, трухлявый, как пеня. А дети у тебя — и в кого хоть? — молодец в молодца, богатыри!

— Верно-правда, дети хорошие, — тихо радовался Ивантеихов и стал дергать плечами, всхлипывать. — Это я такой... Баба моя иной раз мне говорит, ты, гывырыт, этот... архаровец, тряпка ты, какой полы подтирают. Что ж, гырыт, по тебе усе топчутся, никакого характера.

— Ну, зачем пришел? — выбрал подходящий момент Бодраков. — Чего надо, проси. А то — «уезжаю», «двоюродный», «Серпухов». Все в один короб свалил.

— Дак я все из-за ребят своих, из-за этих... сыпов... Генку жалко, погиб на войне, сам знаешь, летчиком

был, земля ему пухом... А я для них все, из-за них хучь куда, хучь в моток,— уже откровенно плакал Левон Ивантеихов и сморкался в конец своего черного, в пятнах, халата, утирал халатом глаза.

— А то бежать из колхоза собрался, архаровец,— смахнул пот ладошью со лба Бодраков.— Помощь какая пужна — скажи, окажем. В колхозе при Бодракове карман пока не дырявый, денежки на счету при Бодракове покамест имеются, поступили недавно за мясо. Скажи — решим на правлении и окажем.

— Да я не про то, я про Фильку.

— Куда ж ты его, тоже в город? Да он у тебя лошадиник, по коням умирает.

— Лошадиник,— махнул рукой Ивантеихов и стоял потупясь.— Да ведь жалко мальчонку-то — вон откуда грязь месит, вчерась домой приходил. А своя школа мертвая, строили-строили и закрыли. И других детишек жалко, и вобще,— опять начал сморкаться Левон в полу халата, другой полкой утирал слезящиеся глаза.

— Ты себя пожалей да жену свою, да хозяйство,— подтянул за плечи к себе председатель Левона.— Пей поменьше, в стакан реже заглядывай. А со школой мы разберемся... Разберемся, говорю, ты иди, работай...

«Ну кадры, язви их в душу! — после ухода Левона сидел Бодраков какое-то время недвижно.— Ну дела, гори оно синим огнем! Час от часу работать не легче. Стареем, братец ты мой, стареем.— И Бодраков положил перед собой лист бумаги, достал из карандашницы карандаш.— Сейчас нарисуем». — И стал писать с угла по привычке: «К исп. Ф. Бодр»... Тьфу, сломался! Сколько раз говорить этой Раечке, делопроизводительнице, чтобы смотрела за карандашами, подтачивала. Пустяка не могут...

И тут за дверью грохнуло. Бабах рукой — дверь к стене так и отлетела: на пороге стоял бригадир тигановской бригады Усынин. В брезентовом плаще с капюшоном, в забрызганных грязью сапожищах. Пробухал по ковровой дорожке к столу председателя.

— Ну что там у тебя, бригадир? — уперся чуть ли не в карандашницу лбом Бодраков.

— Все, Финаген Ксапыч, вот заявленьице. Я у вас отработался, отпускайте.

— И ты туда же?

— Куда это?

— Известно куда, — в Серпухов.

— Почему в Серпухов? — спал сразу пыл с бригадира. — Просто нет, Фипаген Ксаных, никаких условий ни жить, ни работать. В бригаде шумят, упрекают...

— Я тебя чем обидел, язви ее душу?! Ведь не обижал, — снова взялся Бодраков за карандаш. — Насчет условий — перспективы, сам знаешь, согласно постановлению по Нечерноземью... В удобрениях, сеялках-веялках, тракторах, сам знаешь, прибавка ощутима, скоро легче станет с кормами...

— Да я не про то — детей учить негде, — дернул Усынин пуговку на плаще так, что та оторвалась, сунул ее в карман. — Васька-то мой... с таких лет в интернат. Чуть что — домой, к мамке, какая учеба?

— Я т-тебя понял, лети, ищи, где послаще! — хлопнул по столу Бодраков. — Не хошь помогать — к чертовой матери!.. Я в работе тебя утеснял? Всегда тигаповская бригада первая по колхозу, в пример ставлю, премий не жалею. Сколько мы с тобой после трудов праведных кустовых совещаний провели, а? Сколько зим пезимовали, передрожали вместе за результаты? Грудью вот этой сколько раз тебя прикрывал... Бросай и колхоз, и меня, председателя. Такой, мол, колхоз, язви его душу, карасину не жалко... Ладно, катись в этот... Серпухов... Давай заявление, подпишу. Незаменимых, товарищ мой дорогой, у нас нет. Это вои скотника, Левона, попробуй пайди, а бригадира пайдем. Выдвинем Селивана, к примеру, он в простое у нас, свободный. Сам я мух топтать перестану — и меня заменят, подумаешь, — шишка! Давай сюда, подпишу...

— Да погоди ты, — засовывал Усынин бумажку свою поглубже, во внутренний карман пиджака. — Что ты, ей-богу. Я тебе про Ваську, про школу, а ты сразу: подпишу, улетай.

— И что вы в самом деле сегодня — сдурели? Уффф, — утер лоб платком председатель. — И претесь, и претесь. Да что я про школу-то сам, что ль, не знаю? — уже как-то спокойнее говорил Усынину Бодраков. — У самого вот где эта школа — чирьем вот каким на горбу... Ну, да ладно, иди, работай... Ну, кто там, кто еще? Скажите, пусть завтра приходят — сейчас уезжаю.

Усынин отсюда из двери, а сюда в дверь Нюрка Черпова, с эт-той быстро не распрощаешься. А за ней — женские платки, женские голоса.

— По одной давайте, по одной,— привстал Бодраков.— Или, ладно,— махнул рукой,— валите все хором.— И покорно сел в кресло, понимая, что сегодня уже никуда не вырваться.

Наперев из коридора, все разом так в дверь и проскочили.

— Дорогие товарищи женщины, наша гордость, опора,— уже шел Бодраков им навстречу.— Садитесь сюда, присаживайтесь—рассаживайтесь, будьте, как дома, не забывайте, что в гостях.

Возвратился на свое место, подхватил левой рукой сишюю телефонную трубку — куда-то звонил, говорил что-то и просто слушал: «Да-да, я вас понял, так и сделаем, да», а сам следил хитрым глазом за женщинами. Схватил правой рукой желтую трубку, кричал в нее: «Ну еще бы! Вот именно! Ну конечно! А чего бы вы хотели? Так и сделаем», а сам следил другим глазом за женщинами. Галдеж потихоньку стихал, но люди еще вздыхали, переталкивались, было движение. Отставив локоть, Бодраков снял с рычага третью, красную трубку: «Да-да, вот именно, ну, конечно, приказ есть приказ, как на фронте, так и сделаем, да». Все сидели теперь без движения. Мертвая тишина.

— Ну вот,— развернулся лицом ко всем Бодраков.— Ну так чё там у нас?

Разом вспыхнули голоса:

— Школу нашу закрыли... детишки ходят, каково материнской душе... тут все силы укладаешь, а тут... пущай открывают, когда есть учитель...

— Так,— движением руки оборвал голоса Бодраков.— Говори одна, кто?

— Нюрка вон... Чернова... пусть она...

— Ну дак что там, Нюра, у нас? — повернулся председатель к Черновой.— Излагай по порядку, какой всех нас чирей тревожит?

— Чирей этот один,— вышла Нюрка Чернова на шаг.— Это наша Селиванова школа.

— Селиван учит детей... зарплату не плотють... как только местные органы глядят,— взорвались опять голоса.

Движением руки председатель снова снял их, как выключил.

— Ну это... Селиванова школа,— сказала Нюрка не так уж уверенно.

— Во, школа! Ваш вопрос принимается, тихо! — стучал Бодраков по графину. — Сейчас мы тут с вами небольшое совещанье и проведем. Будем оперировать, дорогие товарищи женщины, демократическими мерками... Тут у нас это... как бы... женсовет, проведем такое собрание, надо выбрать председателя собрания, кому вести... А я, дорогие товарищи женщины, не могу, заинтересованное лицо. У меня самого как у председателя эта школа на шее сидит. Вот вы мне и подмогните. Я и сам хочу, чтобы у вас в бригаде школа была, пока есть кого учить. И сам скажу кое-что от лица мужчин как единственный тут представитель... Скажем, запротоколируем, пошлем, куда надо, пускай реагируют... Ну так это — кому вести собрание?

— Нюрка пусть... Чернова... тамада, воевода...

— А секретарем, вести протокол, вот ее, Тиганову Тоську, она учетчицей была, сможет, — приподнялась из своего уголка доярка Гараськина Зина и, когда Тоська проходила к столу, засмеялась вслед: «Во-о, освободила местечко, хоть присяду». — «Да тебе полскамейки надо, — отсмеивались соседки. — Бомбень, танка. Старую, гляди, не придави, Ивантейхову».

Стало тихо. Совсем тихо. Мертвая тишина. «А дальше что?» — шепнула председателю Чернова Нюрка. — «Спрашивай, кому первому слово?» — так же шепотом отвечал ей Бодраков и двигал к ней карандашницу и лист чистой бумаги.

— А первое слово мне, — вышла сама вперед Нюрка Чернова. — Сама себе беру первое слово. После, что не так, другие поправят... Так вот, дети-то наши, моя-то Машенька, вот такоечко пузырек еще, а куда в школу — из школы приходится? Да мы росли-вырастали, учились всегда в Тигановке, это уж с пятого класса ходили в Ярище. А с детьми нашими что исделано?.. Как сердце чужло вчера, придет, думаю, домой, чтой-то душа не па месте. А ведь дождь ливмя, дорога совсем никуда. А они, бедненькие, они, маконькии-и... вот такусенькии-и... а тут волки кругом, кабаны... а они сапожонками... а ну как зима — мороз да пурга?..

Тут Нюрка не выдержала, шмыгнула посом, за ней стали всхлипывать те, у кого дети поменьше: Васьки Усынина мать, мать Чуды-юдина; за ними принялись всхлипывать уже все, у кого есть дети, у кого были де-

ти, а теперь уже взрослые; и все, все, сидящие в помещении, стали всхлипывать вскоре и причитать.

— Ну вот что, милые вы мои,— выждал момент Бодраков.— Вы мне море нальете, кабинет поплывет.

— А тут на Кошовиковском мосту им навстречу этот дурак, Безлепкин, хлебовоз наш,— тут же изменился тон у Черновой Нюры.— Говорит детям нашим, чужие вы буквари. И не тутошные, и не тамошние. Не тигановские и не ярищенские. Чапаете туда-сюда, как какие-нибудь беспризорные, брошенные и заброшенные.

— Так и сказал, прод? — ахнули женщины.

— И писать так? — оторвала голову от листа Тиганова Тоська.— Так, «чужие буквари».

— Вот встречу его — сама лично ноги из вертлюгов повыкручиваю,— заверила Тоську Чернова Нюрка.— Но это я так, не заноси в протокол, не надо... Ну, и кто еще выскажется? — обратилась Нюрка ко всем сидящим.

— Да как про школу-то что заносить? — приподнялась Тиганова Тоська.

— А так и пиши,— обернулась Чернова к ней.— Значит, так: «Просить не закрывать школу, чтобы детей наших «чужими букварями» не обзывали, пусть наш учитель Добарин работает, как работал». Так, Финаген Ксаньч?

— Так-то так,— пребывал в задумчивости Бодраков, потом встал, хитровато прищурился: — Я бы тут еще пунктик вставил, от себя лично. Вроде вы, дорогие товарищи женщины, как бы сами к себе обращаетесь. Так примерно должно гласить: «Принять на себя обязательство... нет, лучше так... взять повышенное обязательство — родить каждой еще хотя бы по одному, чтобы в каждой семье довести детишек не меньше, чем до трех-четырех». Вот когда этот... Селиванов теремок выйдет из-под удара. А то и в Ярище школа уже до того сократилась, что, гори оно синим пламенем, кабы тоже того... С последней переписью ознакомлены, язви ее душу? Помогать надо народу нашему, всеми женскими силами.— И присел, осмотрелся вокруг по привычке.

— Как в оглобли бабу загнал — тyani,— бросила карандаш доярка Тиганова Тоська.— Да она из этих оглоблей и не вылезает. И на работе вези, и дома, да еще и рожай. А что же ты, наш председатель, товарищ Бодраков, про мужиков-то ничего не сказал, как они дальше будут деятельность свою строить? Я, значит, навивай

сено на воз, пока не перекинусь, а Федька мой прохладжайся в тенечке со своими цигарками да с пивными бутылками?

— Вот вы у своих мужиков и спросите, как и что они думают в такой ситуации, — отбивался от женщины Бодраков где словом, где смехом. — Так будем рожать еще, бабоньки, ай не будем?

— Про штой-то он? — приставляла ладонь к уху Ивантеихова, древняя бабка.

— Рожать, говорит, падо, бабк. Пристает с ножом к горлу, — объясняла громко ей Тиганова Тоська. — А что, ты не против?

— Чегой-то?

— Да что, говорю, ай ты тоже решила откликнуться?

Все так и грохнули на Тоськину выходку.

— Охальница! — махнула на всех Ивантеихова. — Сама рожай, может, это... порастрясешься. А я еще гожая, нянчить буду вам, в старину неудельников не было.

— Старую Ивантеиху поставим зав. яслями, мужики пуцай вкалывают, а сами будем одно знать — рожать, — подытожила Нюрка Чернова. — Красиво. А фактически все на нашу женскую спину, — говорила она уж всерьез. — В городе баба пришла с производства — губки нарасила, зуб наплюла и в клуб, по асфальтам. А тут обувку праздничную не знаешь, куда одеть, к коровам? Уезжаем бабы отсюда, бросаем своих мужиков, надоели.

— Школу не отобьют — и уедем, — раздались голоса. — А что — руки везде нужны, требуются.

— А вот для сведения, для сведения, — Бодраков сделал голос потверже. — Кто уедет, завтра же по порог землю отпятим! А то сами — в городе, а тут бабки с дедами угодьями пользуются.

— Значит, я куска черного от колхоза свою не заслужила? — подскочила, как на пружине, Нюрка Чернова. — Пятнадцать годочков отмахала на ферме, под коровой просидела вон, не даст соврать, с Тигановой Тоськой. Кто на танцы, а мы под коровой, кто с танцев, а мы опять под корову. Это как мы замуж-то с Тоськой вышли. И слова благодарного от колхоза, стало быть, не заслужили, да, Тось?

— Да кто ж от таких красавиц, как вы с Тосей, откажется? — подмигнул под всеобщий смех Бодраков. — Да ежели бы неженатый был да прежнее времечко, сам

бы первый к обоим сразу посватался... Нет, бабоньки, я вас лично люблю,—голос Бодракова сделался спокойнее, тише.—И колхоз вас очень и очень ценит. За ваш труд честный и беззаветный. Я бы лично до неба вам памятник... Вот подбиваю концы сезона и вижу артель нашу в цифрах: женщины на многих участках исключительно впереди. Слава вам и почет! Дополнительную оплату организую, до каждой единичной женщины дойду, высвечу каждую в ее ловкой, безмерной работе. И на ордена, на медали выдвинем, кто заслужил. Вы Бодракова знаете, Бодраков сам врать не любит и другим врать не дает! У Бодракова каждый человек, как у снайпера, на учете.

— Это верно... Бодракова знаем... побольше бы таких пачальников,—загудели голоса.—Себя гоняешь и нам дремать не даешь.

— У таких-то вот женщин разве может быть плохой председатель? — засмеялся на весь кабинет Бодраков и махнул рукой — карандашница вдребезги.— Мы тут согласуем,—собирал по столу он карандаши,—и я такой вам, девчата, праздник устраю. Вот тогда, Тось, и надевай свои туфли, лично тебя на вальс Бодраков приглашает... А сейчас, бабоньки, ну, дорогие товарищи женщины, прошу вас, председатель ваш просит, доверенное ваше лицо: год кончается, знаю — устали, ну, давайте еще поднатужимся, поработаем, как следует, завершим пятилетку ударно, чтобы знамя это вот районное, переходящее, в прошлом году заслуженное, тут у нас, так и влипло, осталось... Ну вот так и запишем наше всеобщее мнение... Городу нужно мясо и молоко, город просит вас вместе со мной. Мясо и молоко — как записано в нашей специализации.

— Надо так надо, завершим, как следует, что ж мы пелюди, что ли, не понимаем,—выходили женщины из председательского кабинета, рады, что в какой-то раз собрались вместе, увидели друг друга, душевную отвели.

— Да, Нюр,—пошла одной дорогой с Черновой Тоська Тигапова,—что-то меня тревога берет. С чем явились, про что начали? Про школу. А к чему съехало? К колхозной работе. По сто раз на дню про это слышали и слышим. Кабы этот снайпер бумагу нашу... ну протокол... под сукно не определил.

— Так решали все вместе,— успокаивала ее Нюрка.— Куда денется, даст ход бумаге... не кто-нибудь, право, сам Бодраков.

ХIII.

Они по-прежнему мотались по бригадам с Бронькой Летягиным, на его «вертолете» — двухмоторном «ирбите», который по-прежнему вытягивал их обоих на любых подъемах и из любых трясин. Но что-то новое Егор заметил в Летягине: глянет в очи тебе и молчит, и не знаешь, согласен он с тобой или не согласен, и что у него на уме? А все началось с того же, известного места у Адамовой мельницы. Ехали они мимо сада Бронькиной тещи, увидели: комбайн «Нива». Колеса в грязище, узлы в соломе, пожнивных остатках. Это же техника, за нее государству какие деньги уплачены, что в итоге ложится на себестоимость полеводческой продукции.

— Комбайн брошен в поле,— заметил механику агроном.

— Как это брошен? — не согласился Летягин.— Не в поле, а около сада, на глазах.

— И не отчищен, в грязи,— сказал Егор строже.

— И что?! — уставился тот в Егора.

— Как что? Пусть Корнилов на центральную отгонит, почистит, на колодки поставит.

— Не твое дело,— сказал, как отрезал, Летягин.

— Как это не мое?

— А так, твое дело — земля, а я отвечаю за технику... И что ты суешься всюду? — озлился окончательно Бронька.— И суешься, и суешься, куда не просят тебя.

— Это работа, и просить меня делать ее не надо,— как можно спокойнее сказал Броньке Егор.— И я ведь не только агроном, но еще и член правления, главный специалист.

— Когда много пастухов, бараныдохнут, понял? — поддал газу Бронька.

Остальную часть пути они ехали молча.

...И вот кое-кто по Ярищу стал примечать, как вечером, стараясь быть незамеченным, кто-то возьмет и скользнет тенью к председательскому дому. Войдет, и тут же загорится в зале верхний свет, а то — к телевизору — хватало ведь и торшера. Бронька с Бодраковым, до чего же приладились, играют теперь «в шахматшки».

— Так-так,— чтобы не тратить нервы, делает Бодраков ход белой пешкой, как всегда, от короля.— Ну, что там у нас?

— А мы вам ходик конем,— стелется черными под него Бронька.— Опять этот Безлепкин сено вез ночью с Пьяного луга... А агроном пропадает па тигановской ферме, нашел точку опоры...

— Ну и что? — отвечает Бодраков тем же ходом.— И плевать, пусть везет. С луга на ферму, лошадке.

— Как это? — захватывает Бронька слонем черную диагональ и раскрывает тем самым свой «эндшпиль»: играть будет не какая-нибудь, рассчитанная на ничью, стенобитная партия, вроде защиты Нимцовича или Кара-кан, а самый настоящий ферзевый гамбит.

— Вам садятся на шею, а вы...

— Проясни обстановку.— Это делает нейтральный ход Бодраков.— Кто он и что оп?

— Понимаете, кто,— выводит Бронька слона назад, из-под удара.— И сено-то не лошадке.

— Божьей коровке? — совершает Бодраков рокировку.

— Ну да.

— Говори! — делает выпад ферзем Бодраков.

— Думаю, Трофиму за самогон.

— Ну да! — вскакивает Бодраков.— У Трофима самого широкая глотка...

Тут-то она и выруливала из кухни, жена Бодракова, примирила обе стороны липовым чаем.

К обеду нежданно-негаданно появился в Ярище заместитель предрика Распопов. Сидел, морщился, глотал захваченные с собой таблетки — респираторное заболевание, холера его забери; запивал эту мерзость — таблетки — молоком, за которым уже успел сбегать домой кто-то из бухгалтерии. Перед Распоповым лежала на столе бумага. Бодраков узнал почерк Тигановой Тоськи. «Все же отослали, больно скоро им надо,— закипая, подумал Бодраков о протоколе, лежащем в первом экземпляре тут же поблизости в сейфе.— Тиганов Егор — этому все пойдет!»

— И-да... что вы тут, право? — все сглатывал и никак не мог проглотить кадры свой Распопов и отчеркнул ногтем нужное место.— Довели до чего, ты-то куда гля-

дел, председатель,— смотрел укоризненно он на Бодракова.— Ну, давай собирай, кого надо. Автора, конечно, и в узком кругу, в узком кругу... Тут, как лошадь тягловая, замотался,—пил Распопов молоко из стакана осторожными, маленькими глотками.— А тут Полина Ивагна мне: разберись... Подготовка очагов культуры к зимнему периоду — на мне, снабжение граждан топливом — на мне, комиссия по несовершеннолетним — на мне, параллельно общество по борьбе с алкоголиками подцепили. Комиссия по озеленению, сам знаешь, давно мой конек, первое место в области тоже времени требует. А тут эти... письма трудящихся... Право, кто везет, на того и наваливают.

Дверь отворилась, и в кабинет быстрым шагом вошел новый заведующий районо Наумовский.

— А-а, вот наконец и ты, ясное солнышко,— поднялся навстречу ему Распопов.— Вот где мы с тобой встречаемся, в кабинете председателя «Светлой жизни». В райисполкоме ко мне заглянуть тебя не хватает, гордый...

— Вот что,— повернулся заместитель предрика к Бодракову,— давай одного автора. Решим вопрос раз и навсегда.

Вошла Нюрка Чернова, как раз оказалась в правлении. Поздоровалась и присела.

— Так, присутствующим суть ясна,— Распопов все глотал и никак не мог проглотить свой кадык.— Ваша Марусино-Ключиковская школа закрыта временно в связи с отсутствием контингента.

— Как это «в связи с отсутствием»? — вскочила Чернова.— Мы так не говорили.

— Я так говорю, я,— улыбнулся Нюрке Распопов.— Марусины Ключи исключены из списков, нет такого поселка в районе.

— И неправильно говорите, неверно! — вспыхнула Чернова.— Как раз наоборот, «в связи с присутствием контингента».

— Как это? — все еще улыбаясь, обводил всех недоуменным взглядом Распопов.— Подумайте, что вы говорите, закрыта «в связи с присутствием... э... наличием контингента». Это же абсурд. Нет детей.

— Есть дети! — вскочила Нюрка.— Значит, учите.

— Как вас зовут, простите? — был несколько озадачен Распопов.

— Ну, Нюра.

— Полностью, с именем-отчеством.

— Анна Васильевна Черпова, доярка.

— Это хорошо, что доярка. Труженица, — старался нащупать нужный тон заместитель предрика: доклады-вать все Полянкой, сама взяла дело себе на контроль. — Вот вы говорите, что есть дети, есть кого учить, а вот по его данным, — он кивнул в сторону Наумовского, — тут у вас нет контингента. Он все вам сейчас и объяснит, — сказал Распопов и сел, вздохнул с облегчением.

— Я вот тут подготовился, — поднялся с папкой в руках Наумовский, — выбрал цифры по району... Ну, в общем, вопрос в экономии государственных средств. Вот вы, товарищ Чернова — доярка, вы за каждый грамм молока и кормов боретесь? Боретесь. Механизаторы тоже как рачительные хозяева — за сохранность машин, за экономный расход горючего. Ну, и мы, организаторы педагогики, тоже не в стороне. Вот данные по всему району о наличии учителей и учащихся пять лет назад, а вот сейчас. Учащихся на селе стало значительно меньше, а учителей...

— Значит, на наших детях экономите, так? — вско-чила Чернова. — Фишаген Ксапыч, а вы что молчите?

— Тут дело такое, Анна Васильевна, — приподнялся Распопов. — Тут дело даже не в экономии — в несколько ином, в ваших же, родительских интересах. В Обошешеве школа типовая, с оборудованием, есть возможность организовать нормальный учебный процесс, учить наших детей по-современному, на уровне нынешних требований.

— У нас Селиван на уровне... какой для перваков еще пужеш процесс... еще молоко материнское не обсохло...

— Ну, хорошо, хорошо! Понимаем, возможна ошибка. Но это же частный случай: закрыли школу при наличии контингента. И сейчас мы уже ничего не можем: школа не существует, средства на нее не выделены. Только к следующему учебному году попробуем, в порядке исключения, вернуть школу в Тигановку... Как смотрит на это народное образование?

— Ну, б-будем искать возможность.

— И отлично! Думаю, и председатель поддержит вас, и предрик. Полина Иванна, собственно говоря, нас на это и ориентировала. Так и просила лично вам, Анна Васильевна, передать... И все же, сами видите, Тиганов-

ка ваша, так сказать, на ладан дышит, бесперспективная...

— А Ярище?

— Что Ярище? Ну да, Ярище,— закашлялся Распопов.— Ярище — дело другое... Животноводческий комплекс тут вам посадим, планируется уже с нового года. Эге-е, что тут развернется! Людей, специалистов надо сюда? Жилье им надо? Целый поселок построим. Одной средней школы не хватит, две подавай...

«Что он говорит? — смотрел Бодраков во все глаза на Распопова.— Ведь комплекс уже запланирован, кажется, в Оболеншево. Там, где экспериментальный поселок».

— Так вы со мной? — обратился Распопов к стоящему без всякой реакции Наумовскому.— Садитесь в мою машину, вы, кажется, безлошадный?

Бодраков провожал райисполкомовский «козел» до Плещеевской колдыбани. Бугры выпирали из ухабов в этом топком месте, как бычьи лбы. Но свежая насыпь уже изгибалась, проседала под колесами, так что подрагивали возле нее ракиты. Тут же свалены были бетонные плиты, бетон для такого дела — вещь незаменимая. Только потолще «подушку» под него, побольше гравия да песка.

XIV.

С баяном на коленях Добарин засел в своей школе, на которой была теперь вывеска «Агитпункт». За целый день тут у него не появилось ни единой души: в Тигановке живет народ занятой, а день осенний, как известно, год кормит. Зато ребяташки, как только прибегут домой, так сразу сюда, к Селивану: уроки вместе учить интереснее.

Добарин поставил баян рядом, на табурет. Загляделся в окно, все искал в себе ту спасительную ниточку, потянув за которую, можно было дать Тигановке пожить в этом мире еще, не кончаться, однако не так-то просто было найти ее, эту самую ниточку, и вот, когда ему показалось, что он все же ухватился за нее и ей не выскользнуть из его пальцев, в памяти всплыло вдруг, как дня три назад дверь сюда, в эту комнату приотворилась.

«— Это я — Ивашка! — раздалось за дверью.

— Чего тебе, мальчик?

— Я к вам пришел,— покраснев, показал пальчиком оп на баян.— Можно?

И весь утопул за баяном. Перегибаясь всем телом, искал нужную пуговку.

— Где это ты научился?

— А вчера, когда вас не было.

— А ну,— поклонялся ближе Добарин.— А ну-ну.

Пуговики белые, пуговики черные, черные и белые, белые и черные — вальс «На сонках Маньчжурии».

— Как это у тебя легко получается! — восхитился Селиван.— Я тут бьюсь-бьюсь, а ты сел и сразу сыграл. Ты способный,— положил Селиван руку на плечо Ивашке,— тебе надо учиться. В Ярище есть у вас музыкальный кружок?

— Не-а.

— Скажу твоей маме, председателю скажу! — загорелся Селиван.— В самом деле, пусть возьмт тебя в Алатырь».

Вот какой разговор припомнился Селивану. Едва он снял с плитки картошку и сел за стол, разломил картофелину на две половинки, как на веранде раздались шаги — бабка Галя, Ивашкина бабушка.

— Дак куда, кум, молоко-то слить? — оглядывалась она вокруг.— А я зашла домой к тебе, а тебя нет, ну, думаю, небось, в школе своей пропадает... Молочко вот парпенькое, только что подоила. А вот десяток яичек... А мне Егор говорит, снеси да снеси, а я все никак не выхвачу времечка.

— Что я, поп вам, что ли? — вспыхнул Селиван.— Одна намедни курицу притащила — не погребуй, другая — меду. В стыд, право слово, вгоняете.

— Дык а как же, Селиван Данилыч,— освобождала бабка Галя на столе тряпицу от яиц.— Детей наших учишь? А зарплаты шиш с маком, не плотють. Дак какой это стыд от людей харчиться? Заслужил — получи. Народ к тебе с уважением, а ты, значит, не пересекай его в добром... Роголиха-то что удумала, ты, говорит, еще у нас, кум, молодой, за мужука у нас, таких старых, сой-дешь, тебя харчить надо, хи-хи,— прикрывала рот рукой бабка Галя.— Ей-бо, введешь, право, в грех... Полезла, Данилыч, в шкапчик намедни — гляжу, ложка серебряная неузнаваема, почернела. К чему бы это, а?

— Почернела, и все,— сказал бабке Гале Добарин.

Селиван дожидался предвечернего часа, чтобы идти

на дорогу встречать последний автобус из Алатыря на Оболеншево, сегодня должны были приехать ребятишки из Ярища. Равновесие, в котором пребывал Селиван остаток дня, особенно после прихода к нему бабки Галл, пропадало, забирала сердце тревога. У большака, перед самой посадкой, из сумерек поползли свитые в узлы эти пухлые, шелестящие змеи — листья.

Дай Ивашка выйдет из автобуса, Селиван вышагнет из посадки, положит руку ему на плечо, не позволит никуда деться и расскажет ему, почему черпеют ложки даже из серебра. Селиван холодел, пропуская через себя все, что скажет Ивашке...

Автобус пролетел мимо — на остановке никто не вышел. Селиван прислонился к березе, услышал затылком шершавую гулкость в стволе, и мир его ухнул в то, что с ним было когда-то... Вот он снова в классе, сел за учительский стол — перед ним учепики былых поколений: Чернова Нюра, Безлепкин, Ивантеиховы ребята и эти, нынешние — Ивашка Тигапов, Маша Чернушка, Усыпин Васька, Петька Чудо-юдин, Филюшка-Филя. Всю жизнь он учил их простым, бесхитростным истинам: не убей, не укради, не замути души черпой завистью, трудись во имя цели своей, человеке. Вся жизнь его была отдана этому: летели по небу гуси-лебеди, по степи скакали красные кони... Конечно, как рассуждали тогда те, что, появляясь время от времени в школе, проводили свой эксперимент. Стоит ли, говорили они, навязывать тем, кто идет за нами, свою модель счастья, весь мир так подвижен, неизвестно, что еще он оставит от нас и от наших желаний, которые мы считаем истиной навсегда. У каждой березы будут свои семена, а у каждого семени — свои ветры, свои дожди, своя почва. Но вот что останется и на потом, так это то, что семя это березовое, не от дуба, не от липы — березовое, а значит, быть березе всегда. А человек — это тебе не береза даже, в нем ведь и разум, и дух, и тебе самому известны в себе три этапа: от зачатья до рожденья — пучина, когда из неизвестности, из всего, что вне нас, создается живое; от рождения до трехлетия — вся жизнь, когда начинается узнавание мира, появляется память о нем, а значит, расцвет организма наряду с его отравлением миром, и тут все зависит от матери, от ее воспитания; от трех лет и до скончания века — миг, созидательный и разрушительный, талантливый и бесталаный, сеющий Добро или Зло, высвобож-

дающий или угнетающий себе подобных в хитрой житейской игре...

И на другой вечер стоял Селиван под березой, и на третий. А автобусы пролетали, как огромные птицы из стекла и металла, электричества и взбешенной скорости. Из города в деревню, из деревни в город. За стеклом — женщины и мужчины, разговоры и молчанье, открытый смех и скрытые слезы. А тут, в темноте, ему доставалось только одно: воспаленное, быстро удаляющееся орлиное око на хвосте автобуса — огонек стоп-сигнала. Как велик мир, как не остановим. Все продолжится, даже если исчезнет в нем он, песчинка. Но разве ничего от этого не изменится? Это плохо, когда жизнь не кричит, если плохо в ней хотя бы и одному, и не радуется, когда одному хорошо. «Эй, ты, терем-теремок, кто же в тереме живет? Я — мышка-норушка и Маша Чернушка, я — блин в головашках и братец Ивашка, я — царевна Лесиня и Васька Усыня, я — Петька Чудо-юдин в новой рубашке, как снегирь красногрудый, и я — Филюшка-Филя, коняга-добряга, ни в какие ворота не лезу...»

И стоял на ветру старый учитель, а в спину ему, в каком-нибудь полукилометре, упиралась лощина — жуткое, некрасивое место: когда-то прасолов, что гоняли трактором скот на Москву, тут встречали подлеты — эти почные разбойники прошлого.

«И все-таки где это так горланят сейчас, кажется, на песчаном карьере?»

И уже не морозом покалывало Селивану затылок, а лучами острых, взнесенных над миром звезд. Он возвращался один, у лощины подтянулся привычно. И вдруг совсем близко возникли алые точки сигарет, приглушенные голоса. Сигареты справа и слева, за спиной.

— Руки вверх! — выросла тень перед Селиваном.

И гоготали, толкали, охлопывали его, выворачивали карманы.

Селиван выпшагнул из этого круга, навстречу судьбе, и при свете звезд различил провалы глаз: пьяны мертвецки, веки полузакрыты, а лицо так знакомо, припоминаемо, тоже ведь было когда-то детским...

Электричество брызнуло и просыпалось внутрь Селивана, он схватился за голову и закричал...

Автобус снова проскочил, не остановился. Селиван потянулся за стоп-сигналом — воспаленным исчезающим глазом и не заметил, как перешел на ускоренный шаг.

А вот оно, вот оно и Оболешево. Черная, в полнеба, масса — это деревья, огромные, еще воронцовские липы. Какие-то давние, полузабытые чувства рождал в нем этот парк, шорохи отлетающих листьев. Так плотна стена старых лип, и лишь впереди свет в окне. Селивап придвинулся к свету...

Комнатка. Три шага к двери от шкафа, три шага от шкафа к столу. Зеленый абажур пастольной лампы. Человек наклоняется, что-то пишет. Три шага к окну — три шага обратно. Это Агарков — директор Оболешевской школы. Вот человек с зеленым лицом, отнявший у него все: школу, здоровье, детей. Всего-то стекло между ними, стенка стандартного дома, порог, который не переступить...

Селивап отошел от окна. Золотой прямоугольник лежал на выпуклой клумбе, на растрепанной ветром акации, в конце деревянной скамейки. Селивап прикрыл веки: всего-то встать и взойти на крыльцо, толкнуть дверь. Однако дома — как и люди, люди — как и дома. Все одинаковы дети, не одинаковы взрослые... Селивап отер пот со лба, язык сделался сладким, противным. С лица его спадал сохнувший лист. И тут же в разрыве туч мелькнул в созвездье Орла Альтаир, Арысь-гора впереди обозначилась точным, выпирающим четко зубом.

Что-то сбросило Ивашку с постели. Он вскочил, спрыснул таращился в темный угол, искал сапоги сначала одной, потом другой ногой. Сунулся в голенище сразу обеими пятками и, чуя кожей неприятный резиновый холодок, прошел, крадучись, между кроватями, мимо спящего Филюшки-Фили, к двери.

Фонарь все там же в середине ночного двора, на столбе. На скамейке лежал одинокий листок, и горбилась опустевшая клумба, через которую на сарай была перекинута стежка. За огромными — в полнеба — липами уже брезжил рассвет. И где-то там, далеко-далеко от Ярица, за Козюлькиным лесом, торчала Арысь-гора. И на ее черном зубе стоял человек. На самом краю Падуша.

Селивап оторвался от березы, оглядел Орлицую поляну, запоминая ее навсегда. Недолгое осеннее золото, упав вместе с дождями, утащилось ветром в овраг.

И сквозиста была поляна. Сгущаясь в крупные, редкие капли, туман перекрапывал дождинками с ветки на ветку, на темя Селивану, за шиворот. Так было вчера, так будет сегодня и завтра...

На полгоре Селиван остановился. Оглядел, запоминая, всю Чистюнькинскую пойму и, как стриж-береговик, нырнул в пещеру за камень.

Так тихо под толщью земли. Лишь чмокает по крылу лешей птицы откуда-то сверху вода. Граи камней у входа пересверкивают утренним светом, матово-тускл единственный глаз в птичьем лбу, так и впился в него, Селивана... Может, всего этого не было: школы, тетрадок вкосою, детишек, которые, становясь взрослыми, посылали к нему своих ребятишек? Может, им все это придумано: земля — наш большой дом, наше поле, наша речка, наш ветер? Почему же они так легко с ней расстались? Он придумал им орлиные крылья, и они на них улетели, куда?..

Учительница подошла к Ивашкиной парте, положила руку ему на лоб:

— Ты горяишь, Ваня. У тебя лоб горячий, температура.

— Я домой хочу,— сделал Ивашка движение головой.

— Но сегодня ведь еще не суббота — четверг?

— Четверг,— вздохнул Ивашка, продолжая смотреть в окно.

Там на улице плавало солнце, красное, как нарисованный шар, этот шар лежал на Арыси-горе, где стоял человек, подняв тонкие руки, как орлиные крылья.

После уроков директор зашел в интернат, сказал тигановским: «Школу вашу откроют, но на будущий год. Так решило начальство».

— Урра-а-а! — закричали все интернатские и, конечно, вместе со всеми Ивашка.

Селиван огладил крылья Орлу — лешей птице: перекрученные коряги увешаны мхом и ветвями, все — в серых гирляндах цветов. Все засохло, сыплется под ладошью... В эту неделю дети в школу к нему не приходили. Значит, с уроками справляются сами...

А день уже разыгрался: гудели над Арысью-горой самолеты, бежали через Ярище автобусы, Безлепкин паляживал в Тигаповке свою лошаденку за хлебом, доярки на тырле завершали первую дойку. А сюда, в пещеру, перевалив на другую сторону горы (это когда еще, к вечеру), полыхнет солнце мимо входного камня, и во лбу лешей птицы вспыхнет осколок неиссякаемой сини...

Из угла пещеры надвинулось на Селивана все то же пьяное, мертвецки белое лицо и сигарета. Как отпрянули они, как захохотали!

«Ах ты, старое чучело, дурацкий кусок деревяшки!» — Селиван сдернул с подставки Орла, потащил за крыло к выходу из пещеры. Выпав из лба, стеклянный глаз так и покатился по полу, перевалил через край, зашелкал вниз по камням. Стоял человек на Падуне, весь во мхах и лишайниках, и со дна Чистюньки-реки мигал ему голубой огонек сигареты.

Сбежал Ивашка с крыльца интерната и прямо через коврижку клумбы помчался в Тигаповку. В конце Ярища, возле ракитицы, он знал, должна быть хатенка, бабушка, бывало, сидит на завалинке, теперь на завалинке никто не сидел. Испил Ивашка воды у колодчика — теперь под каждый шаг екало в животе, как у безлепкинской лошади. «Добегу — первым радость принесу Селивану!» — подпрыгивали на бегу Ивашкины толстые губы.

И слова эти собирали все силы Ивашкины в мягкий комок, в теплое зайчика, одни уши торчат, как большой палец в варежке. Эти варежки ему связала бабушка, напярля ниток из кроличьей кудели и за вечер связала. Хоть какой мороз грянь, пичего не возьмет, печка — варежки. Уж и вытерлись, уж и малы, а милы ему, с рук не слезают.

И виделся Селивану синий шарик на дне Чистюньки-реки, но это был уже не огонек сигареты, а зрак певедомой рыбины, так и следил за ним меркнувшим, перламутровым светом.

Вот летели вперед, разогнались под горку Ивашкины ноги, колотилось сердчишко, аж рубаха трещала под

мышкой. Бабушка говорит, одежда трещит, когда вширь раздаешься, у дедушки тоже трещало, все было тесно ему тут в деревенском просторе.

Ноги сами вынесли Ивашку к Красному бору. Только Ивашка перешел Коновиковский мост, как, нате вам, с неба свалился на своей лошаденке Безлепкин.

— Слыхал, букваренок? Школу-то охлопотали,— радостно крикнул Безлепкин.

— Слыха-а-ал!! — обрадовался ему отчего-то Ивашка и помчался по своему назначенью, вперед. Пробегал Коюзюлкиным лесом и все никак не мог войти в радость, все она у него сворачивалась в мягкую теплую варежку с длинным, как уши у зайчика, пальцем. И варежка эта ложилась на выбитое в раме стекло, аж пух острием прорезало, и хорошо в эту дырку было видеть ему самого Селивана, его голубые глаза.

И светил с Падуна Селивану выцветший, бледный фонарик. И все глубже, глубже, вот-вот оборвется.

А дома сейчас печка топится, мамка блинцов напекла, хороши блинцы с царным молоком, глядишь сквозь такой блин на электричество и видишь лампочку, а в печи дрова горят жарким пламенем, улыбается мама: «Ешь-ешь блинцы, сынок, я еще испеку».

У Варина бука Ивашка остановился. Расстегнул портфель, тронул дневник — вот нужная страничка, вот отметка по арифметике, выше ее не бывает... Прислонился Ивашка спиной к той самой березке, на той самой поляне, и недолгое осеннее золото потекло у него по плечам, мягко стелилось под ноги. И так радостно стало Ивашке, так хорошо.

Арысь-гора высилась перед ним сквозь изреженные березы своей плоской, как блин, макушкой. «Отчего она срезана?» — западало Ивашке в голову. И вдруг там, за камнем, Ивашка увидел его, Селивана. Зачем он там, на вершине, зачем?..

Заходя, солнце отразилось в скале и высветило огромную птицу. Нахохлясь, она зябко куталась в пиджак, как в орлиные перья, в гирлянду из ссохших цветов, и руки ее были остры, сломлены в локте.

Дробь просыпалась под Ивашкой. Забыв про порт-

фель, неся он от Варина бука к плоской, спиленной кем-то вершине, где, замерев, как перед полетом, прямо перед собой глядела огромная птица — лешая птица Орел.

А с Падуна Селивану виделся там, на дне, взгляд Ивашки, оп утягивал за собой.

— Дедушка, дедушка-а-а!! — бежал в гору Ивашка, и ветки секли его по глазам.— Миленька-а-ай, не улетай, не улетай без меня. Школу охлопотали-и!-и!-и! — и гибкое эхо катилось впереди его голоса.

Слышал ли его на своей вершине старый учитель? От него к раскаленному Солнцу улетала лешая птица, и под крыльями ее проплывали села, реки, горы и города, а в груди все горело красное яблоко, небольшое такое, с сердце величиной. Вот и все. Улетела птица-орлица, ее позвало к себе созвездие Альтаир. И сбегал Ивашка с Арысь-горы, и упал лицом в камень, и зарыдал, заколотил кулаками по Орлиной поляне, и там, где кулаки его били землю, в ней как бы получались провалы — бездонные, черные дыры, как ему казалось. А береза, та самая, наклонялась к Ивашке, шелестела Селивановым голосом: «Вставай и иди. Надо идти, мой мальчик, надо расти, надо учиться...»

Солнце перевалилось через горизонт, но живая, свободная от туч, розовая полоска все еще сочилась по-над Козюлькиным лесом, а сами тучи повыше ее горели мрачным, грязно-лиловым отсветом и клубились, крутились-перекручивались, тут же па глазах опадали, меняя очертания, видно, там, наверху, уже бушевала стихия. Верхние тучи падали в нижние, нижние выжимались вверх, а в сторонке зрело облачко сахарной белизны, кругленькая, с фиолетовой окаптовочкой тучка, от которой, как от ножичка в пьяных руках, ожидать всего можно,— снеговая тучка. Там, в небесах, все так и ходило ходуном, а тут, на земле, была тишина. Напряженная, зыбкая, готовая вот-вот оборваться, разразиться дождем, градом, снегом и еще, еще невесть чем. Замерла вся чистюнькинская пойма: крыши ждали удара первой волны. В ожидании стеклелело каждое оконце — крылечко, каждый поселок — проселок, все до дерева, до кусточка.

Бежали ребята в Тигановку, катились за колобком ко- лобок. То один выдвигался вперед, то другой; устал — уходил в хвост передохнуть. Головы никто не поднимал, не до этого: ветер хлестал по щекам, забивал легкие воздухом, срывался из-за спины и нес по дороге, все хот- тел зашвырнуть на ту сахарную, пронзительно белую тучку, которая была совсем низко, растрепанные, изод- ранно-длинные хлопья — борода Черномора — извива- лись вокруг нее, то, как пружина, сжимались, а то рас- тягивались, и на той бороде, ухватясь друг за друга, летели они — Чудо-юдин, Васька Усыня, Филя-Филюшка и где-то за всеми Маша Чернушка.

Сгущалась и без того плотная мга, и все семь изволо- ков подрагивали, как в молоке. У реки в голову стайки выдвинулся самый сильный — Усыня. Ветер какой ледя- ной, не продыхнуть; штаны покрывались коркой, не гну- лись в коленках. Обыкнув, Васька нашел выход и тут: спрятал нос в воротник, сопел себе половинкой, прислу- шиваясь, о чем говорили там у него за спиной этот Филь- ка-лошадник с Чернушкой.

— Брательник мой в летное поступил,— прятался от ветра за него Филька,— тоже летчиком будет, как Генка.

— Какой Генка?..

— Да Митька же, Митька! Что следом за Генкой, по- млаже.

— На лошадь надо его, твое Митьку,— приостано- вясь, бросил Фильке за спину себе Васька Усыня.

Филька на него с разгону, как на стенку паткнулся, вцепился посом в затылок, а в Фильку — Чудо-юдин, а в Чудо-юдина — Маша Чернушка.

— У, чугунок головастый! — облизывая зашибленную губу, хлопнула Маша Чудо-юдина по затылку.

— Ты иди, иди, — подталкивал Усыню Филюшка- Филя.

Усыня оглянулся: все ли? В цепочке не было, как и прежде, Ивашки: удрал сегодня один да пораньше.

— Ничего-ничего,— ободрял Усыня товарищей.— До- ма уже печка топится, теплынь такая. А Чуде-юдину мать напекла целую бочку блинов.

— В бочках блины не быва-а-ают...

За мостом взяли правее, к Козюлькину лесу. Здесь стало потише, зато через устье надо переправляться. А ладно, как-нибудь переправимся. Чистюнька-речушка то приближалась к дороге, то опять уходила, сповала по

лугу челноком, чистое дело — снова. А по снове и бежала ребячья стайка. Тенью-тенью, лознячком-лознячком. Вышли на берег, тут тебе и само устье: Чистюнька сливается с Коновиком. Ключевой, гиблый берег. Года три тому в этом месте утоп скотник Ермилин Федька, кинулся за коровой на лошади, кобыла вымахнула за коровой на тот бок, а Федьку только и видали. Лишь через неделю аж за Козюлькиной плотипой поймали Федьку, всплыл да за ивовый куст зацепился.

На другом берегу — тырло, доярки туда переправляются лодкой-плоскодонкой. Сколько раз Усыня забирался в плоскодонку вместе со всеми: станет, упрется в днище, а дно так и ходит, выныривает из-под ног, лодка носом туда-сюда рыщет, а ты за стальной трос ухватишься, натягиваешь на себя. Как весь трос под мышку пропустишь, так, считай, на тот бок и перемахнул.

Переправились, побежали дальше Козюлькиным лесом. Змейка скользнула со стежки, оставила след на песке, вьюрок сбросил с елки иголки за шиворот. А вот и Варин бук. Вот и... портфель Ивашкин. У берега речка была раздвинута, густо чернела вода.

— Ой! — испугалась Маша Чернупка и бросилась вон отсюда, а за Машей и все остальные.

Из золотой осень превратилась в слякотную, с постоянными дождями. Перепархивали последние желтые бабочки — листья, клепись к стеклам, плыли флотилиями по реке; пригоршнями ветер сбрасывал их на раскисшие дороги, гнал мимо домов, сбивая к штакетникам, к краю луж — ершистых, некрасивых от холода.

Небо сделалось вовсе низким, тучами придавило дорогу. Прежде чем ехать домой, Егор заскочил в интернат за Ивашкой. В интернате ему сказали, что он уже убежал в свою Тигановку. Дома Ивашки не было, не появлялся. Ни слова не говоря, Егор тут же потянул на себя фуфайку, коротешкий, чуть повыше сапог, плащешко и шагнул за порог.

С плаща дождь затекал за голенище, уже подхлопывало в пятке. Егор не замечал этого, все сплы забирала ходьба. Горело надутое ветром надбровье, шаги отдавались в висках. Из маслянистой, расквашенной грязи сапоги вытаскивались с чавканьем, трудно. Взмokли воло-

сы под фуражкой, меж лопаток уже юзила живая, юркая струйка.

Беспокойство не покидало Егора. Что-то заставило его свернуть на другую дорогу в Ярище, через Козюлькин лес. Угибаясь от острых просяных просыпов, с мокрым лицом, Егор двигался вперед почти вслепую. Осталась в стороне Арысь-гора, он решил срезать путь: пройти к устью через Красный бор — тугоствольный, кондовый, медполитой. Песчаным холмом выходил бор к этому, левому берегу Коновика, круто нависал над речкой. Здесь когда-то говорили они по душам с Бодраковым...

Дождь на момент перемежился и, как по заказу, с Песчаного холма открылись разом все изволоки, все семь, если сосчитать, горизонтов. Самый первый тут у ног — полынь да чертополошины, почернели от зазимков, проселок обвит раковыми посадками; одипоко, словно зуб у старухи, точит воздух кирпичная труба — все, что осталось от Коновика-поселка. По второму изволоку изжелта-бурыми строчками прошиты совхозные сады — барсучья спина, сколько яблонь, сколько в земле остается добра, всем миром сады убирать убирают, да успевать не успевают. И еще изволок — веселенькая, зеленая щетка лесов, строевые, корабельные сосны. А уж там, повыше, за щеткой, вроде бы проймица и сразу за проймой ферма — вытянулись длинные крыши, карандашом в землю — водонапорная башня. И по-над всем этим еще один изволок — пятый, этот пятый уже посинее, сжатее; поле тонкое, как лезвие, сейчас оно сизовато, а летом, особо на солнце полыхает, глаз режет — поле алое, алые маки. А за маковым полем еще одно лезвие, широченная бритва; по ее сине-стальному тону, как горох просыпало, — белые крыши, это домики, само цветоводческое хозяйство. А дальше все теряется в фиолетовой зыбкости, что — неясно, ясно только одно — новые горизонты.

Когда Егор проходит этой дорогой, он сюда, на холм, непременно поднимется: до чего же все на земле хорошо!.. Вот оттуда, из проймы, между третьим и четвертым изволоками, из-за белых домишек, и должны прийти сюда те, кого он здесь ждет. Егор пригляделся и уловил на втором изволоке движение. Э, да вон они, эти точки, стайка-струйка на рыжем бугре. Идут, чавкают по раскисшей дороге. Отчего же потом, подрастая, так легко расстанутся они с родными краями?..

— Ивашка утоп, — подошли они, шевельнули сухими

губами.— У Варина бука портфель... И вода в буке черная-черная...

Егор как стоял, так и влип в обвернутый мягкой, гнущейся медью сосновый ствол: утонул?! И уже неся Егор по Козюлькину лесу, летел сломя голову. Вот и Варин бук, вот Ивашкин портфель, вот букварь. И тут Егор взглянул отчего-то не вниз, как все, на черную воду, а вверх, на Арысь-гору, и там высоко увидел двоих — какого побольше и совсем еще маленького.

Поднимался Егор по тропинке, прыгал с камня на камень. Он все тут знал, был своим человеком, тоже ведь из Селивановой школы. А вот и Падун-обрыв. Вот валун, вот расщелина. Егор замер перед входом в пещеру: голос детский, совсем-совсем детский, родной. «Всем со мной плохо,— тихо жаловался этот голос.— Одной тебе, лешая птица, со мной хорошо... Папка говорил маме, ну что тебе еще от меня надо, вот привез сюда и живем, крыша над головой... Видишь, школу уже охлопотали, помоги, лешая птица, нашему папе, он у нас не плохой, он хороший, я прошу тебя, лешая птица...»

Луч заката ударил в гранитные скалы, отразился в сводах пещеры. Мальчонка стоял спиной сюда, лицом туда, в дальний угол. «Орел-птица, ты слышишь? — вздохнул он едва слышно.— Подсоби, чтобы жили мы дома, Селивановой школе открыться. Сделай, птица, меня поскорее большим...»

И тут хрустнул камешек под ногой у Егора, обернулся мальчонка: отец! Взялся откуда-то Селиван. Стояли втроем и молчали. А вдали перед ними катилось огромное красное солнце, и внизу билась в сине-белые камни река.

XV.

И еще один человек бодрствовал этой ночью в Тигановке — Фома Фомич, по-уличному Стреляный Воробей, просто Стреляный и все он же Мажор. Окно было занавешено рыболовной сетью, сложенной втрое. Мажор перелистывал свои записи — «деревенскую летопись»: жизнь Тигановки по годам, имена и фамилии, случаи. Каково читать все это, проверять, как собирался жить с молодости и что из этого вышло?

Мажор открыл клеенчатую тетрадь, выводил на нужной странице: «Кажется, Селиванову школу охлопота-

ли». И толкнул рукой форточку — ловил ртом воздух с улицы. Где-то в ночи, за околицей, прыгали по полю фары, пофыркивал трактор. «Счастливым быть не стыдно, но стыдно быть счастливым одному», — приписал Мажор еще и вторую строку.

...Между тем в хозяйстве дела шли своим чередом. Из Алатыря поступила команда подготовить и отправить в Башкирию бригаду с техникой за соломой. Лето выдалось, оно верно, сухое, но ведь это для области и района, а тут у них, в «Светлой жизни», свои условия: много топких, пойменных мест, да еще в середине августа перепали дожди. Так что было где развернуться бригаде и дома: сколько бурьяна вымахало на пустошах и неудобьях. Об этом агроном заявил председателю и несколько дней не занимался подборкой кадров в бригаду. Бодраков устроил ему разнос и тут же назначил ответственным руководителем «башкирцев» Броньку Летягина: этот пройда, где хошь вынырнет, чего надо — не надо выпросит, где подмажет, чтобы не скрипело, а где и сам воз плечом подопрет.

«Башкирцев» провожали в Алатыре, на железнодорожном вокзале, под духовой оркестр и с речами. Вместо цветов Егор мог бы предложить Броньке ветку сосны или елки, которые лично заготавливал позапрошлой зимой на корм скоту в соседнем районе, в порядке шефства института над закрепленным колхозом.

— Бронислав! — махал Бодраков Летягину и всем своим ярищенским, когда эшелон тронулся в путь. — Смотрите там, как на передовой...

— Броня крепка, и стежки наши склизки! — вопил захваченный общим настроением Бронька.

А на перроне оркестр играл вслед на полную мощь вальс «На сопках Маньчжурии»...

«Башкирцы» стали возвращаться уже через неделю. В отсутствие Бодракова (тот укатил в командировку дней на десять), Лихопеков вместе с Тигановым Егором и зоотехником — стареньким Квасовым — создали в колхозе еще отряд, приспособили кое-какую поношенную технику, вычистили силосные ямы и принялись набивать их бурьяном, картофельной ботвой, свекольными листьями, отавой и пересыпать все это солью, готовить сенаж.

Вскоре из Башкирии вернулся и Бронька. Отчитываясь на правлении, на первый же вопрос: «Ну, как там?» — ответил уклончиво: «Всякого пета до черта с лета. По-

ступят вагоны — увидите». А когда его упрекнули в отсутствии должной энергии, возразил: «Разорвись надвое, скажут, почему не натрое». С тем и пошел домой отдыхать.

Соломка, конечно, поступила на станцию, это неплохо, но меньше, чем намечалось, и сенаж, приготовленный тут самими, вселял надежды на более менее успешную зимовку скота.

Одно было нехорошо: мнение Егора Тиганова о посылке бригады в Башкирию стало известно в райисполкоме. Об этом сообщил ему по секрету начальник райсельхозуправления, по специальности тоже агроном. Начальник сказал, что пока он точно не знает, откуда такие сведения, но, если верить все тем же слухам, в райисполкоме лежит бумага от Бодракова, в которой председатель подробно перечисляет грехи Тиганова и просит оказать на него средства воздействия, а лучше перевести агрономом в другое хозяйство.

Известие это ударило, как обухом, по Егору. Выходя из кабинета начальника, он даже в окно сунулся вместо двери. Уже по дороге домой, в автобусе, Егор взял себя в руки и стал собираться с мыслями. Вот тебе и Бодраков, ничего не скажешь, хорош! Да ведь не первый год на руководящей работе, пора кое-чему и научиться. Егор знал, что в природе существуют такие руководители: одни слова у них официальные, для общего употребления, а другие, тайные, — для ведения дел. Вот как Бодраков поступил с Селивановой школой, все вроде довольны, а детишки все так же не дома, а в интернате...

С уборкой картофеля в колхозе справились, сахарной свеклы — тоже. И вот, когда схлынул поток полевых работ, Егор иногда задерживался дома в Тигановке. Походив по двору, брал топор, шел к отцу помогать бабке Гале: подрубить в охотку дровец, перевесить дверцу у поросенка.

Дом без матери был сирота. Лучшая доля ушла вместе с ней безвозвратно. Но мама еще словно жила здесь, была вчера да так, отлучилась куда-то и, может, вот-вот вернется. На каждом шагу встречались Егору следы ее жизни: в кладовке висело на гвоздике ее сплцовое, в клеточку, платишко, в каком она в жаркую пору бежала доить колхозных коров, в столе он наткнулся на варежку с распущенным пальцем, он помнил, как на морозе она старалась больше держать эту руку в кармане,

все некогда, ряд до себя не доходил. Со шкафа Егор снял штанишки Устинчика — недошитые в поясе, теперь она их никогда не дошьет...

Бабка Галя выворачивалась перед внуком, уж не знала, чем его и угостить. Егор съедал безразлично все, что ему подавалось, и уходил из дому, в поле. Он шел обычно к буграм, где испокон веков тигановцы собирали бугровую клубнику. Шел и глядел себе под ноги, считал по привычке мышинные и сусличьи дырки, складывал, делил, перемножал. «Если сумму разделить на количество сусличьих дырок и получится семь, — загадывал Егор, чтобы чем-то занять свой ум, сейчас он ни о чем не хотел думать, ни о чем переживать, просто дышать, — если получится семь, значит, все в колхозе у меня будет лучше, чем было, значит, все хорошо». Как ни странно, получилось семь с хвостиком, это обрадовало его, как ребенка... С утра чуток припорошило — наипервейший снежок, и не везде еще стаяло. И тут Егор увидел зайца. Заяц сидел под кустом, выделяясь на белой невытаянной полянке своей серой, еще летней шубкой, следил за ним напряженно: заметит или не заметит?

— Переодеваться, милый, пора, — посоветовал ему Егор, и заяц стрелшул по зяби.

Бодраков дал на отдых Егору недельку, и Егор решил съездить в город. Он шагал по улицам и площадям этого довольно крупного промышленного и культурного центра. Егор отвык уже от трамваев, троллейбусов, от таких крупных зданий и такого скопления людей. Суета сует, все суета. Ему почему-то подумалось, что там у них, в Тигановке, скворцы с весны едва просыпаются, как сразу же бросаются на поиски пищи, и так летают, летают, летают в поисках хлеба насущного, пока не захочется спать. Он поймал себя на том, что смотрит на город сейчас совсем иными глазами — глазами человека земли, глазами кормильца.

В институте все обступили его: ну, как ты, герой, как там у вас на переднем крае? Егор не преминул улыбнуться отдельно доценту из их кафедры неорганической химии Захарченко, этакому добролюбцу, домашнему человеку, он любил всем рассказывать про тещу свою и жену, которая не желала от него и слыхом слышать о сельском хозяйстве, а когда пришлось постоять в очереди — молока вовремя не подвезли, сама встретила его, из ко-

мандировки, словами: ну, как там виды на урожай? От Захарченко, от других своих бывших коллег Тиганов отбилась довольно легко. Друзья потащили его в кафе.

В какие-нибудь полтора часа все разве выложишь? Так, самую малость, без архитектурных излишеств. Но ситуация всеми была схвачена сразу.

— Все дело, конечно, в работе, — сказал один. — Труд всегда человека вывозит.

— И черти в болоте воду мутят, лягушки квакают, — возразил другой.

— Будешь сладок — съедят, — сказал снова первый. — Будешь горек — выплюнут.

Егор, разумеется, не желая быть ни съеденным, ни выплунутым, ответил сразу обоим, что покамест никто не собирается его ни съесть, ни тем более выплевывать.

— Сварганить этому Бодракову коллективное письмо, — сказал один. — Коллектив всегда человека вывозит.

— Будешь в коллективе — съедят, — возразил второй. — Будешь без коллектива — выплунут.

— Ладно, хватит уж, посидели, — поднялся Егор. — Собираться надо, завтра чуть свет назад.

«Вот и поговорили, философы, — думал о приятелях Егор. — Сколько времени было с ними проведено, сколько затрачено, если перевести на мягкую пахоту, человеко-часов. А встретились — поговорить не о чем»... Зашел для интересу в столовую, наел на целых два рубля ноль-ноль копеек. Удивился, неужели за каких-то несколько месяцев стал таким прорвой?

Присел в скверике, смотрел, как люди бегут, торопятся — с хозяйскими сумками и портфелями, рюкзаками и «дипломатами», чемоданами и целлофановыми пакетами. Как летят все туда же грузовики и легковушки, трамваи и самосвалы, «хлебовозки» и подъемные краны. Сыплют искрами с дуг, оббегают дома сизым шлейфом, гудом уши закладывают. И подумалось вдруг ему о своем Ярище как о рае земном, захотелось в свою Тигановку, к речке Чистюньке, к Арысь-горе и полям. И Бодраков-то ему показался вдруг не сердитее этого человечка, который только что вывернулся из-под машины, переходя улицу в неположенном месте. «Отвыкаю от города, — закрыл глаза Егор. — Как говорит Бронька: нос у нас не с того боку затесан».

И, хлопнув себя по лбу: «Черт возьми, чуть не за-

был!» — сам понесся в магазин через дорогу, пока его не закрыли, спросить в «Автозапчастях» муфту сцепления для Бронькиного «вертолета».

Это было затишье перед бурей. Бодраков пока играл с Егором в кошки-мышки: дал недельку на поездку в город, не таскал в кабинет по пустякам, чтобы в самом деле показать перед всеми свою объективность. А дело было гораздо глубже, чем это казалось с первого взгляда: дисциплина в колхозе подрасшаталась. Даже конторские без прежней ретивости выполняли бодраковские указания, а простые колхозники вовсе ворчали при случае: «А рыбка гниет с головы». Бодраков знал, что они имели в виду — нутрий, которых он привез аж из Западной Украины, из-под Трускавца. «Глаза» и «уши» доносили, что взамен «Карасина» ему приклеена кличка «Фермер» и что он, мол, специально допустил той зимой падеж телят, чтобы таскать мясо вынужденного забоя своему кобелю, охраняющему его звероводческую «ферму». «Им, значит, можно держать лично по две коровы и телку, — уязвляли его до ярости эти слухи. — Я им даю потачку, государство, стало быть, допускает. Бронька развел этих нутрий даже больше, чем у меня. Им, значит, все разрешается, а мне, значит, председателю ихнему, тоже человеку на земле, значит, нельзя?»

Это вызывало в нем серьезный протест, но против всех не погрешь. И тогда Бодраков надумал поприжать хвосты кое-кому, дай срок, он лично возьмется, для примера, за Тиганова Егора — молодой, не выдержит, на его ошибках будем учить остальных.

К такой «механике» Егор и в мыслях, конечно, не подбирался. Когда ему сообщили, что на правление выносится его, агрономский, вопрос об окончательных итогах уборочной и должен присутствовать представитель райсельхозуправления, он почувал что-то неладное. Ишь, оказывается, куда берет Бодраков: он, агроном Егор Тиганов, идет даже против некоторых указаний свыше, из райсельхозуправления, а что же тогда для него слова председателя?

С волнением ждал Егор, возможно, и большим, чем в тот раз, заседания правления. Тогда дело было попроще — с Щекотихиной Ольгой и механизатором Прокопным, но не после ль того между ним, Егором, и прос-

тыми колхозниками возникла та самая «трещинка», из которой Бодраков до сих пор пытается сделать разлом. И вот это-то не давало покоя Егору, красило предстоящее в мрачноватые краски. Он ехал сюда не за длинным рублем, вернулся, чтобы щедро делиться с людьми, что понял сам, чему научился, что дал ему город. «Что ж, вы, земляки мои дорогие, по телевизору спектакли столичные смотрите, ездите по домам отдыха в Крыму и на Кавказы, бывает, книжки дельные в руках держите, а в хате мухоту развели, в бане не были черт-те когда, целый день кое-как, а на ночь глядя так напрутесь, ибо еды всякой хватает, что и встать, раздышаться не можете; и это не нами начато — не нами и кончится, так? У каждой коровки своя пестрота? Жизнь новая, а замашки-то старые. Когда ж будем от той «пестроты» очищаться? Должны же они мне поверить, я к ним от чистого сердца, я — свой»...

Члены правления уже были в сборе, когда, наконец, из боковой двери — председательского кабинета — сюда, в красный уголок, с непроницаемыми, суровыми лицами вошли Бодраков и представитель из Алатыря, уже знакомый Егору, начальник райсельхозуправления Колегаев. Для разрядки Бодраков отпустил шуточку, на которую никто не среагировал, и заседание началось.

Бодраков обрисовал картину успешного хода уборочной, остановился на мерах, которые принимало правление и лично он, председатель, чтобы все шло, как по маслу. В заключение высказался в таком смысле, что, если бы не вмешательство опять-таки его лично и членов правления (улыбка в их сторону, кое-кто закивал головой), уборочная, возможно, была бы не столь успешной и виной тому отдельные действия вот сидящего здесь агронома, Тиганова Егора Трофимовича. И вновь рассказал о случае с Щекотихиной Ольгой и механизатором Прокопциным.

— Да хватит вам! — подал голос кто-то в дальнем конце стола. — Ведь уже обсуждалось, говорили уже.

— Нет, не хватит! — резко сказал Бодраков. — Мы, понимаешь, проявляем тут либерализм, а это нам же боком выходит... Вопрос был поставлен, видно, недостаточно остро, если агроном не сделал достаточных выводов. И это выразилось в следующем, я бы сказал, серьезном проступке. Агроном игнорировал указание вышестоящих организаций, вот сидит здесь представитель района то-

варищ Колегаев, не даст соврать, оп в курсе, я ему сигнализировал вовремя (улыбка в его сторону, тот закивал головой). Так вот, на грань срыва были поставлены указания райсельхозуправления о посылке бригады в Башкирию на заготовку кормов. Этак мы не можем работать, это что — анархия получается? Баспя Крылова — лебедь, щука п рак? А у нас, дорогие товарищи, зимовка на носу, пятьсот голов одного только крупного рогатого. А молодняк? А овцы? А народу — дояркам, механизаторам — надо что-то выдать для личного скота за их успешные действия на трудовом фронте?..

— Что вы человека с грязью мешаете? — поднялся во весь свой могучий рост механизатор Природин, стоял и мял в руках новый картуз. — Что вы все выворачиваете, для чего? Не пойму...

— Как это «с грязью»? Что тут «выворачивают»? — раздались отдельные голоса, которые всегда раздаются в нужный момент. — Ты, Природин, сядь-ка посиди, не твое это дело.

— Как это «вы-во-рачиваю»? — продолжал Природин, несмотря на тайные и явные знаки Бодракова молчать. — Да если бы вот не агроном наш, не Трофимыч, он ведь, не кто-то другой, организовали вот с заместителем, с Лихопековым, заготовку сенажа, три силосных ямы набили. А если бы только на соломку башкирскую понадеялись, что бы имели сейчас, накануне зимовки? Духовой оркестр и вальс «На сопках Маньчжурши»...

Раздались выкрики, не понятно, кто что говорил и кто кого слушал. И тут поднялся представитель района — начальник райсельхозуправления Колегаев.

— Прошу внимания, прррошу внимания! — обращался он к залу.

— Товарищи, соблюдайте порядок! Стыдно! — поддержал его Бодраков. — Будем выводить отдельные личности, не можем вести себя в общественном месте... Да тихо вы, ша! Передаю слово вот ему, Евгению Андреевичу.

— Я, товарищи, человек у вас свежий, может, еще до конца во всем не разобрался, во всех нюансах и тонкостях, — улыбнулся Колегаев мягко, интеллигентно, поправил в светлом ободочке очки. — Но попытаюсь высказать свое мнение по ситуации, насколько я ее понимаю. Вот мы уже имели беседу с вашим агрономом, э, Тигановым... с товарищем Тигановым. И у меня сложилось о нем неплохое впечатление. Да, он прямой, открытый мо-

лодой человек, готовый каленым железом выжигать недостатки, а кто из нас, дорогие друзья, не был в молодости таким? Кто не мечтал покорить Эверест, не петь на сцене Большого театра...

— Я не мечтал,— выкрикнул голос из приоткрытой двери.

— ...наконец, не мечтал бороться за вполне справедливые человеческие отношения. Это молодость, это поэзия. Я знаю, Тиганов у вас пишет стихи. Но, дорогие мои, жизнь-то все-таки проза. А у прозы свои, извините, законы. А один из главных законов человеческого общежития...

— Вот чешет! Прямо лектор, ей-богу,— шептал зоотехник Квасов на ухо Егору.

— ...закон этот гласит: прежде чем командовать, научись подчиняться. А если бы все это было на фронте?

— Действительно, ведь ясное дело,— не выдержал Природин,— а мы развели антимонию. А все оттого, что ярлык на агронома кому-то навесить хочется, чтобы молчал, плясал под дудочку... вальс «На сопках Маньчжурии». И это так поступать с человеком, можно сказать, в начале его трудового пути, эх мы!..— Природин вздохнул и сел.

— А ведь я тебя рекомендовал,— живо вскочил Бодраков,— мы тебя выбирали профоргом. Недопонимаешь, путаешься в ситуациях, не соответствуешь...

— Как это путается? — забеспокоились за столом, даже среди членов правления.— Это не нам с вами, Финяген Ксаных, решать, на то есть профсоюзное собрание.

— Ну вот что! — отмахнулся от всех Бодраков, у него это бывало, его повесло.— Вопрос ясен, и фактов у нас предостаточно, все проверены, все налицо: в одном случае — агроном превысил свои полномочия, в другом — пытался подменить вышестоящее руководство, вот тут товарищ сидит из райсельхозуправления (улыбка в сторону Колегаева, тот закивал головой), он согласен. Пройти мимо этого мы не можем, обязаны отреагировать... На первых порах предлагаю агроному такую меру — выговор. Кто — за?

— Обвиняемого-то забыли,— раздались голоса.— Что ж, его-то не выслушали?

— Ах, да,— спохватился Бодраков.— Ну, говори, Тиганов.

Егор встал и стоял, опустив голову, молча. И тогда в

тесном зальчике снова возник такой шум, что тут ему не хватило места, и он вырвался в форточку, уходил в поля, перелески, к устью речки Чистюньки, где свистали ветра, урчал трактор, пролетал на юг косяк журавлей. И тогда возник перед всеми пока еще новый в Ярище человек — заместитель председателя Лихопеков.

— Нельзя же так, — сказал он тихо, но его слышали все. — Кадры есть кадры, это — специалисты. Прошу, товарищи, объявить перерыв.

XVI.

Егор помпил хирурга в черных квадратных очках. Наклонясь над ним, тот говорил:

— Ну здравствуйте, вот мы снова и встретились. От судьбы, братец мой, не сбежишь.

Очнулся Егор в палате. Лежал и не шевелился. Вся прошлая жизнь представлялась ему сейчас за чертой, которую провел по нему, живому, хирургический нож. Порой вспыхивало до боли, что все это ложь — больница, медсестры, врачи, никто не говорит правды. Лежал и прислушивался к себе, нет ли желудочного кровотечения... Хм, отрицательный резус, просто не знают, как поступиться, чтобы сказать самое худшее...

Все дни были похожи один на другой. Не сон и не явь, посредине. Он слегка кашлянул, и тут его окликнули: явилась сестра с градусником, за пей, тоже в белом халате, на цыпочках входил в палату отец. Отец! Лицо заветрено, совсем седые виски. Ведь не говорил ему никогда и никогда ведь не скажет, как помнит он с младенчества всем своим телом касанье его жестких рук, сначала грела его на груди своей мама, потом давала держать отцу...

— Сыно...ок, — сказал он и как поперхнулся, откашлялся. — Чего же это, сынок, за мамкой надума...ал? — Опять поперхнулся, перекинулся щекой. — Чего это ты так пугаешь нас, совсем напужал.

И стал класть на тумбочку возле Егора яблоки.

— Какие ядреные! С той яблони, что за пчельней, не бойсь, бабка Галя их мыла.

— Спасибо, отец, — смотрел Егор на него, не мигая. — Какие, правда, ядреные с той яблони, за пчельней.

Глядели молча в глаза друг другу. Минуту, другую — глядеть можно так и вечность. Пока глядит вот так на

тебя твой отец, ты будешь жить, никогда ни за что не умрешь.

Явилась все та же сестра со строгим дикторским голосом: «Достаточно, уходите». Отец пригнулся от ее голоса, как от удара, спохватился и вышел. На двери еще долго держалась его узловатая тень. Егор прикрыл глаза — тень не исчезала... Та, крайняя яблонька у тех, крайних ульев, которую они сажали когда-то с отцом...

Посещение отца спутало Егору все его прежние чувства и мысли. Отец редко бывал в Алатыри, он не любил город. Не влюбил давно, еще в молодости, когда жулики обчистили его на Алатырском рынке, обобрали до питки, и он вернулся домой голый, голодный и злой не столько на тех, кто его обобрал, сколько на сам Алатырь, на улицы, улочки, закоулки, где плодятся эти чертовы жулики, которые «работают на производстве так себе, лишь бы числиться, а сами пьют с народа их деревенского кровушку». И дед Петрака тоже не любил ездить в Алатырь, при нужде посылал за себя бабку: мещане там, бывшие прасолы, в кооперации враз тебя выделяют и обдерут. В один из своих редких приездов в Алатырь дед заметил, что прасола эти стали теперь работать по учреждениям и магазинам, что придало мыслям деда новое направление. «А вот заболеешь,— подшучивали, бывало, над дедом Петракой мужики где-нибудь на порошках правления,— все равно в город ехать, в больницу, а куда денешься?» — «Не заболеею, не каркайте,— говорил дед очень серьезно.— А как заболеею — сразу помру...» Приехать в город было для отца маленьким подвигом. У Егора приподнялось настроение, захотелось немного порассуждать. Если хорошенько подумать, подвиги были в человеческой жизни, есть и будут всегда — подвиги военные, подвиги трудовые, подвиги внутренние и подвиги внешние... Внешние — это, когда человек совершает что-то и для людей это важно, полезно; и люди признали это свершение подвигом, возвели человека в пример. В таком случае люди больше думают о себе, чем о том человеке. Человек тот может погибнуть во имя других, может прозябать в мучениях, бедности, обидах и унижениях — какая разница, люди при этом думают о его общественной пользе, то есть не о нем самом, не о судьбе человека, а под флагом общества каждый думает о себе. Вот где скрыт эгоизм, движет какая пружина... Ну, а подвиги внутренние? Внутренние — от самого человека.

Простого смертного человека, как все. Каждый день он пересекает себя, в каждой мелочи, каждом поступке, делает выбор — это или вот то? И это ему стоит сил, времени, может, даже всей жизни. Незаметная, неиссякаемая работа души. А кто ее замечает, кто знает о ней? Только ты, в крайнем случае, твои близкие — семья или друзья. И если отсвет этой твоей работы ложится лишь на тебя да на близких твоих, и это хорошо, это — жизнь, достойная, с совестью, человеческая. А если отсвет твоей внутренней силы, ее неиссякаемости выходит за пределы тебя, твоих близких — семьи и друзей, если всем от того хорошо, что им, людям, стоит назвать это подвигом? Это тоже подвиг, тоже на пользу всем, но идущий к общественной пользе от самого человека...»

Егор закрыл глаза и лежал, не шевелясь. Он перебирал лица — родных, близких своих, земляков, стараясь войти в смысл, зачем они живы, для чего существуют, работают, дышат. Перед ним проходили лица ярищенских, тигановских, адамовских, лыковских, бугровских — у комбайнов, на пахоте, на переборке картошки, дома у плиты, у дверей магазина, возле памятника погибшим солдатам. Он думал: святые они или грешные, если живут, ходят за землей, кормят не только себя, но и других. Егор думал о маме...

Скорым шагом в палату вошла все та же медсестра. Сказала все тем же строгим дикторским голосом, но заметно волнуясь:

— Егор Трофимыч, к вам опять... очень много людей!

В коридоре послышалось движение, дверь распахнулась, и Егор увидел Природина, а за ним — своих земляков. Они заполняли весь коридор, теснились сюда в палату и все подходили, напирали. Мужчины и женщины, молодые и старые.

— Нельзя, не положено, — перекрывала руками дверь медсестра. — Куда столько? Колхоз весь притащили.

— Доктор разрешил, Варенцов, — раздались голоса. — Дочечка, да мы на минутку, взглянуть.

— Карантин, — стояла на своем медсестра, — а вы без маски, грипп в палату затащите. Давайте руководителя, одного.

Природин вошел и заполнил собой сразу полкомнаты. Набростил на плечи халат, подвязал к лицу маску и сразу же скрылся за ней.

— Евсей Нилыч, да ты не засти нам, экий верзила, —

укоряли его из коридора.— Да ты к сторонке, к сторонке, к степочке.

Природин кивнул Егору и стал жаться к стене.

Сбавив тон, сестра стала открывать вторую, застарелую в пазах половинку двери, Природин кинулся ей помогать. И дверь распахнулась, и Егор увидел в коридоре всех сразу. И все они разом разулыбались, заговорили что-то все вместе и врозь, замахали ему, старались вытянуть голову из-за передних, тянулись на цыпочках, чтобы только взглянуть сюда на него, хоть капельку, хоть углышком глаза.

— Трофимыч... Егор Трофимыч... Его-ор... Ну, как вы тут?.. Пришли вот, встречай... А мы к тебе скопом... А ты, что ж это, растянулся, вставай... Дела, Трофимыч, ждут, не залеживайся... Болезнь, да ну ее к врагу, вставай... Приехали к тебе, все теперь доноры... теперь не застрянешь, вольют бензинчику-то — потянет мотор... Трофимыч, как ты там, я тута, Комолый... а это я, Мажор... Трофимыч, это Бронька твой, броня крепка...

Егор как сел на постели, так и сидел, не мог встать. Искал ногой тапочки — ноги не слушались, рукой пижаму нащупывал — не владела рука, глаза не видели ничего вокруг, кроме лиц, этих глаз, этих улыбок, и слышались сразу и врозь все они, кто был там, за дверью, и тут, в его сердце.

Медсестра помогла ему найти тапки, Природин подал пижаму, и Егор встал перед всеми во всем своем нынешнем больничном обличье. Голоса обрезало, стало вдруг тихо. Слышно было, как в окне поет, залетев откуда-то, муха, звенит — натужается, бьется смаху в стекло.

— А что, ничего, хорош парень,— подала голос первой Щекотихина Ольга, Егор узнал ее, придержал на ней взгляд.

— Хорош парень, хорош наш агроном,— загудели вразноброд голоса.— Ничего, скоро встанешь... еще как по полям будешь бегать...

С тем и начали помаленьку расходиться, коридор стал пустеть. Отерев полотенцем со лба испарину, Егор опустился на койку, смотрел на Природина виновато.

— Ничего, Трофимыч, передохни, я не спешу,— подсаживался поближе к нему с табуретом Природин.— Посажу вот, и все,— говорил он, стараясь смягчить свой крепкий от природы, в рост ему бас. И тут он заметил

еще две койки и людей на них, привстал, поклонился им: — Здравствуйте.

— Рады видеть, — приподнялись на локти оба больные. Их перевели в палату лишь утром сегодня, они еще с Егором не познакомились.

— Да-к вот, Трофимыч, понимаешь ли, — подвинулся к Егору Природин, — мы кровь для тебя тут сдавать приезжали. Кровь у тебя какая-то редкая, отрицательный резус. Мы, доктор говорит, кровь частично тебе уже влили, а если люди ваши сдадут, еще возьмем, так и вовсе будешь, как повенький. Такой здоровяк — об дорогу не расшибешь, меня, брат, переживешь — это точно, ты еще вон какой молодой...

И тут за окном послышались крики, они долетали сюда, до второго этажа.

— Это наши кричат, — объяснил Егору Природин. — Прощаются.

Природин подошел к окну, помахал рукой.

— Да-а, ты, Трофимыч, ты еще молодой, — подсел он снова к Егору. — А вот мы с ними, — кивнул он на соседние койки, — в двадцать первый век не войдем, не дотянем. Зато ты доживешь, расскажешь о нас. Интересно, что о нас ты тем людям расскажешь? Да и что оно можно о нас рассказать?.. А будет, Егорша, в той жизни, куда мы стремимся, очень даже может быть интересно... Я вот землю, бывает, пашу, пашу и пашу, а мотор гудит и гудит, соляркой — в нос тебе целый день, гудом — в тело. До того допашусь, что, веришь ли, иной раз плюнул бы на все да и бросил, а нельзя, что скажут ребята? Скажут, если уж и Природин дальше не в силах, а что ж тогда мы? И тогда такое начинаю себе представлять, что будет с жизнью дальше-то: то она у меня, как гора какая в вечных снегах... по телевизору показывали, как ребята взбирались, Эверест или как она?..

— Джомолунгма, — подсказали соседи-больные.

— И вот представляется мне, что сидят на той горе люди все, ну, какие есть на земле и обедают вместе. И еды полным-полно всякой — и хлеба орловского круглого, и бананов, какие в Москве обезьяны жрут, и колбасу твердого копчения, которую тощуть домой областные и ответработники... Ну, а вместо водки берут себе в стопки снег прямо с горы этой и тают его, и пьют... Ну, вот так и допахиваю до утра за такими делами. Переспал часочка два и опять на работу. Зато в речку ни-

когда не заезжал и посеред пруда на тракторе не просыпался. Как Корнилов Колька намедни, допахался до того, что уснул (да, в тракторе, конечно, а где же) на берегу, а проснулся в пруду...

— Ты бы, Евсей Нилыч, про себя что-нибудь рассказал,— попросил Природина Егор.— Как живешь, что дома?

— Про себя-то? Ничего такого,— вздохнул шумпо Природин и стал водить пальцем по Егоровой простыне.— Бодраков-то после того начал цепляться, а теперь ничего. Лихопеков его прищемил, сам во все вникает, во всем разбирается. В пароде бают, видно, Бодракова скоро попрут, до посевной, может, и не доработает. Да и он сам чует что-то: машинепки стал гонять к отцу, в свой район — то леску строевого, то комбикормочку... Про себя-то? — опять повторил Природин.— Да не знаю, что и сказать. Вызывали меня намедни в Алатырь, в райсельхозуправление. Мы тебе, говорят, путевку в дом отдыха выделяем. Так что цени, понимай.— А на что, говорю, мне путевка ваша, я и дома, были б деньги, вот так отдохну: встал на лыжи, в зубы ружьишко и пошел себе по «колыме», по Кнубрю.

— Ну, и поедешь по путевке-то? — поинтересовался Егор.— Куда-либо к морю?

— А черт ее знает,— пожал плечами Природин.— Да у меня каждый год тут свое море. Сяду на комбайн, и вот оно передо мной: такое же, только желтое, хлебное, и корабли идут, и ветер гонит волну, вот только не тоном, земля под ногами близко, а так все как есть — с бурей, с градом бывает. Одно слово — стихия...

— Вот вы, извините, про стихию тут заговорили,— перебил Природина больной на кровати, где радиатор.— А я хочу вас спросить про другое. Я так ситуацию понимаю. Вот мы, государство, принимаем решения, решения эти идут по инстанциям, доходят до Алатыря, Алатырь доводит до вашего правления, ваше правление обязано довести до каждого хлебороба в отдельности. А хлебороб выслушал все это и кверху, извините, кобылкой, и весь механизм, выходит, впустую... Так бывает у вас?

— У нас не бывает,— скосил взгляд Природин на Тиганова Егора.— Может, где и бывает, а я, например, стараюсь. Осенью — вся зябь моя, летом — вся косовица, а зимой — так даже на ферму с поля солону вожу. Вон

агроном наш сидит, не даст соврать, взять меня — так я лично работаю.

За окном опять закричали: подъехал автобус. Природин попрощался, уже за дверью сдул прядь с отсыревшего лба и, шумно вздохнув, зашагал к выходу крупным, размашистым шагом.

Егор потрогал рукой табуретку: она была еще теплая. И мысли его перекинулись опять туда же, в деревню, вслед землякам. Как же шатка она, эта грань, совсем немного и — нет тебя, как и не бывало, не жил, и это может случиться в любую минуту, и только в других, твоих близких, только в сделанном тобой ради них, живущих, твои остаются следы. И он вдруг до осознания понял смысл той падающей августовской звезды, что тогда прочертила небо над ним со Стешкой. «Да в чем она, родственность наша людская? Только ли по крови?..»

— О чем ты думаешь сейчас? — спросил Егора другой больной, у окна.

— О звездах, — ответил Егор.

— Ты еще молодой, — вздохнули оба они, друзья по несчастью.

Вот какой редкий был для него этот, такой удивительный день. Если вздохнуть всем народом — ветер будет, если топнуть — землетрясение, если дело доброе делать — жизнь.

...В больницу за Егором прислали бодраковский «козел». За рулем сидел не шофер — сам механик Бронька Летягин. Егор радовался всему: и Броньке, и воздуху, ударившему ему в легкие и потрясшему все его шаткое, непривычно легкое тело. А главное — он возвращался домой. И не таким, каким уезжал отсюда. В больнице он понял, может быть, самое важное: каждый день, каждый час, в каждом своем поступке мы стоим перед выбором. Добро всегда открыто и бессловесно, это Злу требуются слова для прикрытия, и потому оно всегда тайно и многоруко. За Добром идет распахнуто Правда, за Злом — спотыкаясь и оглядываясь, тянется Ложь... В самом деле, если бы Бодраков все делал в открытую, он мог бы с ним спорить, применяя знания, доводы, факты. Но Бодраков часто действует тайно, а это рождает Ложь, а Ложь — это Зло...

— В теплое переоденься, броня крепка, — кивнул Бронька на заднее сиденье.

— Да ладно, — сказал Егор равнодушно и взглянул на

Броньку, тот был в мохнатой, черной в желтых подпалах, шапке-ушашке.— Откуда это у тебя?

— А что, модная? — красовался Бронька, глядя прямо перед собой. И наклонил голову к Егору:— Это кобель мой на голове, видал, ценность какая?

— Дружок? — вырвалось у Егора.

— А кто же? Он самый, подлец.

— Чего подлец?

— Да пу его,— вздохнул Бронька и ехал какое-то время молча.— Он, подлец, меня выдал.

— Кому?

— Да жене моей, Нинке... Между нами, встретился я с одной... ну, женщиной, женщиной... Дело позднее, к ночи. Стоим мы с ней, стало быть, у нас за огородами, да ты знаешь, возле щербатой ракиты. Прижал я ее, стало быть...

— Ракиту, что ль?

— Не хочешь — не слушай, а врать не мешай... Припер я ее, и так мы увлеклись. Гляжу, кобель из тьмы на меня — шшарах! Мой кобель. А за ним — Нинка. Мы кто куда. Нинка толком, правда, разглядеть не успела, все после допытывалась, так я ей все и сказал... А этого подлеца я денька через два за ошейник, ружье в руки и к стенке. А шкуру — на шапку. А что, хорошая у меня, Егор Трофимыч, шапка?

— Как же ты? — не знал, что ответить ему Егор.— Он же был дружком тебе, на охоту вместе ходили.

— А мне Бодраков обещал кобелька от овчарки,— переключил Бронька скорость поспешно возле Акинтьевского моста.— От чистопородной овчарки, от своей Кларки. Эх, броня крепка-а, и стежки наши склизки-и...

За мостом «козел» начал спова медленно, но уверенно набирать скорость, и Бронька с Егором опять замолчали. Миля с детишками на время болезни мужа уехала к матери в город, и Летагин подвез Тиганова Егора к отцовскому дому, как говорят, под порог. Встретила их бабка Галя. Стояла, старенькая, в телогреечке, посреди большого, какого-то сиротского двора. Так глянула, поначалу не узнавая, что у Егора в носу защемило, потемнело в глазах.

Бронька тут же развернулся и уехал, а бабка Галя кинулась к Егору сразу обеими руками, упала на грудь головой — маленькая моя, старенькая моя, бабуленька ты

моя дорогая. И заколотилась о грудь его всем своим ветхоньким, сухоньким тельцем.

— Живой, мой миленький,— только и говорила она.— Живой, мой болезный, родименька-а-ай..

Когда первые чувства схлынули, бабка Галя отошла в сторонку, оглядела его и заплакала, но уже спокойнее, тише:

— Да что же они с тобой исделали? Да куда ж они тебя дели? Полтела нетути, штаны все соскаквивают, прямо не твой — чужой пиджак, с чужого плеча... Устюшито нет, нет Устюши, мамки твоей, вот бы кто поглядел да поплакал-то на тебя, на сердешного, дробненького такого, родного — хорошего... Худенький какой, ясный личиком, красное солнышко...

Подъехал отец, сели ужинать. Бабка Галя наворотила целую миску мяса и все придвигала к Егору: ешь, внучек, ешь, наедай себя, поправляйся. Недавно зарезали одного поросенка, другого собирались сдавать на деньги, теперь и другого нарежем, коли надо, себе.

— Мне такое, бабуль, покамест нельзя,— говорит Егор.— У меня, бабулька, диета. Я скажу потом, что и как мне позволено.

И потянулся было открыть бутылку. Отец положил ладонь поверх стакана, глядел на сына долгим, пристальным взглядом. И Егор понял его: мама где-то еще совсем близко, тень ее витает, живет в этом доме. Мама, мама, родная моя, самый близкий мой человек...

На другой день они с отцом пошли проведать ее на кладбище. Набрали всего: конфет, пряников, даже лимон. Сначала постояли с краю перед бабкой Агашей и дедом Петракой, покрошили им хлеба, полили водой. Егор бросил еще и конфет — это бабке, бабка любила чай пить с конфетами. Егор стоял, опустив голову, думал. Вот тут же, может, лежать и ему, в этой молчаливой, корявой, такой неуютной и в то же время такой родимой земле. Стоял и думал, сколько здесь похоронено жизнью, сколько Добра и Зла. Злоба ушла и пусть, пусть она себе там, в могиле, зачем она Жизни? Но почему же вместе с ней и уходит Добро? Ну, нет, возражал Егор сам себе, нет, Добро не уходит так просто, оно ведь так нужно живущим.

Егор стоял и молчал. И боялся сдвинуться с места, пойти туда к матери, увидеть вместо могилки ее глаза.

— Пойдем,— сказал отец и двинулся первым.

И сняли шапки, и без шапок стояли. И такое Егора взяло вдруг горе, что он разрыдался, совсем обессилел. Отец обнял его за плечи и повел скорее отсюда домой.

XVII.

А ночью разыгралась настоящая буря. В трубе ревели и хохотало, сыпало в окна дождем — то горохом, то просом, то мелкой, жесткой, но еще терпимо заячьей дробью, а то уже нагло «волчатником», того и гляди, стекла не выдюжат, разлетятся в куски. Но всякий раз выдерживали, и в Егора входила уверенность в том, что буря — это не так уж и страшно, и даже приятное находил Егор в том, что там, на дворе, неуют, стезжки сразу осклизлись, проселки размокли, липа во дворе почернела, мотается из стороны в сторону телеантенна, а тут — тепло, чисто, можно взять книгу, включить телевизор или просто сидеть возле печки, которую затопила с вечера бабка Галя и на которой там, на лежанке, накрывшись еще и кожухом, спит-посапывает брат его Кузька. Непогода Егору порой даже нравилась, когда он был дома, другое дело — в поле, в ожидании рейсового автобуса на тракте, да и просто в дороге. Егор не завидовал тем, кого буря застала в пути.

Егор думал об этой не весть откуда свалившейся буре, о затяжном перед тем бездождливом периоде — почти целое лето сухмени, о том, что прежде бывало проще: крестьянин поставит на ветер обслюпявленный палец и знает по направлению ветра, какой ждать на завтра погоды, а теперь и вся большая метеослужба планеты со спутниками и кораблями слежения не может предсказать состояния неба хотя бы на неделю, он думал о том, что человечество сделало свой выбор, взяв себе направление. Как трудно сейчас прогнозировать урожай, ожидать каждый центнер хлеба на каждом гектаре, какие нужны на это силы, большие человеческие таланты. И сейчас галки кидаются наземь, по примете — к снегу, к перемене на холод, а с юга принесло теплый дождь; и сейчас солнце уходит отсюда на запад ясное — на устойчивость дня завтрашнего, но вдруг сорвется такая вот буря и все смешает. Как это по-крестьянски выражено просто и ясно: ждали галку, а выждали палку...

В начале века где-то в Америке взорвался огромный

вулкан, и пепел его прикрыл собой солнце, снизил в атмосфере температуру, и по планете прокатилась волна катастроф — с неурожаями, с голодом. И после первой мировой были неурожай и голод, и после второй. И люди списали все это на разрушение хозяйства, на ослабление экономических связей — эти естественные последствия войн, и были спокойны, привыкли. А были ведь и другие последствия, может, даже серьезнее привычных — эффект все того же вулкана, от взрывов миллионные выбросы в атмосферу, изменение климата и, как следствие, неурожай и голод. И если вулкан еще можно как-то понять и принять — ничего не попишешь, стихия, то войны-то, войны — они зависят от воли народов, всего человечества; зачем они людям, если тем самым, этими войнами, люди сами, своими руками разрушают сложившийся климат планеты, а значит, вредят и погоде, а через погоду — земле, урожаю, его, Егорову, делу всей жизни — его хлебоборбскому делу. «Значит, войны противостественны, они против самой природы,— думал Егор,— и человечество должно, наконец, осознать это и прийти к соглашению. Значит, мир при современных «вулканах» — это единственное, когда можно кормить людей всей землей...»

Егор отыскал в столе и стал перечитывать заново письма деда Петраки с войны.

Странно было представить на войне человека с топором и рубанком. Вот он строит мост со своими товарищами, вывершил все, как положено, даже перила огладил фуганочком, провел рукой, залюбовался работой: хорошо! Нет, мост, тебе слову, служи. А тут «юнкерс», «хейнкель», а может быть, «мессер», и хоп фугасом, и все снова в щепки. Да еще по мастерам, осколком кому-нибудь в спину. Вот ведь ужас какой — видеть, как только что сделанное, выпестованное тобой разрушают намеренно, так жестоко... Вот тебе и война...

Сколько всего от нее, от прошедшей войны, осталось здесь в земле, на земле, по дворам: два года же стояла передовая. На месте этого дома был бункер: они сломали старую хату, опустили вниз бревнами, спасались, как только могли. А вчера под собачьей будкой поднял гильзочку от ихнего пистолета, может быть, из нее вылетела та самая пулька, которой их офицер пристрелил нашего разведчика у этой вот, нашей липы...

И снова по крыше так грохнуло, так затрепало чем-то

снаружи, что Егор не выдержал, накинул на плечи телогрейку и, включив в сенях свет на уличном столбе, ступил за порог. Электричество выделяло двор огромным ярким пятном, дальше все было жуть и темень — огромное, непроглядываемое, непродыхаемое. Степной ветер выл и бесповался, белые снеговые полосы то косо рушились в землю, то закручивались спиралями в воздухе и волчком докручивались уже наземи, то сразу бросались куда-нибудь под застреху и рвали, раздергивали ее во все стороны, стараясь задрать железную крышу, обнажить дом и выхватить, выдуть из дома тепло, разом сломать весь уют. Егор задохнулся от удара снегом в лицо: в самом деле, шуточки плохи, это, пожалуй, зима.

Задирало железную крышу сарая — от сада, от пчельни в саду (отец ульи теперь не убирал). Корова Клуша — старая, уже десятым теленком, но умница и молочница, услышав человека, подала голос сыровато-мягким, сытным, проваленным в глотку звуком. Егор увидел, что одному тут делать нечего, и, если не принять меры, к утру, пожалуй, раскроет всю крышу, и он кинулся снова домой.

Все подпрыгнули по тревоге, как в армии. Накинули на себя, кто что успел, но Егор велел одеться теплее, и вышли вслед за Егором во двор. Отец сразу схватился за топор и гвозди, полез на крышу с угла, Егор — за ним, Кузька держал бесполезную лестницу. Бабка Галя где-то внизу бегала и плевалась.

— Да иди же ты, старая! — перекрикивая вой ветра, кричал ей сверху отец. — Иди и грей чай! Уходи с глаз.

Вдвоем, налегая с трудом на уже задранный торчком косяк, осаживали его грудью, старались уложить не желавшее повиноваться железо опять на свое место, на угол. Ветер при каждом порыве выхватывал из рук этот чертов косяк, и они каждый раз снова и снова налегали грудью, толкали непослушное железо в гнездо. Егор почувствовал в руках что-то мокрое, потом легкое жжение — то была ссадина, кровь. Наконец, железо не выдержало, и, когда отец загрохал по углу, придерживаемому сверху им, Егором, обухом топора, он, Егор, понял, что схватка выиграна, крыша будет на месте, и в остаток ночи можно будет хорошенько поспать.

— Ну и погодка, — разогнул спину отец и посмотрел с крыши в разбушевавшуюся степь, словно увидел все это только сейчас.

— Хороша погодка,— в топ ему ответил Егор, и они стали слезать с крыши по лестнице, которую все еще держал, начиная придремывать, Кузька.

На крыше их просифонило, и все схватились за бабкин чай. Егор вдруг ощутил страшный голод, давно ничего подобного не ощущал. Тело отходило от холода медленно, с напряжением.

— Тащи, баб, чего-нибудь посущественнее,— приказал отец.— Что там осталось у тебя от вчерашнего?

— У, полуночники,— как всегда, заворчала бабка Галя, без этого она не могла, и полезла в шкафчик и холодильник выставлять на стол еду и тарелки.

Дружно взялись за ложки. Суп был, хоть и вчерашний, но ничего, с курятиной. Отец подвинул поближе миску с картошкой, захрустел огурцом.

Утром, когда все поднялись и вышли во двор, снег непривычно резал глаза. На сколько хватало простору, степь холмилась седая и смиренная, привычная и непривычная.

...А через день опять все потекло. Ветер с юга пригнал теплые массы воздуха, и снег разом съело. Куда девался белый покров, земля откисла и погрузнела. Егор ходил по двору в резиновых сапогах и прибирал то, что валялось здесь еще с лета и на зиму нуждалось в укрытии: чугунок и кастрюли, дымарь, которым отец окуривал пчел, косы и грабли, обшарпаные, старые стулья и еще повый отцовский прорезиновый плащ, бабкины кубаны и махотки...

Походив туда-сюда в дом и из дому, через какое-то время Егор поймал себя на том, что лишний раз ему уже не хочется мыть сапоги в железной, наполовину обрезанной бочке, натура склоняет его ушмыгнуть в сенцы так, как-нибудь, ну, что там, право, много грязи за раз не нанесешь. Егор вспомнил, что с этим в городе было полегче, этого в городе он просто не замечал, прошел по асфальту, поднялся к себе на этаж, в крайнем случае, снял обувь у входа в квартиру, переобулся в тапочки, вот и все. Но это же в городе...

Все в Егоре входило в более спокойное, размеренное русло. Гонял, бывало, бабку Галю за нечистый передник, а бабка Галя перетаскает на животе столько чугунов и кастрюлек, так за день уходится, где же сил ей набраться еще и на то, чтобы был чистый передник?

Вернулся Егор с речки — носил туда бабке Гале белье

да загляделся, как текут по Чистюньке свинцовые облака. Как что-то толкнуло, глянул, а от «Светлого березового хода» сюда вниз «газон» спускается. Отец привез Милю с ребяташками, вот так подарок!

Сразу же всей семейной оравой отправились к себе туда, в хату деда Петраки. Нырнул Егор за сарайку дровец подрубить, глядит, то Нюрка Чернова пробежала мимо него, то сам бригадир Усыпин прошествовал, а то сразу кучей доярочки во главе с Тигановой Тоськой. И все к ним туда в хату. И у каждой что-то в руках. Ступил Егор за порог, повел носом, а тут уже праздник.

Собрались все, кто ездил в больницу кровь Егору сдавать и кто просто болел за Егора. И стол на скорую руку был не такой, чтобы очень, но ничего, неплохой получился стол, а ведь дело еще — в человечности.

Расселись по стульям, по табуреткам, по лавкам, снеженным со всей Тигановки, и подивились, сколько же у Егора Трофимыча с Милей друзей. Шумно не было, шумно гулять и не собирались. Просто пожелали Егору здоровья, а молодой семье — жить да здравствовать, получилось вроде как новоселье.

И тут в ответ встал отец Егора — Трофим и предложил тост за всех людей, которые помогают друг дружке, всегда подпирают в тяжкую пору друг друга, у которых в крови всегда нужный делу такому резус.

Потом пригубили за мальчишек — Егорову новину, за хозяйку дома, за сам Петраков дом — слава тебе, теперь в хороших руках. И разговор полегоньку налачился, нешумный, степенный такой разговор.

— Слышали, деды, броня крепка, про новое постановление: все трудовые ресурсы — селу! — аж привстал, обращая на себя внимание, Бронька Летягин.

— Хорошее постановление, важное, — среагировал тут же дед Колчак. — А я помню еще и старые, залежалые и отменные. Кабы мы по тем, отменным-то, жили, до такого бы стола не дожили, давно бы по миру куски собирали, а то, может, стянуть захотелось, где что плохо лежит.

— Что было — видели, что будет — увидим, — раздалось и с других столов. — Ты, дед, лучше бы помолчал: в рот, закрытый глухо, не залетит муха. Послушал бы, что молодые-то скажут.

А сами настроились уже на Тоську Корсакову, она рассказывала:

— Поехала я, значит, в город...

— В Алатырь?

— Зачем, в большой, областной... Пришла в главупи-вермаг, гляжу: очередь.— «Вы на воротник?» — спрашиваю я — стоит один субчик, вижу, шпекулянт явный.— «Нет, на сапоги», — отвечает.— «На какие?» — «На испанские... Обуешь, ножка — во, не узнаешь». — А давали чешские... Вот какие они, шпекулянты городские. Мы коров тут доим, молочком их снабжаем, а им нам пустяка, правды пустячной неохота сказать, оглоеды.

— Оглоеды, оглоеды, — поддержали все Тоську, особенно бабы. — Спасу нет от тех шпекулянтов.

В такой обстановке, в гуще своих земляков, Егор чувствовал себя куда лучше. Он слышал это кружение голосов, и ему становилось спокойнее. Приободрились, поглядистее стали окна и стены, которые они с отцом освежили и которые жили сейчас с людьми, с его семьей, с ним одной общей, неделимой жизнью...

Встали, уходили все сразу. Уже на улице давали голосу ходу, говорили громко уже, не стесняясь.

— Да какой же он у тебя, дочк, — первый, мужик-то твой? — уходя, липла к Миле бабка Колчака. — Ну, конечно, первый... Сама, стало быть, хороша. За хорошей бабой и мужик тянется. И Ивашка у вас хороший, такой ласковый мальчик. Да где хоть он?

— В интернате.

— Вот горе-то, вот беда! — сочувствовала Миле старая Бозыриха. — Мать дитенка свою с таких-то годочков не видит.

Егор с Милей стояли у выхода и с каждым прощались за руку, никак не могли распрощаться. И каждый уходил с таким избытком слов, что в иной раз их хватило бы ему, может быть, на неделю. А в хате тем часом металась туда-сюда доярочки — подружки Устиньины. Одна выносила в ведре остатки еды, другая — мыла, перетирала посуду, третья подметала полы, а следом кто-то-уже заходил с мокрой тряпкой. Вмиг расставили все лавки, стулья, столы, расстелили клеенку по кухне, принесли с улицы на видное местушко в горнице стеклянную банку с присохшим уже, таким синеватым мордовником. И, сделав все, одна по одной, словно растворились, ушли незаметно.

— Видала, какие у меня земляки! — гордился Егор перед Милей. — А в городе мы бы с тобой провозились до

полуночи. Живешь на своем этаже и не знаешь, кто выше тебя этажом. Ниже еще узнаешь, когда зальешь случайно водичкой.

— Не заливай,— спокойно заметила Миля.— Держи свои краны в порядке.

— Отцовы глазыньки, отцовы глазыньки,— поталкивала бабка Галя мягкую, голопузую попу Устинчика.— А мы мамке тебя не отдадим, мы с собой тебя заберем...

Сидели всей семьей — не хватало только Ивашки — и обменивались словами о сегодняшнем празднике, о том, кто что сказал, а чего не договорил, завтра отцу приступить к вывозке навоза с Устищиной фермы. И тут отец возьми да и скажи, что правление выделило ему «Москвича», бери деньги с книжки да поезжай, хоть сейчас, в Алатырь и забирай.

— Тебе отдаю, сынок, как обещал,— говорил отец и ловил ртом за носик Устинчика.— Вот права Устинчику нужны, теперь учиться надо на это Устинчику.

— Ой, да Егора учили там в институте!— так и вспыхнула Миля, вся просяив.

И все засмеялись на то, что так искренне вырвалось у нее, все и начали обсуждать, как теперь будут они жить с «Москвичом» и куда теперь будут ездить.

— Размечтались,— осаживала их бабка Галя, а сама хлопотала, одевала Устинчика.— Размечтались, внучок, твои дед с отцом, отец с матерью. Чулки новые, а пятки кволые. Еще денег на это дело хватит ли?

— Хватит,— успокоил ее Трофим.

В правлении Бодракова Егор не застал: только что уехал в Алатырь, и Егору попался на пути Лихопеков, его заместитель.

— А-а, Егор Трофимыч, болящий,— кинулся он к агроному, стал ощупывать плечи, заглянул даже в глаза Тиганову.— Ну, как, ничего уже или все еще бюллетенишь?

— Колокол,— стукнул Егор себя по груди.

— Вот и хорошо! Здоровье нам теперь нужно, брат, лошадиное. Дело начинаем какое!.. Давай-ка я тебя в одно местечко отвезу, кое-что посмотрим, по пути все и расскажу.

Приехали не куда-нибудь, а к триангуляционной

вышке. Здесь всегда ветер гуляет и всегда первым на местности сходит туман.

— Узнаешь? — усмехнулся Лихопеков.

— Узнаю, — пожал плечами Егор.

Место, что ж, было зпатное, известное Егору не только по случаю с Щекотихиной Ольгой, а еще со школьных лет, когда одни бегали из Тигановки в Ярище через Козюлькин лес мимо Арысь-горы, а другие, как и Егор, — через эту вот «вышку».

— Вот тут мы, товарищ агроном, комплекс и будем строить, — повеселел Лихопеков. — Район нам дает указание вдвое увеличить производство мяса и молока и подкрепляет возможности. Средства уже выделены, подрядчики и субподрядчики ищутся. Скоро появятся проектировщики делать привязку к местности. Тут мы и думаем предложить... Валуны к чертовой матери, бугры срежем бульдозером, разровняем...

— Красота какая, чудо природы! — вырвалось у Егора. — Вся окрестность, как на ладони.

— Красивое место, — подтвердил Лихопеков. — Да ты, Трофимыч, не дрейфь перед такими масштабами. Большая цель рождает большую энергию. Тут такое закрутится! Одного крупного рогатого скота будет голов под тыщу. Чем кормить, из Башкирии соломку везти? Свои корма надо будет иметь, твердую кормовую базу. И где взять? У себя, с тех же самых полей и лугов. Вот тебе, агроном, и работенка. Прежнюю технологию побоку, работать по-новому, у тебя же, Трофимыч, нет стереотипа, тебя еще опыт прежний на дно не тянет... Такая вот, Егор Трофимыч, у нас с тобой, у колхоза нашего перспектива.

Лихопеков завез Егора обратно в Тигановку, побывал в доме, похвалил хозяйку за то, что она немислимо быстро создала уют семье их колхозного агронома, на которого теперь такие большие заботы валяются, такие масштабы открываются, что нужны будут силы, а, значит, тепло домашнее, ласка.

— Заодно и со стандартным домиком на центральной решим вопрос, — уже уходя, говорил на пороге он Миле. — Как вы на это, не против? И о работенке подумаем. Кстати, какая у вас специальность?

— Экономист. А перед тем кончала еще и педучилище. Странное сочетание.

— Что же ты, эгоист несчастный,— повернулся Лихопеков к Егору,— скрываешь дома такого специалиста? Нам такие кадры — вот как нужны.

Лихопеков умчался, а они с Милей, прикорнув возле спящего в кровати Устинчика, долго еще обсуждали слова Лихопекова, которые взвихрили и растормошили Милину, дотоле однообразную, жизнь.

— И Ивашка будет жить дома,— вздохнула Миля, встала и пошла выключать электрический свет.

Едва схватило морозцем дорогу, Егор в первый раз выехал на своем «Москвиче». Он проезжал полями, проселками, по каким бегал с детства, хаживал уже агропомом пешком или трясся в Бронькином «вертолете». Зелень, притрушенные снежком, проворачивались по сторонам, мягко урчал мотор, в машине было тепло, даже дремотно. Егор щелкнул переключателем приемника:

— Миллион, миллион, миллион алых роз,— пела привычную песню певица.

У Адамовой мельницы, возле того самого куста, Егор приостановился. «Снаряды из-под корней изъяты и взорваны,— подумал он.— Значит, розы опять станут алыми? Конечно, зачем же им быть голубыми?»

Что-то притянуло к себе взгляд Егора: комбайн марки «Нива». Все там же, у сада Бронькиной тещи. Все в тех же остатках соломы. И такое вдруг обуяло Егора: «Ну, сóтоны! Ну, стервецы! Хоть землетрясение, хоть залься тут все океаном, хоть само солнце выкипи, а комбайн будет стоять, где стоял...»

Отдирал рукой комья с колес, и злость постепенно сходила, заменялась сознанием, что не так-то все это просто, на то она, жизнь.

На высоком холме, у триангуляционной вышки, Егор вышел из машины. Перед ним терялись в дымке озера, поля, перелески, селенья — Родина, мать Россия. И сколько же неба, сколько земли и простора. Вот туда, к Арысь-горе, устью Чистюньки, улетала тогда белая чайка. Хорошо-то как подняться сюда, постоять просто так. И почувствовать, как набираешься сил, очищаешься, без чего ну никак нельзя человеку. У каждого должно быть такое местечко, точка опоры — глаза полей, почка живая земли.

Уже под Октябрьскую, в неуютную, мерзлую землю, отец посадил на могилке Устиныи — жены своей, Егоровой матери, чтобы не скучала, куст с Адамовой мельницы, тот самый, красивый летом, с голубыми розами куст.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Черный ворон, ты не вейся
Над моею головой.
На добычу не надейся,
Черный ворон, я не твой.

Народная песня.

I.

Редко такое бывало, чтобы снега поднялись и ушли так дружно, без дождя, от одного только солнца, чтобы так же поспешно согнало лед с речек Чистюньки и Кнубря на всем их протяжении. Начало апреля, еще март по старому стилю, а все по деревне ходят в одних пиджаках. Дед Колчак — из нахальства — промчался из конца в конец Тигаповки, перед окнами в одной только рубахе. Но кто не знает, что апрелю недолго и подвигнуться, потянуть с северо-востока — от Карского моря — знобкому ветру, замельтешить перед глазами остуженному перепорху, захрустеть под шагом крупитчатому, хрупкому по-молодому, ясно-белому снегу.

И все же ракета уже дымила через дорогу и облегчала зеленью душу, напоминала о предстоящем натиске солнца — пачале великих весенних работ, когда хочется, кажется, все объять-захватить, растянуться всюду. Однако, глядя на людей, бабка Галя и себе накинута на плечи старенькую телогрейку, чтобы не прохватило ее старые, скрипучие кости, взяла в руки железные грабельки да и двинула на огород, к чесночным грядкам, посаженным под зиму и притрушенным от кур хворостяной мелочью.

Егор шел за ней следом, откинул лопатой свесь жухлой травы и на гладком, еще сыроватом срезе увидел синеватую, металлическую тускловатость — след осеннего плуга. Хватким, пристальным глазом выделил на краю пахоты комок земли в сероватом, пыльном налете, положил себе на ладонь, поднес ближе к глазам, даже понюхал, даже — грешным делом — на зуб хотел, как семечко, бросить, на вкус испробовать этот сладкий кусочек,

но вместо того падавил на него сверху ладонью, кусок меж ладонями так и рассеялся. «Созрел», — обрадовался агроном и тут же заметил, как в разные стороны побежали красные, с черными пятнышками на спине жучки — «солдатики». Они устремились не к берегу, а от берега, в поле. Егор наклонился, сосчитал черные пятнышки на спине одного из этих «солдатиков», сложил их, разделил, перемпожил и почему-то подумал, сколько же всего придется вскоре тащить на горбу, трудов предстоит побольше, чем этих пятнышек у «солдатиков», побольше, чем всех этих самых камушков на поле отсюда и аж до Адамовой мельницы.

Теплый ветер с полей гладил левую щеку Егору, и оттого правой, теневой щеке было пока холоднее. Он чувал ею знобкий, настоящий на остатках заледененного снега где-то в оврагах, молодой, терпковато-весенний дух, и это его освежало, остирило тревогу, что вот-вот холодные массы вырвутся из тех самых оврагов и затопят все живое в округе. Егор даже развел плечи, прихрустнул костями, чтобы убедиться в свободе действий...

В Ярище ждали комиссию из райцентра, которая должна была решить окончательно, где строить животноводческий комплекс — на «командном пункте», у триангуляционной вышки, или в каком-либо другом месте. Как понял Егор, у Бодракова не было пока никакого собственного плана в отношении строительства, видимо, в тайне тот вообще не желал возиться со стройкой, избегая лишних хлопот. Против этого восставала вся натура Егора. Вдвое увеличить выход животноводческой продукции — он жил такой мыслью всю зиму и для этого уже сделал немало: впервые за многие годы в хозяйстве полностью поднята зябь, на поля вывезен навоз, проведено снегозадержание, очищены семена... И вот из Алатыря едет землеустроительная бригада, Бодраков поведет специалистов к триангуляционной вышке, и те, конечно же, поинтересуются мнением агронома, ведь дело имеют не с чем-нибудь, а с землей. Что скажет он им, если честно: да, это не лучшее место для комплекса! Погибнет ландшафт, заветный уголок исчезнет для будущих поколений. Он просто обязан им это сказать...

Развернув бабке Гале хворост на чесночной грядке, Егор вернулся домой — в хату деда Петраки, где его уже ждал завтрак — только что сваренная, парующая картошка. Перекусил наскоро и заторопился скорее на боль-

пак к рейсовому автобусу, чтобы успеть в Ярище, в мех-мастерские, к раздаче нарядов. А дел надвигалось пропасть. Это подсказали ему провозвестники во истину вешнего тепла — черно-красные «солдатики», ком созревшей, остро пахнувшей на ладони земли, круговерть работ, которые вдруг переместились с юга области сюда к ним на северо-запад. Это была его первая, такая вот хлеборобская весна на родимой, изначальной земле.

Егор мотался по полям иногда с Бронькой на его «вертолете», иногда с Лихопековым на закрепленном за ним «рафике»-грузовичке. Вешние хлопоты затмили перед ним все, он и о комплексе-то вспоминал теперь только, когда проезжал мимо «командного пункта». И все же приезд в Ярище специалиста из Алатыря оказался для Егора Тиганова неожиданным.

Виктор Павлович Кондауров — главный инженер-землеустроитель из райсельхозуправления — прибыл сюда в единственном числе, а не, как ожидалось, в составе комиссии. Ни Бодракова, ни Лихопекова в правлении не оказалось, и Тиганов Егор выслушивал Кондаурова, его пространное, строгое рассуждение о лесополоске на оболешевском большаке, которая является рассадником сорняков, и — что самое прискорбное — она возле трассы, по какой любит ездить сам «хозяин» — высшее районное начальство, а у него, известное дело, пунктик: не преминет заглянуть в такую вот лесополоску, а потом разносит всех подряд за сорняки на совещаниях всякого ранга. Егор слушал инженера-землеустроителя, а сам думал о воркотне своей жены Миля, когда же они переедут семьей на центральную, сколько можно Ивашке зимовать в интернате. Егор думал, что вместо того, чтобы заняться серьезным делом — привязкой хотя бы одного-единственного стандартного домика для их семьи, чтобы Миля в конце концов отстала от него, Егора, и жизнь у них пошла спокойнее, инженер этот больше думает о себе, толкует о какой-то там изреженной, заброшенной, ничтожной лесополоске, от которой — как от козла молока, всю бы ее перепахать да под кукурузу...

— Да-да,— кивал он Кондаурову.— Конечно, по головке за сорняки не поглядят... Подписать бумагу вместо Бодракова? Ну, а что это даст, моя же подпись не действена.

— Понимаешь ли,— доверительно говорил ему инженер из Алатыря,— два месяца пробыл я в Москве на фа-

культете повышения квалификации, а тут у нас в конторе упустили моментик. То, бывало, вовремя составишь бумагу, председателю вашему на подпись, начальник наш утвердит, и все в ажуре. Тогда колхоз, если что, отвечает за свои лесополосы, за сорняки... Слушай сюда, Егор, а не смахнуть ли вам вообще эту лесополоску? Ну что от нее осталось — изломана, вытоптана в свое время скотом, горе одно. А вам прибавка как-никак гектарчиков пять. Мы с лесхозом договоримся, лучше они вам эти пять гектаров где-нибудь по краю оврага высадят, и все будут довольны... Поедем посмотрим лесополоску-то...

«Отчего он ни звука хотя бы об одном-единственном стандартном домике, уж не говоря о целой запроектированной улице? — горячился Егор, проходя следом за инженером-землеустроителем к его «уазику», приткнувшись к раките позади их правления. Ракита эта светилась таким зеленым, всепобеждающим светом, что на какой-то миг она показалось Егору открытее той, что увидел он нынче утром в Тигановке, — место здесь то ли выше, то ли южнее, укрытее...»

— Глупости все это, — сказал вслух Егор.

— О чем вы? — вонзил в него боковой, немигающий взгляд Кондауров.

— Да это я так, — отвернулся Егор и подумал: «А про комплекс-то и не заикнется».

Эту несчастную лесополоску Кондауров действительно мусолил так, для отвода глаз, не сразу же брать быка за рога. Агроном здешний для него был человеком новым, с заместителем тоже дела иметь раньше не приходилось, только Бодракова он знал, как облупленного. И если Бодраков подобрал кадры по себе, то тут держи ухо востро, этакое учудят, как уже единожды было у них с Бодраковым, когда тот обвинил его, в те времена еще молодого инженера-землеустроителя, выпускника Московского института, в некомпетентности...

На дороге, возле водонапорной башни, они увидели пыльно-серый лихопековский «рафик».

— А ну, поднажми, — толкнул Кондауров шофера.

Лихопеков мигом сообразил, в чем корень вопроса. Сказал, чтобы они с агрономом тут же ехали на место привязки комплекса, к «каменюкам» у триангуляционной вышки, а сам куда-то смотался.

— За Бодраковым, — догадался алатырский инженер.

К триангуляционной вышке они подскочили первы-

ми. Вышли из машины, Кондауров взобрался на самый крупный камень-валун и долго взирал на окрестности: леса и перелески за балками, балки за проселками, проселки за поселеньями, речка Чистюнька, мелькнувшая возле Адамовой мельницы, столько земли и неба. Валун был скорее всего моренного происхождения; шла морена в период последнего оледенения тысячи верст с далекого севера, несла в днище своем эти камни, а тут зацепилась, оставила, отложила их, словно курица яйца. На одном «яйце» кем-то красным по серому, масляной краской по граниту было размашисто выведено: «Валя+Аля=любовь»...

— Я бы здесь детский дом построил, — наконец-то сказал Кондауров. — Вот с чего должен начинать жить человек!

Не ждал от него Егор таких слов, даже вздрогнул от неожиданности. Думалось, чего только с чем не связывал он за свою теперь уже некороткую землеустроительную жизнь, и потому не осталось, возможно, в нем места для удивления миром, даже для помысла в отклонение задач, которые он призван решать, если у него такая работа. А тут не выдержал человек, дрогнул перед земной красотой, значит, не все еще забито в нем пылью дорог. И Егор, как только мог, улыбнулся алатырскому инженеру.

Вскоре подъехали оба сразу — председатель Бодраков и Лихопеков, его заместитель. Стояли возле того валуна, прогретого солнцем. Лихопеков даже рукой провел по пурпурным буквам «Валя+Аля=любовь», но они, конечно же, не стирались, вьелись в гранит навечно, как и вечным было здесь все: и сам валун, и небо над ним, и поля вокруг, перелески. И только триангуляционная вышка, поставленная для измерения площади и расстояний, поскрипывала деревянными, подгнившими ногами, постанывала от ветра, чуя приближение своего срока. Люди вблизи валунов, на такой макушке, казались временными, случайными, переговаривают о том, о сем и разойдутся, разъедутся, а камни и ветер останутся и долго будут молча обсуждать людские слова о земле, о своей слитной с нею судьбе, а небо им будет внимать.

Говорил Бодраков, Лихопеков же, опершись плечом о гранит, больше помалкивал. Оказывается, заветной мечтой председателя было привязать животноводческий комплекс именно к этому месту, как его называли тут

издавна, «командному пункту», «где новое дело должно пойти сразу, потому что как здесь, товарищи, легко дышится, так и работаться будет легко, этот фактор тоже надо учитывать».

— А что на это скажет наш агроном? — посмотрел Кондауров на Егора Тиганова, и сердце замлело в Егоре: или — или, третьего не дано. Сейчас он скажет слово, и все рухнет или станет на место, ведь дело зависит от этого самого слова, к которому шел ты, возможно, всю жизнь. И Бодраков почувствовал паузу, впился в лицо ему цепкими, малюпкими глазками...

— Да что это место! — выдохнул Тиганов Егор из себя спекшийся воздух, подставляя широкий зубастый рот свежему ветру. — Не лучший, на мой взгляд, вариант...

— Почему же не лучший?! — тут же метнул змею в него Бодраков. — Това-а-арищи, защищаем что — этот бугор, неудобь?! — не выдержал Бодраков.

— Сколько отсюда до центральной? — теперь уже значительно тверже говорил Егор. — Почти три километра. Сколько доярке в сутки придется ходить? Туда-сюда шесть километров — это раз. А трижды туда-сюда — это уже восемнадцать. И где силы ей брать для работы, учитываете?

— Автобус пустим, «козел» свой отдам.

— А ведь это не свиарник, свиарник нельзя, — стоял на своем агроном. Если говорить, так все до конца, начистоту. — А комплекс для крупного рогатого скота можно строить и в пределах пятисот метров от жилья. А там у нас старый, не нужный никому, еще нэпманский сад, который давно пора выкорчевать. Все настолько привыкли к нему, что ходят мимо и не замечают, а под ним ведь тоже земля-я-я...

— Можно и еще поискать варианты, — разжал рот, наконец, Лихопеков.

— Да вы что! — мгновенно соединил Кондауров взглядом обоих — заместителя председателя и агронома. — Нам работать надо, пора уже делать привязку, разворачивать стройку, а вы торрррозите, резину тянете — да! До сих пор не продумали, а это ведь ко-о-омплекс! Его народ ждет, рабочим в городах каждый день, извините, нужны продукты на стол, а не наши слова.

— А вам, Егор Трофимыч, — налился кровью, аж по-

бурел Бодраков,— прежде чем входить куда-то, следовало бы подумать о выходе!..

— Ну, вы поищите еще варианты,— как-то быстро прощаясь, перебил его Кондауров.— Согласуете — звякнете, мы подскочим.

И Бодраков полоснул по Егору глазами...

II.

Бронька Летягин появился в Тигановке на своем «ирбите», как всегда, неожиданно. Вошел, громыхая на всю переднюю сапогами, провозгласил:

— Трофимыч! Ты где тут, живой? А я только что от Бодракова, послал за тобой. Говорит, с утра, прежде чем к агрегатам ехать, пусть заскочит ко мне... Иди, чего скажу тебе по секрету...

И сбавил голосу, заговорил оглядистее, вроде опасаясь, как бы слова его не впечатались в эти стены, не легли на магнитофонную ленту:

— Броня крепка, Бодраков премию подписал. И ты, Егор, тоже в списке, иди получай... за хорошую организацию весенне-полевых работ...

— Погоди, броня крепка, я сейчас.

Егор прошел через горницу в спальню, к Миле. Она встретила его таким виноватым, приниженным взглядом, что Егору стало не по себе.

— Видала?— кивнул он на кухню, где был только что Бронька.— Бодраков мне премию выписал. А ты говоришь, не умею строить отношения с начальством.

— Премию?— едва переспросила Миля Егора, как с полной миской блинов переступила порог бабка Галя.

— А-а, блудный отец отыскался.

Егор поймал ехидцу в ее голосе и подумал, стервенея: «Может, она и советчица у Мили, а не Рогалиха?»

— Да на центральной ночевал, на центральной,— отмахнулся от бабки Егор.— Дело срочное, там и застрял.

— Не ври, совестно ведь,— стояла перед ним Миля — бледная, с распущенными волосами.— Что ты, в самом деле, так опустился.

— Совестно тому, кто просит,— сказал Егор не так уж уверенно.— А кто не дает, совестно должно быть вдвойне.

— Вот дом стандартный от них и требуй, пусть дадут! — придвинулась к нему Миля.— Там, в Ярище, хоть

люди есть, все па глазах, а сюда с любовницей потом приезжай, встречайся, милуйся...

— Тихо, Миля. Дети же, Миля.

— Что — Миля, что тебе Миля! — кричала она, теперь уже запаясь. — Ты нарочно срезался с Бодраковым из-за тех «каменюк», чтобы меня держать здесь, а самому где-то там разрабатывать с этой... девкой.

И Миля убежала в спальню, упала головой в подушки и разрыдалась. Завыл, набирая голосу в качке, Устинчик. Даже молоко в банке подрагивало от всеобщего дружного плача и крика. Егор стоял посреди горницы, не зная, что делать.

— Вот идол, вот идол, чего, идол, удумал, — осуждала его бабка Галя. — Вон оно как у вас, у мужиков. Как взялись баб обманывать.

— Да ладно тебе! — нашел Егор на ком разрядиться. — Хороши вы все тоже, чего только не выдумают. Одна баба как баба, две бабы — базар, а если добавить гуся, — целая ярмарка...

— Баб Галь, какого гуся?! — подала заревавший голос из спальни Миля. — Какого гуся, что он говорит?

— И полынь на своем корню растет, понимаете? — вышел Егор из себя. — А то — че-ло-век! Тебе, кажется, бабка Галя, должно быть понятно, что это — наше родное место, корневая хата. И при чем тут те «каменюки», триагуляционная вышка и вообще животноводческий комплекс? При чем тут все это и мы с Бодраковым?

— Да я что, я ничего! Я, внучек, ничего, — уже испуганно глядела на него бабка Галя и так же испуганно косилась на спальню, где лежала, прислушиваясь к словам Егоровым, Миля.

— А то, что легче тысяче женщин вскружить голову, — швырнул туда, в спальню — Миле, последнее слово Егор и толкнул дверь ногою.

Бронькин, конечно, и след уж простыл. Бронька тоже был человеком, и у него оказались нервы, а не какис-нибудь стальные канаты с пеньковым сердечником.

На утро Бронька заскочил к Егору:

— Председатель требует! Едем.

Одно накладывалось на другое: на работе не так все просто, да и дома мало хорошего, а что делать? И только Бронькин «вертолет» тянул отчаянно, и они мигом вымахнули на крутой изволок.

Своего «Москвича» Егор пока приберегал: дай обдует

землицу, наладятся мало-мальски проселки, тогда и можно будет ездить по колхозным полям на собственном транспорте, ни от кого не завися. Из головы Егора не выходила история, услышанная зимой в Алатыре, как одна колхозная председательша подобрала своего бригадира в городе пьяным, не поленилась, отвезла на «козле» километров за восемнадцать в совсем другую сторону, высадила в незнакомом местечке: «А теперь, братец, топай ножками, пока не протрезвеешь». И зачем, интересно, вызывает его к себе Бодраков?..

Мчались кромкой поля. Егор сидел в люльке Бронькиного «ирбита», видел совсем близко от себя сухие бурьяны, и так хотелось глянуть через них дальше, привстать на ходу. А поля парили синеватой апрельской дымкой, и зеленым схватывало травенеющие бугры и прогалы перед лесными опушками, а сами дубовые леса держались пока еще голыми, желтели кое-где отжившим прошлогодним листом, цеплялись за прежнее, не желали слетать.

— Знал бы, где упасть, подстелил бы соломки,— усмехнулся Егор, показывая на остатки скирда: вывезли с поля перед пахотой на дорогу, в эту весну солому не сжигали: видно, хорошенько помнили «башкирский» урок.

Мотоцикл зашуршал по остаткам скирда, Бронька рванул ручку газа, «вертолет» рывкнул и, спрыгнув с ячменной соломы на пахоту, потащил их с Бронькой по кочкам, так что зубы у Егора зазвякали.

Бодраков вызывает его к себе, и зачем, интересно? Егор перебрал все виды работ: подготовка семян к посевной, весенняя пахота, сама посевная — зацепиться как будто не за что. Да и премия, о которой сообщил ему только что Бронька, внушала кое-какой оптимизм, не может же Бодраков одной рукой подписывать финансовый документ о начислении этой самой премии, а другой — строчить приказ о выговоре.

Прежде чем идти к Бодракову, на всякий случай Егор заглянул в бухгалтерию. Хотя счетный народец работал у них, как в городе — с девяти до пяти, к удивлению Егора, все были на своих рабочих местах. Возле сейфика восседала кассирша, у окна — экономист Коротеева, препротивная бабенция, впереди себя носит живот на полметра, глаза в стороны, как антенны, и вечно уши топориком — шпионка бодраковская, через нее к Бодра-

кову идут все конторские да и общеколхозные сведения в ее преломлении.

В комнате было еще несколько человек. В нос Егору потянуло привычным, как от отца, смешанным запахом — горелого и солярки, это ударило Егора по памяти, и он неожиданно понял, что ощущение неловкости, подвоха какого-то родилось и держится в нем, оттого что он сам не чувствует в себе уверенности в том, что на поселной трудился так, чтобы считать заслужившим эту самую премию, работал, как все, как многие, а за это, как известно, положена просто зарплата, за что же тогда еще премия? Это была его первая премия, и ему было стыдно. Лицо Коротеевой — крупное, волевое, бурдастое — вставало перед ним, надвигалось неумолимо.

— А вам, Егор Трофимыч, тут премия за хорошую организацию, молодец!

— Ему — премия, а с Природина — штраф, — услышал он из уголка где-то около сейфика, там сидела кассирша.

Как ни странно, шепоток этот мигом согнал с Егора всякую дурь; чуть дальше от своего листка, где расписался за премию, Егор увидел другой листок, и, верно, из всего выхватились только два слова «Природин» и «штраф». Не сдержавшись, Егор спросил кассиршу:

— А за что ж ему штраф-то?

— За показатели, — пожала плечами та. — Показал что-то там председателю...

Только тут Егор и заметил всех остальных в комнате: одна взирает на него чересчур равнодушно, даже с прохладцей, другая с плохо скрываемым любопытством, третья старается улыбнуться. И улыбаются те, кому Егору совсем ведь не хочется улыбаться, а сурово смотрят те, кто всегда к нему относился тепло. Вот чертова жизнь, гляди да оглядывайся, куда ступить, что сказать. И такая обида обуяла Егора и за себя, и за Природина, и за всех, таких рабленых, угодливых, что он не выдержал, буркнул что-то, повернулся к двери. Коротеева в своем новом лягушачьего цвета платье протягивала вслед ему ведомость.

— Потом, — отмахнулся Тиганов Егор от нее, как от мухи зеленой с навоза. И лишь в коридоре набрал в легкие воздуху, раздышался.

И тут возник Бодраков. Прошел печатным шагом к своему кабинету, кивнул на ходу Тиганову:

— Зайди, Трофимыч, ко мне.

Егор увидел на крыльце Природина. Кровь ударила Егору в лицо, и тут же зычный бодраковский голос из кабинета повторил приглашение.

— Садись, агроном,— сказал Бодраков как можно мягче и двинул стул ногой рядом с собой.— Ну, как там у вас в полеводстве? Да знаю, знаю,—завершим сев раньше соседей. Ну, вот и отметили мы тебя, молодец!.. Да, вчера дал команду, чтобы силикатный кирпич завезли из Алатыря. Тот домик, где была старая библиотека, обложим хоть в полкирпича. Может, к зиме в него и переберешься. Живи, Трофимыч, со своим растущим семейством, я такой!..

И тут в дверь постучали.

— Кто там? — спросил Бодраков погуще голосом и, не дожидаясь ответа, скомапдовал:— Заходи!

В кабинет втиснулся как-то боком, в щель, кто бы мог подумать, дед Комолый — Колчак.

— Я пришел,— мял он на животе перед собой картуз.

— Вот что,— поморщился Бодраков и взглянул быстренько на Тиганова.— Ну, да ладно... Ты, говорят, по плотницкому делу мастак?

— Ну, не мастак,— переступил с ноги на ногу дед Колчак,— а так, балуюсь. А чего там у тебя? — перешел он сразу на «ты».

— Да так, пустяки. Клетки нутриям подгородить, перетерли все стенки, не зубы, а сабли какие-то... Ну, и новых сделать штуки три...

Колчак молчал.

— Да ерунда ведь, какое дело для мастера? — перевел тон Бодраков с руководящего на просящий.— И сам бы слепил, да некогда. Как говорится, один — в бороне, все — в стороне...

Колчак молчал, мялся.

— Ах, вот ты о чем? — понял Бодраков его с полуслова и тоже как-то боком посмотрел на Тиганова Егора.— Ну, да ладно, коси, дед, тот кусок, что возле речки, между Чистюнькой и Адамовой мельницей, где и в прошлом году. Разрешаю, скажи бригадиру...

Без всякого стука вошла к председателю Коротеева, экономист.

— Иди, дед,— сказал Колчаку Бодраков и повернулся к Коротеевой:— Чего тебе, Николавна?

— Да насчет Природина заместитель ваш ни в какую,

Финаген Ксаных, — неожиданно тоненьким голоском проговорила Коротеева, а сама неотрывно следила за Егором. — Возражает ведь, так.

— Возражает?! — подскочил Бодраков на месте. — Говорил же, нечего цацкаться. Ну, да мы еще поглядим...

И, словно наткнувшись взглядом на Тиганова, сказал уже значительно тише:

— Хорошо, Николавна, иди. Разберемся.

Коротеева исчезла так же, как и Колчак, незаметно.

— Ну, вот что, агроном, — повернул Бодраков к Егору свое разом переменившееся — уже суровое, почти злое лицо. Посидел какое-то время молча, сменил маску на лице. — Будет комиссия из Алатаыря насчет привязки к местности комплекса, ты меня поддержи, понял?.. Строить будем на «командном пункте».

И Тиганов Егор очутился опять в коридоре. Стоял за председательской дверью, обтянутой черным дерматином, и мысли рассыпались, никак не хотели собраться в узел, выстроиться в общую линию, в смысл. Одно перекрывало все остальное: как на этот «командный пункт» и Природина смотрит еще один человек — Лихопеков?

И тут, легок на помине, Лихопеков распахнул дверь из бухгалтерии, прошел мимо Егора, как мимо стенки. Пока Егор сводил в себе концы с концами, Лихопеков исчез. Только качалась-раскачивалась на слабой пружине входная дверь, да все неся из бухгалтерии-базарный крик Коротеевой.

В саду, как ему показалось, мелькнула крупная, ни с кем не спутаешь, фигура Природина. Ну, ситуация! Те из конторских, которые косились на него, можно сказать, недолюбливали, улыбаются, проявляют знаки внимания; те же, к кому тянуло тебя и кто тебе отвечал взаимностью, теперь избегают, дела-а. Ну, а если люди считают, что премию агроном не заслужил, она не законна, так, в чем дело, он и не станет ее получать... А с Природина — извечного труженика, лучшего механизатора — впервые в жизни содрали штраф. Как это сформулировано в приказе: «за факт самоуправства на севе?» Какое же это самоуправство, если механик приказал досевать кукурузой клоч, намеченный под сахарную свеклу, а он, агроном, не доглядел? Выходит, виноваты скорее они с механиком? Значит, это его, Тиганова Егора, премия не законна? Зачем же тогда Бодраков ущемляет Природина?..

Бодраков просил поддержать его в вопросе о комплексе на «командном пункте», а ведь сам-то вообще против всякого комплекса.

Вот какой ход рассуждений возможен у Бодракова. Из Алатыря приезжает землеустроительная комиссия по привязке комплекса, выясняет мнения: председатель — за «командный пункт», агроном — за бросовый сад. Но для противовеса одного мнения агронома мало, очевидно, на его, Егорову, сторопу встал еще и Лихопек. Егор пока не знает об этом, но это, видимо, так. И тогда, используя свои рычаги, Бодраков перетягивает на свою сторону его, агронома, и оставляет Лихопекова в гордом одиночестве. Вот с чего и начнется у Бодракова настоящая борьба с настоящим претендентом...

А с комплексом все обстоит в конце концов так: приезжает комиссия — тут у вас одни разногласия, вопрос явно не подготовлен, даже участок не намечен. Доложат районному руководству, и те не сочтут нужным строить комплекс в Ярище, порекомендуют других... В итоге торжествует то, чего добивается Бодраков: тишины и спокойствия, сиди себе в креслице до скончания века, возись со своими зверюшками, и баста. А стройки нужны тем, кто помоложе, таким, как Лихопек, важны им для дальнейшего роста...

Да, а с Природиним ты, Егор Трофимыч, упустил моментик. Надо было не молчать в бухгалтерии, возмутиться, заявить Бодракову протест. «Пойду и скажу... хоть сейчас!»

III.

Цветли сады. В эту весну они распустились раньше обычного, и так было все удивительно, щекотало в носу от тонкого, едва уловимого движения воздуха, от плотного, сильного запаха уже отходящей черемухи, перебегающего — слив и терновника, полыхающего — грушенок перед домом деда Петраки и вспыхнувшей вдруг ликующей белизной по всей Тигановке, за хатами и перед хатами, яблоневых садов. А там уже подступала сирень.

Было воскресенье, и Егор с Ивашкой остались дома. Ивашка тут же умчался в Селиванову школу, а Егор собрался поработать в палисаднике. Здесь на грядках уже хозяйничала Миля, высаживала цветы. Егор взглянул на нее, в телогрейке, и тут же перевел глаза на раз-

весистую в полдвора, пригасшую черемуху. Отбушевала свое, отпраздновала. Пройдя мимо, Егор уже не чуял ее дурманящего, забивающего все остальное запаха: ржавели белые шапки, цветочная ржавчина устилала под нею траву, тем обиднее было смотреть на облитые снегом яблони. Егор наблюдал, как неловко, по-городскому несмело, обращается Миля с землей и рассадой — со всеми этими маргаритками, незабудками, анютиными глазками, которые еще с вечера он видел у себя в сенцах на лавке, в большом эмалированном тазу.

— Откуда рассада-то? — спросил он, наконец, Милю, чтобы перебить смуту в себе. — От Тоськи?

Миля молча делала свое дело.

— Эти вот... маргаритки... от Бобырихи, — разогнулась она, поправляя тыльной стороной руки нахлынувшие на глаза волосы. — А вон те, анютины глазки, — от Тоськи.

— Так-то вот, под гору вскачь, а в гору хоть плачь, — подошла, тяжело дыша, бабка Галя и тут же заворчала, как всегда, в своем репертуаре. — Цветики сажаете, цветики вас кормить будут. Добрые люди помидоры будут скоро высаживать, а вы и к луку-то еще не подступались, хозяйева!

И хлопнула оземь решето со всякими узелками, мешочками с семенами, взялась за железные грабли, пошла отбивать от всего огорода грядки, да не под тенью, а подалее от черемухи, куда повыше, на солнышко. Егор постоял-постоял возле Мили, да и побрел вырубать куст жимолости, вымахнувший в неполюженном месте.

Бабка Галя успела с утра шепнуть внуку, что на той неделе к ним сюда, в Петраков дом, заезжал Бодраков. Хозяина дома не оказалось, и Бодраков возил Милю в «козле» на центральную, часочка два пропадали, а после привез назад. Да так друг с дружкой они все рядком да ладком, а чего только он ей пропагандировал — неизвестно, только Миля повеселела, провожала председателя со многими, тоже неизвестно какими, словами.

Вот Егор и не знал, как подступиться к Миле с распросами. А если бы ему было известно, что и цветочную рассадку она привезла вчера от Бодракова, тоже с центральной усадьбы, то это бы его еще как подстегнуло... Ах да, черт с ним, с этим кустом жимолости, пусть растет себе, не помешает!..

Егор подошел к жене сзади, долго смотрел на нее,

пагнувшуюся, на ее раздавленные, обабившиеся за прошедшую зиму плечи, молчал.

— От премии-то отказался,— почувствовав его за спиной, разогнулась Миля.

— Отказался,— выдержал Егор ее взгляд.

— Такой-то ты был еще с института,— сказала она,— еще студентом лез хоть куда за чужой интерес.

— А чего ж замуж за меня, такого, пошла?

— Ты же премию заработал, и при чем тут все остальные?

— Можно подумать, я, а не Природин пахал землю на тракторе, а Бодраков твой ее засевал.

— Почему «мой»? Он такой же и твой, он — председатель.

— Ну, и куда ты с ним вчера ездила?

— Домик показывал, тот, где была раньше библиотека. Бодраков уже дал команду: обкладывать кирпичом. Бодраков дал слово, к сентябрю перейдем в него, перейдем в Ярище...

— Бодраков дал, Бодраков взял! — отшвырнул ногой железные грабли Егор.— Других тебе теперь нет и фамилий. А с Лихопековым как же?

— Что с Лихопековым?

— Он ведь тоже тебе обещал, забыла? Как быстро мы все забываем. А человек этот вертит общественным, государственным, как своим, во имя своих личных целей...

— Да какая же это личная цель,— покраснела Миля, запервничав,— создать условия агроному, семье его, чтобы он лучше работал, отдавал себя обществу — это что, по-твоему, личная цель?.. Между прочим, ты не согласен с Бодраковым относительно места привязки комплекса, и вот Бодраков все равно тебя не ущемляет...

— Вот мозги-то запудрил тебе во вчерашней поездке, он такой!

— Дурррак! — отшвырнула Миля рассаду.

Егор стоял и не знал, что теперь ему делать: идти следом или за нее ткнуть в землю эту чертову рассаду, эти цветочки — анютины глазки, незабудки и маргаритки, от которых, возможно, еще будут и ягодки. А то пойди помочь бабке Гале разделявать грядки под огурцы.

— Ты это... внучек,— укоряла бабка Галя его спустя какое-то время,— ты ее это... не дергай, жену, не вводи в дрожь, не надо. А то где дрожь, там и ложь. Семья —

дело такое, что тебе стекло: сломается — не починишь.

«Оплели, дьяволы, как сговорились!» — отшвырнул лопату Егор и глядел с огорода в облитый цветом, но еще гулкий яблоневый сад. И лицом своим, телом разгоряченным слышал холодные токи воздуха откуда-то из дальних балок, оврагов, где, вполне возможно, под осевшейся, прошлогодней листвой еще таился недотаянный снег. Егор передернулся зябко, положил руку на острый терновник, чтобы почувствовать боль.

А Миля, прибежав с огорода, застала Устинчика по-прежнему спящим, ишь, разоспался, маку, что ли, бабуля дала ему с вечера. Она присела над ним, поставила глаза в одну точку и стала думать о детях — о нем и Ивашке, о себе и Егоре.

Она любила Егора, любила с той самой поры, когда он подошел к ней на танцах в институте и проводил ее после танцев домой. Они жили с ним там, в городе ее детства и юности, в доме ее отца, в ее собственной комнате, когда отца уже не было в живых, и Егор как бы заменил им с мамой отца, единственный в доме мужчина, и ей тогда было спокойно с ним, хорошо. Она держалась за город, сколько могла, до последнего, а когда поняла, что может потерять его навсегда, приехала сюда за ним следом. Тонким, женским чутьем понимала, что влечет его сюда, в Тигановку, не только, как он говорил, земля, малая родина, но и еще что-то такое, отчего все смутно дрожало в ней, ночами ее пробуждала ревность.

Вот уже сколько лет в деревне, если подумать, не хватает девушек, молодых женщин, а какие есть, те обязательно чьи-то жены, молодые ребята — шоферы и механизаторы — старятся без невест, неженатые. И все же в мыслях она искала тайный Егоров предмет, чувствовала, должен быть он, обязательно должен.

Она не любила делиться своими страхами с кем-либо, даже с собственной матерью, но та поняла ее своей материнской душой. Однажды, уже после рождения Ивашки, когда Егор в какой раз отправился на выходные в свою Тигановку, мама предложила ей, Миле, пойти в кино, что ли, чтобы хоть немного проветриться, и она, Миля, от этого отказалась, сидела, смотрела тупо в обои на стенке и ничего не соображала, все замерло в ней на какой-то одной нудной ноте, мама подседа к ней, сумела вызвать дочь на откровенность. В конце концов это она дала тогда Миле такой житейский совет: «Одно дите —

не дите, по нашим временам семью уж не держит, разошлись — и живут себе врозь, а дите — полусирота. Второе дите дает мужчине серьезность. Я на такого хочу поглядеть, какой бы легко отнесся к себе и к детям своим, не задумался... А бабке что с одним сидеть, что с двумя — одна мера и честь, даже лучше, когда они рядом идут, друг за дружкой. Да и в рюмку мужик реже глянет, все же вон какая семья за спиной, уж не шуточки — двое, так-то, дочечка»...

А Миля сидела сейчас, смотрела на Устинчика — кровинку свою, спящего тихо-мирно в кроватке, и хотя ему ровно, спокойно дышалось, однако тревога за них с Ивашкой и за Егора не спадала, наоборот, поднималась и ширилась, оттого что, на ее взгляд, дела у него шли не так, как ей бы хотелось, что-то не так, а что именно, кто виноват в этом — не сразу и разберешься. Она уж забыла, когда и смеялась в последний раз, а ведь жизнь — это радость, а дети — ее материнское счастье, и счастье это, ее материнская радость, должны переходить вместе с ее молоком от Ивашки к младшенькому — Устинчику, и тогда он будет расти спокойным, полноценным, получая от матери все, что только возможно, она это знала и потому сдерживалась, не давала себе срываться, но и видела, что без нее Егор не справляется, нуждается в ее поддержке и помощи, и она, как могла, старалась участвовать в его деле, в его жизни.

— Вот и домик стандартный на центральной — предлагают опять, а упусти, когда еще кто-то предложит, да и вообще предложат ли, так и сиди тогда здесь, в этом бесперспективном поселке, который бы уже давно переселили, если бы у колхоза, как и государства вообще, так она понимала, нашлись бы на это дополнительные средства. Конечно, с бабулей Галей здесь хорошо, помогает, хлопочет, хотя уже старенькая, отец тоже не чужой ведь, родной, да в корень надо смотреть, в первооснову: ну, сколько можно будет здесь жить с ребяташками, рано или поздно, а переезжать ближе к школе, к цивилизации надо, и лучше рано.

Когда Лихопеков нанес визит им здесь в Тигановке, еще прошлой осенью и пообещал их семье домик на центральной усадьбе, она восприняла это как должное, как оценку Егора, мужа ее, — молодого специалиста. Значит, все у него на работе нормально, складывать отношения с людьми не просто, а с начальством и подавно, однако

от этого во многом зависит устойчивость положения Егора, а значит, благополучие всей их семьи. За зиму она привыкла разделять хорошее, почти дружеское отношение мужа к Лихопекову — заместителю председателя, к Природину — другу их отца, передовому механизатору, к тому кругу лиц, с которыми она связывала будущее Егора. Ни разу Егор ничего не сказал дома против самого места привязки нового животноводческого комплекса, она к этому привыкла, считая точку зрения правления во главе с председателем и ее мужа — Тиганова Егора — одинаковыми. И нате вам, оказывается, Егор выступил против Бодракова и все летит вверх тормашками. Еще, возможно, ничего не случилось, возможно, все только лишь начинается, но что осложнения для Егора возникнут, так это точно, она это знала, предчувствовала. Успокаивало одно: мнение мужа совпало с мнением Лихопекова, а Лихопеков в колхозе кое-что тоже значил...

И тут Миля услышала чьи-то шаги в сенцах и встрепенулась: Егоровы! Но нет, шаги с пришаркиванием, мелковатые, бабулины. Бабка Галя прошла по кухне, положила на стол перья зеленого лука-батун со своего огорода, а ее даже и не окликнула, вышла. «Осуждает, — шевельнулось в груди у Мили. — Должно быть, за то, что села в машину без мужа, поехала с Бодраковым. Они такие, деревенские, на все у них свои понятия, свой подход. И кто я ей, если подумать? А Егор все-таки внук, любимый сын любимой ее дочери... А как бы в таком случае поступила Устинья? Да уж, пожалуй, не стала бы выпрашивать для мужа премию у председателя, она была у нас гордая, мама Егора. А если и страдала, то не потихонечку, тайно от всех...»

IV.

К вечеру, возвращаясь с распаханного в эту весну Пьяного луга, где уже завершали сев сахарной свеклы, Егор зашел в лесопосадку, задержался на миг: почему луг этот называется Пьяным? И тут на нос Егору упала капелька. Такая малюсенькая, такая малявочка, в другой раз Егор ее, может, и не заметил бы, но сейчас она прервала ему мысль на самом интересном месте. Егор повел пальцем по носу — ничего, поднял голову вверх — над ним было синее майское небо. Поискал глазами по веткам пичужку — опять ничего. Снова, уже в глаз, при-

целила капля. И потом зачастило по щекам, по рукам, по плечам; Егор услышал, как от дуновения ветерка, крупные, смачные капли зашлепали, заколотили по плоскому лопуху, по крапиве, по листьям ближайшей сирени. Бог мой, дождь среди ясного неба? И шел он теперь уже без стеснения, такой откровенный, ядреный. Это сыпала дождик ракета.

Егор наклонил к себе ветку: мягкое, белое облачко, словно ватка, пузырилось прямо на живой, зеленеющей коже у сочленения побегов. Егор оглядел с интересом дерево: все ветки были в таких белых облачках, с которых, сгущаясь и тяжелея, и срывался, шлепал вниз на сирень, на крапиву, колотил без стеснения по лопухам, по нему, Егору, этот неожиданный-негаданный теплый ракетовый дождь. Егор вспомнил, что день отходящий, как и все эти дни, был для мая несносный, стояла жарница, а сейчас вот солнце уже на закате и под ракитой залегла уже тень. «Раскоординировалось,— осенило Егора,— корни с листьями работают несогласованно. Корни по-прежнему, как и днем, качают из земли влагу, а листья столько уже не испаряют».

И он тогда еще подумал о том же, о чем и сейчас: о себе — с одной стороны, и о Бодракове — с другой...

Не заходя домой — в хату деда Петраки, лесопосадкой — «Светлым березовым ходом», Егор направился прямо к отцу. Отец с работы еще не появлялся, и бабка Галя, как всегда, возясь со своими чугунами у печки, ворчала что-то себе под нос. Егор привык не слышать ее воркотни, но сейчас, услышав в бабкиных уетах Милюино имя, придержал шаг.

— ...и точит, и точит малого, вот грех, эта Миля. Тут ей плохо, золотое царствие на центральной. Ишь, как смоляпула анадясь с Бодраковым, на машине ей надо с чужим мужиком. Чего только про него не говорено, ни одну юбочку, бывало, не пропустит. А у нее все же двое детишек и муж не какой-нибудь...

— Чего это ты мелешь-то? — оборвал бабку Галю Егор. — Чего несешь околесицу?

— Околе-е-есицу? — оторвала она от чугунков свое маленькое, ссохшееся в кулачок за последнее время личико. — Может, и старая уже, из ума выжила, бабке можно... Ты-то сам, внучек, стой не шатайся, ходи не спотыкайся. Вот о чем долбит тебе бабка, мамки нет теперь, сказать некому, кроме бабки.

— Ну, и что ж теперь, мели, чего хочешь?

Долго стоял на пороге. Потом медленно, словно пехотя, направился домой на другой конец Тигановки, к хате деда Петраки. Бабка Галя камешек свой швырнула, может, уже позабыла, а в Егоре камешек этот застрял вот где, возле самого сердца. Да не столько из-за Бодракова, как из-за соперника, черт с ним, тоже мне мужик называется, песок уже скоро посыплется, что он, Егор, ревнует, что ли, жену свою к анчибалу этому рыжему, совсем не ревнует ведь, ему все равно, «карасину» на все такое не хватит, если к каждому ревновать. Не столько из-за этого Карасина — угодника бабьего. А сколько из-за Бодракова — председателя, человека с опытом, прехитрящей бестии, который уводит к себе, перетягивает на свою сторону жену его, подругу, так сказать, жизни, действуя согласно пословице: муж — голова, жена — шея, куда шея повернется, туда смотрит и голова. Вот как Бодраков стоит на своем. И дело тут, может быть, вовсе не в комплексе и не вместе его привязки, а в принципе, в стиле работы, в фигуре...

Еще издали, возле дома Тоськи Тигановой, Егор увидел Рогалиху — куму всеобщую, Петьки Чуди-юдина бабу, а за ней, уж и думать о нем позабыл, — Селивана Добарина — бывшего учителя. Не встречался с ним Егор с какой-нибудь месячишко, с той поры, как закрутилась посевная, а вроде бы годы минули. В городе, в людской мешанине, встретить вот так человека — недолго и не узнать, как с лица Селиван изменился, как опал телом. Штаны, наверно, в руках теперь носит, а щеки провалились, сделались желтыми, сам весь пригорбатился. Вот человека заботушки ломают, а может быть, в нем завелась болезнь, от которой нет никакого спасенья.

— Загордился что-то, Егор Трофимыч, — первой пода-ла Рогалиха голос и показала на Селивана: — Вот на него, на его школу у тебя нет времечка, а на ухажерку, стало быть, есть?

— На какую ухажерку? — вспыхнул сразу же агропом. — Ты бы лучше за Бронькой своим приглядывала.

— Сам-то ты мужик, конечно, смирянга, — шла на пятную Рогалиха. — Это Бронькину кровь тебе влили, Бронькина кровь в тебе и гуляет.

— А если я завтра воровать пойду или убью человека — это что, тоже чей-то подарок? — усмехнулся Егор. — Вот букетом меня наградили-то, не дай господи.

— Ты па людей не греши,— твердо держала мысль Рогалиха.— И свои грехи на других не переваливай... Ты скажи одно: будем дело со школой доводить до конца, ай не будем? А то время летит, уже май, а там, не заметишь как, вот она, осень...

Селиван похватал-пóхвтал воздух губами, окатил взглядом улицу, наконец, скрежетнул горлом, словно ржавую цепью:

— Да чего говорить-то, все ясно.

И пошли они с Рогалихой своей дорогой, а Егор еще долго смотрел Добарину вслед.

«Ну и люди! Выдумают же про Бронькину кровь»,— с усмешкой мотнул Егор головой да так с усмешкой и добрел до дому — до порога хаты деда Петраки, перестраиваясь на ходу, усмиряя в себе эту чертову Бронькину кровь.

Уже перед самым порогом он представил своих ребятшек — Ивашку-вьюна и Устиньку-слюнявчика — и уютную, мягкую Милю в простеньком домашнем халатике, в стоптанных шлепанцах. Эти старые шлепанцы делали его виноватым, маленьким перед Милей: обещал отвезти в театр, ну хотя бы в Алатырь, на своем «Москвиче», и никак. Ох, уж эти шлепанцы,— в городе бы Миля их не обула...

— Ну, как вы тут без меня? — наигранно весело ступил Егор за порог.

— Справляемся,— с Устинчиком на руках вышла из спальни Миля.

Поиграв с сынишкой, Егор вернулся на кухню, сел ужинать.

— Миля,— позвал он жену,— знаешь, завтра с утра посылают за картошкой, нечем досаживать в третьей бригаде... В райончик один глуховатый. В таких райончиках можно купить кое-что из вещей, получше, чем у нас в Алатыри и даже в Москве.

— И что ты хочешь этим сказать?

— Там, говорят, есть дубленки. Женские. Вот как на тебя. Но цена баснословная.

— И что из этого?

— А то, что возьму и куплю!.. Первая паша такая покупка за деньги, заработанные здесь, на селе... Моя жена должна ходить в лучшей в целом мире дубленке, я этого хочу! Вот и Устинчик тоже этого хочет. Одна только мама наша не хочет, верно, Устинчик?

— Ну почему же? — улыбнулась сдержанно Миля.

С утра пораньше, добравшись до Ярища первым автобусом, Тиганов Егор был на работе, в конторе правления, как всегда, первым. Прошелся по коридору, пахнущему свежемывыми, еще сырыми полами, уловил явный, млеющий в воздухе, горьковатый запах полыни, сообразил, что это идет от полов, наверняка, прежде чем мыть, старенькая тетя Паша, уборщица, подметала их веником из наломанного тут же, позади конторы, длиннобудылого, шибящего в нос былья, благо такого добра тут пока что хватает. Из всех дверей справа и слева тянуло сиренью, особенно из бухгалтерии, где работали женщины. Егор подумал, что не мешало бы и себе вытряхнуть из широкогорлого пустого графинчика на окне дохлых, высохших мух, как кто-то прошел по коридору мимо его двери. Тиганов вышел из кабинета и увидел спину удаляющегося деда Колчака-Комолого, ночного сторожа.

— Эй, дед! — окликнул его Егор, стараясь обратить внимание на то, что он уже на работе тут, первый. — Чего это ты шатаешься, ай Бодраков велел проинспектировать, кто и во сколько с утра появляется?

Дед Комолый приостановился и в явном нерасположении духа заметил:

— Кабы ведал, где ты нонче, Трофимыч, обедал, знал бы, чью песенку поешь.

— Какой обед? Еще утро, — качнул Егор головой укоризненно. — Ты даешь! Какая песенка, если я еще и не завтракал?

— Да это я так, — переступил дед с ноги на ногу. — Рассаду помидорную с вечера не всю высадил, пойду завершать... Да-а, а ты это, Трофимыч, гляди, не раздерись надвое, не пытай брода обеими ногами сразу.

И толкнул дверь от себя. Пока Егор достиг той же двери, дед был уже во-он где, под топодем. Егор стоял на крыльце и смотрел ему вслед. И перед ним отчего-то вставали скособоченный Бодраков и плотный, сутуловатый слегка Лихопек, а где-то подальше маячила привычная фигура Природина, которого, едва услав по путевке на юг, уже ждали с черноморских курортов к северу сахарной свеклы, вот уж и ждать перестали, когда на днях получили письмо из тамошней больницы, что он, мол, подхватил тяжелую форму гриппа да еще с осложнением. «Этой язвы тут ему не хватило», — обсуждали

письмо Природипа мужики. — «Однолюб, — поддакивали бабы. — Без родимой среды не может...»

С мыслями о Природине и отправился Тиганов Егор в старый, выщербленный, еще принэпманский сад. Шел и видел незавидные вещи: спиленный на метр от земли толстенный ствол груши — пилили, наверное, зимой, по глубокому снегу; яма после выдернутой трактором прямо с корнями матерой яблони, а дальше, по краю вишенника, старая, военных времен траншея. Егор глянул в проем между двумя рыжими кленами и отсюда, с высоты, на той стороне за речкой так хорошо разглядел суходол, понял его значение: «Танкоопасное направление, наши наступали оттуда, с востока». И Егор с ненавистью посмотрел еще раз на траншею: давно пора засыпать всякую нечисть. И он почти с радостью представил, как будут ее загребать бульдозером, когда начнут готовить площадку под будущий животноводческий комплекс...

И тут Егор носом к носу столкнулся — вот не ожидал — с Лихопековым.

— Гитлеровские траншейки-то, — махнул Егор рукой себе за спину.

— И что? — ничуть не удивился ему Лихопеков.

— Шрамы войны, — заметил Егор. — Пора бы давно залечить.

— Залечим, — сказал с ударением Лихопеков

Лицо его было скованно, отчужденно.

— И все же лучшее место для этого комплекса здесь! — решительно выдохнул Тиганов Егор.

V.

Природин возвратился с курорта бледный, в нелучшем расположении духа. Еще только шел домой с чемоданом от автобусной остановки, как кое-кто из встреченных на пути земляков не преминул ковырнуть его:

— Вот оно самое синее в мире-то... Лучше бы ты в Алатырском межколхозном отдохнул — дешево и сердито.

— Дорого, да мило, дешево, да гнило, — отвечивал им с высоты своего роста Природин.

Он проходил главной ярищенской улицей — мимо школы, мимо сельсовета, колхозной столовки и мехтока — и радовался, глядя на все свое, такое родное, привычное, без чего, извините, наголодался.

Тиганов Егор углядел еще на дороге необычную природинскую фигуру и все хотел встретиться с ним, отвести душеньку, перекинуться хотя бы парой слов, но держали дела, не давали возможности оторваться и на минуту. И только к вечеру Егор забежал в домишко, где жил Природин, на самом краю Ярища, у большого оврага. Глядь, а они уж с отцом Егора, Трофимом Тигановым, сидят перед хатой под бузиной на травке.

— ...На курорте там, на Черном море-то, хорошо,— продолжал рассказывать дружку своему Природин. И подался в сторону, уступая местечко Егору.— Государство для трудящегося человека — все: и дөмяку что тебе царские палаты, под мрамор, и кормежку ничего себе, можно жить. А вот сами мы жить, скажу тебе, Трофим, не умеем — не можем и не хотим... В больницу попал там у них, пролежал столько дней, подхватил грипп с осложнением. И с чего, понимаешь ли, подхватил? Дома тут, бывало, грипп этот ходит вокруг, каждого переберет, а мне хоть бы хны — каланча несломная, столб верстовой, и не покачнусь. А там нá же тебе, так скрутило...

Хоромы-то хоромами, столбы мраморные столбами — курорт общий для всех. Да вот комнатку выделили мне где-то под лестницей, темную, в столовой посадили в уголок, официантка не враз к тебе подойдет, с полноги летит к центральным столам. Ну, я и задумался. У себя в деревне я не из последних, а когда в трактор лезть — так и вовсе, можно сказать, из первых, а тут тебя в уголок, поль внимания, а кто ты такой?.. К тому же узпал, что мы — сельчане — на этом курорте вроде бы как в гостях: наш профсоюз с ихним профсоюзом имеет такой договор — людей своих подсылать, когда у них места оказываются незанятыми, чтобы, значит, не пустовали... Ходят дядечки и тетушки, животы впереди себя носят или не носят — это не важно, но на тебя не взглянут, не остановятся, не поговорят. Свои группки — давно знают друг друга, свои мыслишки и разговорчики, свои дела, свои интересы. В первое время я этого недопонял, одному тошно ведь: ткнулся туда, ткнулся сюда — стенка, смотрят на тебя, как вот я сейчас на этот вот камень.

— Известное дело,— переложил себя на траве с локтя на локоть Тиганов Трофим, Егоров отец, слушая Природина со вниманием,— оробей воробей, курица обидит.

— Какое там курица! — махнул Природин рукой.— Сам как вроде червяк, того и гляди, даже курица заклю-

нет... А однажды сидел на лавочке с женой один такой солидный, лысоватый мужчина. Ну, я и подсел к нему, дай, думаю, душу отведу, что я в самом деле, ей-богу. Черт знает, кем там у себя он работает, судить не берусь, но меня оборвал сразу такими словами: — Вот вы, вижу, чем-то здесь будто бы недовольны, а ведь кормят вас здесь хорошо, кругом столбы мраморные по помещениям, дома у вас, что ли, лучше? — Дома-то, говорю, столбов этих мраморных нет, насчет кормежки тоже когда как бывает, да главное разве в этом? — А в чем же, собственно, главное?.. Вот вы, вижу я, хлебороб, сельский житель, а мы из столицы. Так вот мы тоже имеем основание вами быть недовольными: не всегда-то вы хорошо там у себя дело ведете, по Продовольственной программе.

— Ну, а кто вы сами такой, спрашиваю, чем вы занимаетесь?

— Это, говорит, знать вам не обязательно. Я, говорит в данном случае представитель народа, народ с вас спрашивает, а вы отвечайте.— Ну, я, Трофим, понимаешь, вскипел, сижу и не знаю, что ему на это сказать. А он, гляжу, отодвигается-отодвигается на другой край лавки, а жена его мне из-под руки: — Да дайте, дайте им денег! Все денег им мало, и пусть работают...— На том встали они и ушли, а я еще долго сидел, как гвоздями к лавке пришитый, никак не мог приподняться.

И потом дня три бродил после обеда от моря к колоннам нашим мраморным, от колонн этих мраморных к морю и все разговор этот свой переваривал. Да кто хоть они такие, те людишки из города? Вроде солидные, одетые в кожаные пиджаки и дубленки, значит, при деньгах. Блатные, что ли, какие-то? Для них мы — второй сорт. Если бы ученые, писатели, хирурги были какие-нибудь, настоящие люди, так бы, небось, ясное дело, не говорили бы, нет... А не те времена, чтобы так вот смотреть на людей, ставить их ни во что. Ишь, как она, эта его бабенка-то крашенная: «Да дайте им денег, и пусть работают!» Как будто деньги самое главное, все на них перемкнулось. Да ведь как, Трофим, испокон на Руси: мужику на войну собираться — только подпоясаться, и тогда без всяких тебе денег амбразуры и пулеметы. А этот все на деньги меряет, а где совесть, спрашивается? Может, я и сам переживаю, что не такой вклад вношу в эту программу, мог бы и побольше... Вот после того и задумался я обо всем этом, Трофим, хожу и думаю возле самого си-

него в мире, переживаю. От скукоты жизни, я так теперь понимаю, оттого что дела нет, распустился, расклеился, вот гриппок меня и подцепил...

Ни словом не встрял Тиганов Егор в разговор между Природиним Евсеем Нилычем и отцом своим, Трофимом Тигановым. Сидел, вслушиваясь в такие не обычные для Природина слова, а, когда попрощался с ними, оставив обоих все там же, под бузиной, на траве перед хатой, тоже крайне задумался... Известное дело, испокон в городе, хотя бы в Алатыре, прасола всякие принимали деревенских за служек, которые должны их кормить, обслуживать, просто нет у них иной жизненной задачи, кроме этой — кормить. Потому что и вид деревенских, продававших на алатырском рынке частенько последнее, чтобы уплатить налоги государству с еще не залеченными ранами, и трудное послевоенное времечко, когда рынки оттого и ломились от снеди, что сами крестьяне не ели, воспринимались и по сей день воспринимаются старожилками алатырскими как само собой разумеющееся.

Вот это-то всегда и выводило из себя Егора: сколько можно ехать на стареньком? Действительно, ведь времена изменились, «прасола» отжили свое, кажется, все сейчас в прямом смысле выхаживают хлеб свой насущный, ездят шефами на село, ая нет-нет, да и раздастся голосок такого вот лысоватого...

И Егора потянуло мыслью назад, во всю глубину человечества. Если взять исторически, первобытный, еще пещерный человек жил в постоянном страхе исчезнуть с лика земли, природа была вокруг него и над ним, и он бил челом перед ней, из себя выходил, чтобы выжить, над ней приподняться — вот что двигало человеком. Потом — поклонение господину и ничтожное рабство в себе, потом — поклонение богу и опять же рабство в себе, потом — поклонение власти денег и опять-таки рабство в себе. Такая пружинка — деньги, и все поклонение, поклонение, преклонение, а когда ж человеку оставалось быть человеком? Это Бодраков считает, что деньгами можно все воротить, хоть стенку крушить, хоть душу. Не идут люди на молочно-товарную ферму в третью бригаду, не держатся кадры. И вместо того, чтобы крышу починить, вычистить авгиевы конюшни, председатель даст указание изыскать оплату там раза в полтора выше... Конечно, деньги есть деньги, какой вопрос, их пока еще никто не отменял. Но Лев Толстой выделял и другое, что

движет человеком: достоинство, самоотвержение и любовь...

Природин обрабатывал междурядья сахарной свеклы. Зеленое безмолвие — гоны длиной в два километра, и ни одной живой души. Сладкая культура, от которой, откровенно сказать, горьковато. То ли стареть стал, то ли в самом деле здоровьишко подносилось, но в прежние годы работалось лучше, спокойнее. Бывало, сразу же после войны, когда он впервые сел на трактор, на севе его ХТЗ-НАТИ обслуживала бригада человек из двенадцати. Трясутся на сеялке сзади прицепщики, от пыли у них торчат одни зубы. Зато подъехал к краю, вот они тебе, люди: одни подвозят семена, другие их засыпают, смех и шутки, новость за новостью. И все с почтением к тебе, ты — фигура.

И домой, бывало, заявисься, народу сколько в семье: кто дает корму корове, кто колет дровишки, а ты, труженик, посиди, ты устал, ты работал на технике. Да была бы честь оказана, тем человек и жив. А и жив-то, может быть, он случайно. В те годы — через Ярище и Алатырь — везли и везли на подводах механизаторов: по соломе кровь, на соломе безногие, полумертвые. Так-то хлебушек доставался! Он и сам пахал поле и ждал каждый миг. Сколько ездил по дороге, и впереди попуторка прошла, а под его трактором ахнуло, поставило всего на дыбы, до сих пор от этого у него шрамы на голени...

Природин развернулся впритык к самому большаку, опустил культиватор и прицелился к лесочку, едва торчащему из-за горизонта. Спрыгнул наземь, стукнул носком сапога по резиновому колесу. «К-700» — колесо по плечо ему, во громила! Блямбой на кабине принудительная вентиляция, агрегат — электростанция, кажется, черта своротит. А подсчитали выработку, ненамного отличается от той, что была у «ХТЗ», вот вам и нате. А ведь тот землю так не похабил, так структуру не разрушал...

В кабине, несмотря на жару, было прохладно — сиди, обвевайся принудительным воздухом. Нет, что ни говори, это — техника, это прогресс, вот как жрет, жеребчина, плантацию километрами. Зеленые борозды бегут к тебе струями, а от тебя убегают, сужаются к горизонту. Дрожит в мареве от мотора Арендный лес, надвигается, растет на глазах. И хорошее настроение овладевает Природиним. Он любит работать, когда дело спорится, вроде бы все семьсот лошадиных сил этого дизеля входят в не-

го, наливают мускулы, и совместная тяга руки и мотора через рычаг передается земле.

— Черный ворон, ты не вейся
Над моею головой,—

запеваёт Природин слышанное ещё в детстве от бабки. Всего-то и помнит две строчки, а как хорошо! И, повторяя их многократно, он едет на своём «К-700» к Арендовому лесу, который растёт, словно гриб. А вот и конец бороде. И тут, у края поля, стоит, машет рукой ему агроном — Тиганов Егор, сынок Трофима — дружка его закадычного, верного.

— Ну как? — тянется к нему в кабине на посочках Егор.

— А-а-а,— улыбается с высоты Егору Природин и оглядывается.

А там поле, словно арбуз астраханский, так отделал его Природин.

Сидят на траве, рядком да ладком.

— Черный ворон, ты не вейся
Над моею головой,—

смотрит Природин вдаль.

— Ах, на добычу не надейся,— подтягивает Егор, и заканчивают они уже вместе:

— Эх да, чёрный ворон, я не твой.

И солнце над ними ещё высоко. И над головой ни единого облачка. И на душе хорошо и чего-то тревожно, ведь дважды подряд хорошо не бывает.

Из-за спины выскочил мотоцикл — «вертолет» Бронькин — и замер перед ними, как наехал на стенку.

— Слыхали, Селиван умер,— не слезая с сиденья, сказал Бронька.

Егор с Природиним так и остались на месте.

— Зашли в школу, а он прямо за столом... Уж дня три как, вьются зеленые мухи... И головой на баяне, баян мехами до самого пола.

— Да кто же теперь наших детей-то будет учить? — смотрел Егор на Природина. — То учитель был — школы не было, то теперь школу охлопотали — нет учителя...

— В Ярище давай,— крутанул Бронька ручку газа,— садись, Трофимыч, погнали!

В правлении никого из начальства не оказалось: Лихопеков ещё с утра уехал в Алатырь, а Бодраков, сказали, как пошел обедать домой, так ещё не появлялся...

Сначала Егор сидел на порожках Селивановой школы один, потом появился Природин. Вдвоем было уже как-то легче. После захода солида, в сумерках, березовая рощица казалась еще белее, наряднее, прорезаннее, вся в отдельных стволах, а во-он откуда, из Тигановки, от Ивантеиховской усадьбы, вместе с приречной сыростью пахлынули косяком такие сильные запахи, и среди них выделялся запах вроде невзрачнейших, сиреневых фиалок ночных — маттиол.

Из-за двери слабо тянуло тленом, духом ушедшего, елью. Еловых веток уже натаскали порядочно в комнату, где лежал на столе Селиван. Просто так лежал, пока без домовины, как ходил, так его и положили, только с медными пятаками на веках. Старушки сделали свое дело и исчезли, а они вдвоем вот сидели.

Беспокойство где-то внутри, под послеоперационным рубцом, всколыхнуло в Егоре картину его пребывания в больнице, он тут же увидел перед собой знакомые, черные квадраты очков доктора, почуял особое, чуть сладковатое тление больничных стен, белых халатов.

— Евсей Нилыч,— смотрел Егор в полузатворенную дверь,— а ведь ты тогда нам с отцом не совсем объяснил, почему на юге гриппок подцепил.

— Дело прошлое, чего ворошить,— сдвинул мохнатые брови Природин.— Говорил же, пал духом, гриппок меня и прицелил... Гляди, луна уже выступила, ровно как в молоке. К срыву погоды, дождь, наверно, надует дня на три-четыре, не надолго. Кабы луна в большом кругу была, так, считай, на декаду...

— Знаю, давление в барометре падает. Один чудак говорит, как же вы, мол, погоду по нему определяете, когда барометр в хате, а погода-то наружи?.. Вот и мне по-пятю хочется: с чего такие здоровяки валятся от какого-то гриппа?

— Не от какого-то, а от гонконгского.

— Люди вам там не понравились, что ли?

— Люди как люди,— усмехнулся Природин.— Всякие есть — и хорошие, и всевозможные... Сам себе не поправился, ясно?

— Почему?

— А черт его знает,— помолчав, сказал Природин и опять умолк надолго.— Понимаешь, всюду людей милли-

оны: в помещении, в столовой, в городе, когда к морю пойдешь. Одно слово, Крым, жемчужина, юг. Ну, а я к такому изобилию не привык, куда в своей жизни ездил, кроме Алатыря? Мне и орден-то начальство в колхозе вручало, у борозды... Ну, вот я там и затосковал. Иду, понимаешь, и думаю: ну, кто тебя тут знает, с кем можно поговорить по душам, кому нужен ты со своим разговором? На улицу выйдешь — валом валят, и каждый свое несет, понимаешь, в себе. Лучше бы меня устроили на житье где-нибудь в общежитие, там бы я с кем-либо быстрее сошелся. А то ведь живу в комнате на двоих, а напарник мой, механик с корабля дальнего плавания, неженатый, ухажерку себе нашел. дмюет и ночует на стороне... Вот я и задумался: людей кругом тучи, а перекинуться словом не с кем. Ну, а тут все меня знают, и я знаю каждого, как вот Селивана... Мне тут своя каждая выемка. И колхозные поля, и личные огороды всем безотказно пахал. Ты, Егор, меня понимаешь?

— Еще бы,— едва шевельнул сухими губами Егор.

— Эх, да что там! — вздохнул Природин.— Так вот что высидел я в том доме отдыха: чего гонять по земле-то? Гоняет такой человек — и тратит себя, распхыривает даже то, что имелось... А вот он,— качнул Природин назад, за дверь, головой,— он прирос пуповиной, он долго еще будет тянуться ввысь среди нас, как дерево, земля его не обидит...

«И всего-то? — думал Егор о том, кто лежал сейчас там, внутри помещения, на столе. — Только-то и заслужено за целую жизнь?» И снова боль где-то внутри живота, под рубцом, напомнила о себе. Это комом восстало в груди недовольство собой, от которого, как какие-нибудь метастазы, расходятся, разветвляются, шевелятся щупальцами по всему его телу, по всем жилам его волны этой осязаемой, почти электрической боли, от какой нет никакого спасения, хоть вались на постель, накрывай ухо подушкой, чтобы не слышать ничего, не видеть, не ощущать. «Нервы,— решил Егор.— Посевная выходит наружу».

Слегка подташнивало, Егор невольно поморщился и увидел, как к Селиванову дому подъехала машина — «рафик». И вот уже Лихопеков — это был он, конечно,— захрустел по песку на асфальте перед окнами школы.

— Ну как тут? — поздоровался он с Егором и Природиним за руку и шагнул в полуотворенную дверь.

Через какое-то время вышел оттуда, подсел к ним на порожки. Покосился на Егора:

— Чего это ты, Трофимыч, так с лица изменился?

Егор не ответил.

— Рекомендую пить молоко, — вздохнул Лихопек. — Работай, братец, без угробления, тебе же необходим пока щадящий режим. А то выйдет человек на работу, наваяют на него все сразу — тащи...

Была уже глубокая ночь. Одно за другим погасли в Тигановке окна. И только ходили по крыше, драли когтями шифер коты, вопя друг перед другом, как мартовские, сводили личные счеты без стыда и без совести.

— Пойдемте ко мне, чего-нибудь перехватим, — поднялся Егор.

Закрыв дверь на чепок, и они двинулись в ночь.

Когда стихли Милины хлопоты, а Ивашка с Устинчиком были осмотрены и уложены спать, все втроем присели к столу, перекусили, что нашлось под рукой, и как-то само собой речь зашла о режиме дня, и все опять же уперлось в отношения и взаимоотношения, в разгрузки и перегрузки.

— Вот вы говорите мне, надо, мол, себя приберегать, — повернулся Егор к Лихопек. — А как приберегать, ведь мы все на работе... Например, просто жить не дает мне этот животноводческий комплекс! Вроде бы не прямое мое дело, не агрономское, а не могу! Ерунда такая, никак не можем определить место разбивки.

— Ну, а ты-то сам для себя определил?

— Я-то определил, — сказал, уклоняясь, Егор. — Да из-за этого не ладить приходится с людьми, которые, заметьте, тебе симпатичны. Зато нехорошие липнут, как мухи. Вот беда.

— Ну, а само место, если откровенно, Егор Трофимыч, чем тебя привлекает? — аж перегнулся Лихопек через стол к Егору.

— Я бы сказал наоборот: чем оно против себя подняло? — глянул Егор за окно, и глаза его заблестели, ноздри затрепетали. — Да ведь это же одно из красивейших мест, убежден. Родина с него глубже видится! Здесь Дворец культуры надо строить, дом отдыха, парк разбить, а мы хотим запясть его заурядной постройкой. А ведь у нас — дети, а за детьми еще поколения. Мне такие точки — как люди живые. Я в глаза им смотрю, разговариваю. Кто же их защитит, бессловесных?

— Ну, вот теперь вижу, ты пишешь стиха, — улыбаясь Лихопекоев Егору. — Ты — романтик, а этим сейчас не многих возьмешь. Ты найди точные аргументы, дай людям трезвый расчет, экономическое обоснование, а без этого все, конечно, патриотично, но... сотрясение воздуха. Ну, и что ты, в конце концов, предлагаешь?

— Сами знаете, старый брошенный сад. Полкилометра от села, значит, людей не возить, пустошь, полвека никак не используется...

— Что ж, в этом, пожалуй, что-то имеется, — тихо сказал Лихопекоев. — А теперь попробуем развернуть это «что-то», доказать, отстоять, привлечь сторонников к нашей точке зрения, так?.. Я с чего разговор с тобой начал: надо себя приберечь. И вот что имел в виду: зря не рвать себя, не пережигать, надо уметь контактировать с людьми. Убедился сам в верности своей позиции — найди сторонников, они всегда есть, в любом коллективе, если он живой организм, не загнил, вместе со сторонниками постарайтесь других убедить, расширьте свой круг. Главное — чтобы идея, так сказать, овладела массами... А ты — максималист, тебе все или ничего, или — или, третьего не дано. Так людей от себя будешь только отпугивать. Каждого человека тоже ведь надо понять: что им движет, почему рассуждает он так, а не иначе?.. И дома, небось, такой же: все или ничего, а, Егор?

— Да нет, дома он смирный, — подавая чай на стол, приласкала Миля глазами своего взъерошенного, что тебе воробей, мужа.

— Он вообще мужик вот такой! — вскинул Природин большой палец перед Лихопекоевым. — Когда-то, помню, пешком под стол ходил. Как Ивашка...

И все засмеялись, потом вспомнили про то, что собрало их вместе, и замолчали. И Егор с облегчением думал, что вот на пути его оказался еще человек, на какого можно будет, в случае чего, положиться.

Стояли втроем на крыльце: одиноко, маслянисто как-то в мглистой зябковатой ночи за речкой светилось окно.

Вроде такая же Тигановка, какой была и день назад, а уже не такая. То возле одной, то возле другой хаты сойдутся люди, постоят, помолчат, повздыхают о судьбе Селивановой школы, пожалеют своих детей и Тигановку. По Селивану-то и поголосить некому, из всей родни только двоюродный брат в Запорожье, туда отбили ему телеграмму.

Тьмой перемкнуло бы все Егору, да зачем тогда жить, добиваться чего-то, когда конец известен, как у Селивана. Но помогла Егору его агрономская профессия. Проходил мимо бабки Гали, загреб у нее из решета горсть зернеца, что швыряла бабка домашней птице, встряхнул на ладони, покатал по всем линиям жизни: вот оно какоичко, зернышко, что там — миллиграммы, а силы, если подумать, просто жуткие, неискоренимые, такие, что привели его к нам сюда из веков и уведут в века...

Егор поставил «Москвича» под окна правления и через сад заторопился на пилораму, заказывать гроб, язык не поворачивается сказать, Селивану. Пилораму в Ярище называли «веселый ветер», потому как, сколько помнят ярищенцы, она всегда размещалась в худом дощатом сарайчике, на котором доски были, как клавиши в пианино: свежие — побелее и через одну старые, уже потемневшие, а через две — ничего, пустота. Днем эти доски (начальство давало указание) прибывали, а ночью отдирали и уносили. Днем прибывали, ночью отдирали, прибывали — отдирали. А иначе, что бы тогда делали в простой люди на пилораме?

Вот и сегодня, уже с утра, едва ступив за порог, Егор чутким нюхом изловил сложные запахи подгорелого металла, сосновых деревьев и августовско-сентябрьского сада.

И тут дверь следом распахнул Бодраков.

— Вот этот,— показал он рабочим на самый лучший у стенки.— Берите и грузите на машину.

— Так это же мой... г-гроб,— заикнулся было один из них.

— Ничего-ничего,— сказал Бодраков.— Длинноват? Стружок побольше набьем — в ноги и где голова... А ты чего здесь? — увидел председатель Егора Тиганова.— Не мешай-ка людям работать, людям нужны зачеты — один за два. У Бодракова так, у Бодракова иначе нельзя, гори оно сним огнем.

VII.

Вот и не стало Селивана, зашумели ветры над свежим, низеньким земляным холмиком. И повис над Тигановкой проклятый вопрос: кто же будет, когда придет осень, учителем у них в Селивановой школе? «Ничего, свято место пусто не бывает,— говорили одни.— При-

плюют кого-нибудь». — «Кого-нибудь нам не надо, — возражали другие. — Эх, при жизни не можем беречь друг друга, чтобы после за локотки не хвататься». И Селиван вырастал в глазах у своих деревенских, очищался от всего бытового, случайного, становился таким, что хоть ставь человека вместо иконы.

И все же дни за днями брали свое, приходили иные дела и заботы. И, главное, на первый план выдвигался животноводческий комплекс, который как повис над ними с полгода назад, да так и висел.

Ноги сами выпесли Егора на «командный пункт». Сумерки быстро сгущались, и воздух становился тяжелым от холода, сиреневым, отсвет от облаков ровно ложился на всю округу, обтягивал каждую выемку, кустик, листок. Сейчас, уже почти вслепую, интересно было все же угадывать с высоты отсюда расположение сел и деревушек, перелесков и суходолов, всю эту всхолмленную, слегка притуманенную равнину. Егор отвел голову чуть в сторону, мимо огромного валуна, и сейчас же на ближнем плане все изменилось, переместилось по отношению друг к другу — кусты сирени и жимолости за ракитой, заросли молодого орешника, слева от него — в одиночестве — колючая шапка татарника. Первое побуждение — надо спешить, когда надвигается ночь, чтобы успеть ко двору. Но эти места были ему так известны, сколько лет бегалось в школу из Тигановки в Ярище через эту триагуляционную вышку.

Егор, не шевелясь, смотрел на татарник: «Твое поколение, годки твои становятся работниками, и вы теперь самый сок, от вас сейчас тоже зависит, куда идем, какой будет вся эта земля»...

Проезжали на днях мимо вышки с заместителем предрика Распоповым и Лихопековым, возвращаясь из Тигановки, из Селивановой школы. «Чего это он так блекочет перед начальством? — покосился Егор — на Лихопекова. — Сыплет мелкими барашками, как ягненок каракулевый, трехнедельный, только что из-под полотенца».

— Давайте свернем на «командный пункт», — толкнул Егор в плечо Лихопекова. — Пусть человек хоть глянет на наши места.

— На какой «командный пункт»? — живо повернулся к Егору Распопов.

— Это все по его вот части, — кивнул затылком Лихопеков на агронома. — Он тут в уборочную раскомандо-

вался, как Наполеон... с расхитителями сражался, — и опять этак мелко рассмеялся. — Ну, молчу, молчу, Егор Трофимыч. Дело давнее, чепуха... А вообще-то высотку эту, у триангуляционной вышки, мы называем «командный пункт». В народе вроде поверья, так, Егор Трофимыч?.. Ну да... Когда Лев Толстой проезжал к своей дочери Татьяне вот этой дорогой, будто бы не удержался великий писатель, тогда уже старец, и пешочком на эту высотку. Посмотрел и сказал: если бы, мол, в окрестностях случилось сражение с французами, Наполеон выбрал бы место себе для ставки именно здесь. Наполеоновские войска здесь не проходили, а вот фашистов в сорок третьем отсюда мы выбивали, и возле высотки действительно располагался штаб армии, а на самой высотке — наблюдательный пункт...

— И вы хотели провезти меня мимо? — полушутя-полусерьезно заговорил Распопов. — Хоть я и не Лев Толстой и пока что не старец, но человек русский, как-нибудь пешочком и я...

— Зачем же пешочком? Туда дорога есть теперь, можно и на машине, — кивнул Лихопеков Егору.

— Ну, нет уж, позвольте, — сказал Распопов на полном серьезе. — К святым местам ходить надо только пешком.

Поднялись на высотку и задохнулись от обилия воздуха: в душе каждый был, черт побери, романтик. Перед ними была ширь России, земля.

— Неужто отдадим это место под комплекс? — вырвалось у Егора. — Так же, братцы, нельзя.

Распопов смотрел в открытые дали.

— Вот вы сейчас о красоте земной, небось, скажете, — перевел он взгляд на Егора. — Да, здесь прекрасно, что и говорить!.. Только с нас ежегодно, если хотите, поквартально, помесечно требуется продукция. Людей, извините, кормить надо, и не абстракцией, а конкретным молоком, мясом... Все живущее тянет соки из земли одинаково, — смотрел он теперь в упор на Егора, — только с корня получается, допустим, горох, а то и плевел, дурную траву с поля вон...

— Опять мы за старое! — вспыхнул Егор, и, как всегда в таких случаях, у него даже искры из глаз просыпались. — Разделять все на красное и зеленое, на зрелое и незрелое, грешники меняются, а грех остается.

— Получается, слепой слепого водит — оба ни зги не

видят? — смягчал Лихопеков Тиганова. — Так, Егор Трофимыч, выходит?

— Это кто ж кого водит и чего оба не видят? — с подозрением посмотрел на них обоих Распопов.

— А вот в колхозе за нос друг друга водим, — провел Лихопеков ладонью по бревнине — подгнившей «ноге» вышки, вышка так под рукой и запаталась.

— А вы чего с Бодраковым не видите? — спросил теперь уже напрямую Распопов. — Один — красоты земной, перед ним голые планы, а другой — не может ему красоту эту раскрыть, увязать с реальностью планов... Ну да умные люди в конце концов договорятся. Но я сейчас не об этом. Здесь действительно полно воздуха, и должно мыслиться крупно, если хотите, масштабно...

Всю неделю Егор лазал вокруг Ярища, оглядел в какой раз не только старый, щербатый сад, но и все эти пустоши и буераки. Вымерял, высчитывал площади, расстояния от ближайших усадеб, заносил в лично составленный план. В пятницу с мыслями и бумагами он отправился в Алатырь, к Кондаурову. Главного инженера Егор застал в кабинете.

— Чего тебе, Тиганов? — оторвал голову от бумаг инженер.

— Да вот, — замылся Егор, — посоветоваться пришел к вам насчет... места привязки нашего комплекса. Хотелось бы, чтобы вы, Виктор Палыч, помогли. Зачем портить ландшафтное место у вышки?

— Братец ты мой, — засмеялся Кондауров, «р» прокапилось и упало куда-то в горло, — мне-то что — дайте команду, да я хоть на Луне комплекс вам привяжу. Вы сначала там у себя определитесь, выработайте рекомендации, а потом мы посмотрим... Извини, спешу, там наверху меня ждут. Нá, погляди, вот это.

И сунул Егору брошюрку «Типовой проект животноводческого комплекса (КРС) в колхозах и совхозах области». С тем Егор и вернулся в Ярище.

...В последнее время Егору стало ближе все, что делал и говорил Лихопеков. Холодок, который образовался между ними, когда обещанный Егору стандартный домик тот занял сам своей семьей, постепенно сходил. Понимали, что от Бодракова можно чего-то добиться только совместными усилиями. Уже не раз они заводили с ним речь о

строительстве комплекса в старом саду, по каждый раз Бодраков выскальзывал, уходил от полемики.

— У Финагена, по-моему, есть мыслишка сбегать наш комплекс соседям,— пошел Егор как-то на прямой разговор с Лихопековым.— Вот зачастил в Дровосечное.

— Ну уж это мы поглядим,— сдержанно сказал Лихопеков, доверительно наклонился к Егору:— Не бойсь, и о нас не забудут...

Втайне у Егора вызрел такой планчик: разбить на «командном пункте» парк, выявить все достоинства этого ландшафтного уголка перед теми, кто придет сюда вскоре делать разбивку площади под животноводческий комплекс, лишь у варвара на такое место наляжет рука... И только боязнь, что народ его не сразу поймет, останавливала Егора. И все же пора было действовать, молодежь должна его поддержать. А то думают, что проявлять себя можно где-то на БАМе, а тут, мол, и так обойдемся. Главное, чтобы идея опять-таки овладела массами, а там, кому надо, реагировать все же придется...

Своими планами Егор поделился с Любой Неведровой — заведующей клубом. Люба была племянницей Природина, дочерью его сестры, тоже из местных, неподалеку отсюда, из деревни Булатово.

В клубе никого не было. Они сидели в комнате худрука: чистенько, вполне современно, без мышинного запаха и черно-багрового атомного гриба на стенке, наоборот, отовсюду глядели молодые глаза из различных ансамблей — «Песняры», «Пламя», «Голубые гитары». Склонясь над столом, Люба вела по бумаге карандашом. Егор наклонился еще ниже и увидел на Любиной шее мелкие, мякотьные такие завиточки волос, услышал запах нежного девичьего тела, и вдруг перед ним возникла Стешка.

— Чего это ты? — оторвалась от бумаги Люба и посмотрела на него внимательно...

И по Ярищу, по всем деревням и поселкам колхоза уже понеслось, что агроном Тиганов Егор вместе с заведующей клубом Неведровой Любой мутят молодежь, затевают для прикрытия глаз субботник, на котором хотят намылить Бодракову шею. Стыдно сказать, прицепились за то, где привязывать животноводческий комплекс, к дубу или раките, как будто от перестановки слагаемых изменяется сумма. Отец говорил Егору, сам слышал, как такие слухи в конторе и в магазине распространяла экономист Коротеева. Это выводило Егора из себя, заставля-

ло нервничать, переживать, а что делать? Не идти же к людям оправдываться.

Поделился своими сомнениями с Любой.

— Проведем субботник,— сказала она спокойно,— и слухи заглохнут сами собой... Вот уж готово, гляди, объявление. Давай припишем, вот тут в низочке: «Приглашаются все желающие, в том числе и пожилые колхозники, сельская интеллигенция».

Объявление Люба повесила около клуба и, заказав в районной киносети фильм «о всенародном участии в освоении целины», заметно успокоилась, считая, что раз проведена такая массивированная артиллерийская подготовка, то прямое попадание обеспечено. Зато Егор не находил себе места.

— Где это ты нахваталась такого: «артиллерийская подготовочка», «прямое попадание»?— спросил он ее, зайдя на другой день в ее комнату.— Книжечек, что ли, пачиталась?

— Зачем книжечек? — поставила Люба на него крупные голубые глаза и не сморгнула даже.— Мне один парень из РАУ пишет.

— А что это такое — РАУ?

— Чего ты, не знаешь, что ли? — повела Люба полным, пухловатым плечом.— Да это... как его... ракетно-артиллерийское училище.

— Все понятно, молчу. Перед артиллерией, тем более перед ракетами,— я пас. Он у тебя бог войны.

— Скажешь тоже,— усмехнулась Люба.— Какой он там бог, просто один мальчишка из нашего класса.— И неожиданно для себя выпалила Егору:— А мне больше другой нравится, морячок, на подлодке земной шар уже два раза под водой опоясал. Тому я сама пишу...

И при последних словах Люба вышла из комнаты, оставив Егора с мыслями наедине.

VIII.

Егор с Любой явились на «командный пункт» первыми. Оглядели все по-хозяйски: куда откатить валуны, какие березки убрать, а какие оставить, куда пробить стежки-дорожки. Задувал ветер, освежал тело и душу. «Что-то нет никого, может, никто не придет?» Егор просто не узнавал округу, все неожиданно помрачнело.— «Только бы дождь не нагрянул»

И вдруг загредел мотоцикл без глушителя — «вертолёт» Бронькин, протянул сюда, наверх, едкую синюю полосу. Вот и Бронька Летягин — механик собственной персоной. Из коляски у него торчал вверх ножками стол, под столом — на дне — была кумачовая скатерть.

— Чего это ты? — удивился Егор. — Ай на свадьбу собрался, во Дворец бракосочетания?

— Бодраков приказал, — вытаскивал Бронька стол из коляски. — Сейчас сам подъедет.

С высоты было видно, как из Ярища, Тигановки, Синих Двориков, Житеня, от Адамовой мельницы — большаком, проселками, стежками, мелькая во ржи, поднимаясь на взгорки и исчезая в лощинах, тянулись сюда люди: кто — пешком, кто — на велоспедке, а кто — прямо на тракторе, с поля. Подходили молодые — девчата и парни, встречались, радовались друг другу, переговаривались и смеялись на чью-нибудь шутку, выходку или просто так, с ничего, садились на травку, прислонив к валуну лопаты и грабли, бросив рядом пилы и топоры.

— Бронислав Демидыч, ай воспитывать нас собираешься? — задевали Летягина молодые парни.

— Ты бы трибуну еще приволок, гарнитур из сельмага с четырьмя мягкими креслами.

Подходили и те, кто постарше, и женщины, поуправившись дома, и глубокие старики. Пропустил дед Комолый с высоченной палкой, — на крюке узелок.

— По орехи, что ль, с алебардой-то? — подцепил его Егор. — Ишь, какой, прямо из средних веков, оруженосец.

А сам радовался, что все так хорошо получается. И не знал, растерявшись, что делать ему с такой гущей народа, куда кого ставить, какое давать задание, вообще-то как в таких случаях приступают.

Подъехал автобус, горохом из него посыпались школьники. Словно солнце, надо же, брызнуло из-за тучки и расцветило окрестности. Вслед за автобусом подкатил на «рафике» Лихопек. Он сразу же вошел в гущу людскую, как тут и был. Его оранжевая рубашка замелькала среди ярищенских, тигановских, адамовских, синедвориковских, житеневских, а голос стал слышаться то с одной, то с другой стороны холма. Влетели лопаты, заскрежетали о камни железные грабли...

И тут со стороны Завалюшино на холм взобрался «козел» председателя. Сквозь людей, как сквозь масло, Бод-

раков прошагал к столу, подхватил этот стол одной правой и с ходу припечатал его, чуть повыше, к плоскому, седоватому от мха валуну-кругляшу. Провел внешней стороной ладони по скатерти, окинул собравшихся взглядом, сказал с натугою, зычно:

— Дорогие колхозники, земляки! Спасибо, что вы все, как один, откликнулись на наш призыв, явились на субботник, который знаменует начало работ по строительству нового, еще более мощного, колхозного животноводческого комплекса здесь, на этом самом холме, где находимся...

— Как животноводческий? — по глубине собравшихся прокатился нестройный гул. — А с парком — зоной отдыха — как же?

— Митинг, посвященный такому событию в нашей жизни, — Бодраков сделал короткую паузу, — объявляю... открытым.

Услышав такие слова, все подтянулись привычно, гул постепенно иссяк.

— Кого предлагаем в президиум?

— Не надо, — зашумели из житеневских, а также оттуда, где кучковались механизаторы. — А почему же не парк?

— Парк — это отдых, — бросил им с высоты валуна Бодраков, — а нам еще сколько надо трудиться, чтобы догнать и перегнать хотя бы соседей, например, Дровосечное. Выполнить — гори оно синим пламенем — дополнительный план.

Выбрали, как всегда, президиум. Члены президиума исполняли свою обязанность стоя — не как всегда.

— А все-таки как же с парком-то? — возникали голоса, но уже из разных мест и потверже.

— Примите меры, — махнул рукой Бодраков. — Мешают работать.

Дед Комолый поднял палку над головой и глухо стукнул концом перед собой по камню.

— По комплексу... Кому первое слово? Вот кому, — указал Бодраков на Природина в первом ряду. — А ну, Евсей Нилыч, скажи!

Природин начал говорить бодро и неожиданно сбился. Получилась пауза. Пауза все росла. Стало слышно даже дыхание бабки Криуновой, стоявшей тоже в первом ряду. И тут рука Природина дрогнула, осторожненько, незаметно этак полезла в карман. К своему удивлению, Егор

увидел, как в ладошке природинской оказалась еще та, давнишняя синенькая тетрабочка. Скосив глаз, Природин начал читать по тетрабочке. «Надо же! — впился в него Егор. — Петь будет, должно быть, под дудочку Бодракова». И тут Природину не понравилось что-то в написанном, надоело искать глазами слова, читать чужим, сдавленным голосом, и он положил тетрадку на стол. И стал говорить по-своему, сам.

— Это, что ж, теперь, не шар земной — шарик, вокруг которого можно облететь за тридцать минут, — начал он с международной картины и почувствовал, что его, как трактором, так и тянет по этой стежке, не свернуть никуда. — Эту эру открыл нам Гагарин...

Бодраков кивал головой, ободряя.

— Царство ему небесное, хороший был человек, — вздохнула бабка Криунова, она всегда на все реагирует живо и непосредственно.

— Ты бы еще перекрестилась тут, срамота, — укорил ее тут же Природин. — Да, вот тут у меня записано... «...шар можно облететь за тридцать минут, и он уже никогда не будет для людей тем, чем был он для наших предков». — И пошел по своей стежке далее, по порядку: — А чем он был всегда для людей, спрашивается? Большим домом, а теперь сделался маленьким. И они хотят его ракетами рассадить, домик этот, какой предки строили, по бревнышку раскатать...

— Кто они? — раздались молодые, ребячьи голоса. — Выражайтесь понятнее.

— Кто — агрессоры! Ясно, кто, — отпарировал тут же Природин. — Темные силы реакции и международного разбоя, но силы мира всегда начеку...

— Верно, — успокоились ребята, — крой дальше. Если что, мы их всех ракетами к стенке пришпилим.

— Но землю нам надо беречь, — ободренный одобрением вздохнул облегченно Природин. — Шарик у нас этот маленький, а колхоз наш большой, за день, пожалуй, не обойдешь. И вот на этой нашей колхозной земле отцы наши, предки, оставили нам большие красоты природы, а мы хотим их, как какой-нибудь Пивочет, как эти... как их... мракобесы международной политики, бульдозером — и в ров. Так, дорогие мои, никуда не годится...

Бодраков насторожился, покосился на Природина, стоял, как аршин проглотил.

— Мы понимаем,— продолжал Природин,— как важен комплекс, что производство надо наращивать, мы за это принимали сообразительности, мы за это голосовали и уже отвечаем делом, работаем. Но сейчас стоит другой вопрос: быть не только работником, но настоящим рачительным хозяином на земле, я так этот вопрос понимаю. А то кое-кто хочет привязать комплекс к этому вот месту, к «командному пункту», к вышке...

Бодраков поднял руку:

— Все, Природин, хватит тебе! Дай другому сказать.

— А другому не надо,— колыхнулись в толпе.— Пусть человек говорит, продолжай, Евсей, разумное, вечное!

— А это, товарищи, сами видите, какая тут красота!— повел Природин рукой.— Как будто у нас нет мест других — покорявее, проще. А то метим в ворону, а попадаем в корову. Не доглядишь оком, после заплатишь боком. Как будто мы последний год живем на земле... Вот я и предлагаю молодежи, тому, кто будет жить и хозяйствовать тут, на земле, и после нас, высказаться по данному вопросу. Как молодые понимают борьбу за сохранение красоты этих мест, а значит, и всей большой нашей Родины, я лично так понимаю...

И отошел, взволнованный. Потом подскочил к Бодракову и стал вынимать из синей тетрадки какие-то бумажечки, совать председателю в руки.

Егор оглядел собравшихся и увидел, кажется, каждого, всех. Как водовороты речные, закручивались разговоры, вспыхивал и погасал смех. Особо, кучечкой стояли школьники во главе с Верой Ивановной. Егор поймал ободряющий взгляд Лихопекова и глядел спокойненько на Бодракова: «Ну что, как оно, ничего?»

— Слово Тиганову Егору! Егору Тиганову слово!— зашумели голоса оттуда, где были школьники.

Егор улыбнулся всему этому колыханью голов и на этом фоне так явственно увидел яркие, оранжевые блики, а в бликах — глаза Кондаурова — холодные, колкие. Инженера на понт не возьмешь, ему нужны цифры и факты.

Егор сказал об экономии земли, которой, если вдуматься, у нас не так уж и много, чтобы строить на ней, что угодно и где угодно в расчете на авось. У российских помещиков, кстати, была ярко выраженная тенденция разбивать свои усадьбы на неудобьях, сохраняя лучшие земли под поля. Этому следует у них поучиться...

— А почему ж тогда возражаете против привязки комплекса к этой вот «вышке»? — как выстрел, прозвучал ехидный вопросик. Она, кто же еще, Николавна, экономист Коротеева.

Все повернули головы в ее сторону.

— А потому, — ответил ей тут же Егор, — что неудобь неудобь — рознь. Это место — красота земная, оно требует сохранения, а старый, выщербленный сад... разбитый еще при царе Горохе... расположен тоже на неудобьях, но на таких, которые никто пока использовать не собирается. Это — рраз! Второе — он расположен в допустимой для комплексов КРС близости к месту проживания животноводов, следовательно, не нужен будет транспорт, автобус, возить на дойку и с дойки доярок, а мы знаем, как у нас это частенько бывает — один раз автобус сломался, другой — по другому делу услали, в третий — просто забыли, и так бывает, а ты, доярочка, топай ножками. Три километра туда, три обратно — шесть умножаем на три, три дойки — это будет уже восемнадцать... Из этого же вытекает и третий аргумент против — экономическая сторона дела. Вы, Николавна, экономист по должности, сами, пожалуйста, и подсчитайте...

— Верно, пусть сама все обсчитает, — поддержали Егора тигановские доярки, — а то как ни придешь к ним в бухгалтерию, все сидят семечки лузгают да по окнам мух давят. А ты, Трофимыч, давай дальше. Даром, что ли, кровь сдавали тебе, крой по-нашенски!..

И взбодренный такой безусловной поддержкой Егор потерял бдительность. От красоты земной он как-то незаметно для себя перешел к красоте хлеборобского труда в уже обозримом будущем, к полям в этом будущем, которые, как цеха завода, с рельсами по сторонам, с кран-балками, по которым курсирует необходимая для работы с землей техника, трактора управляются по радио, только для этого нужны не просто поля, а выравненные, специально подготовленные карты...

— А как быть с сорняками?! — не выдержал и громко спросил дед Комолый. — Ить по радио за ними, чертями, не нагоняешься.

Все опять насторожились. Деда не одергивали, так и стоял он на виду у всех восклицательным знаком.

— С сорняками управится химия — это для нее не вопрос, — смахнул Егор пот со лба. — И вот скажу я вам, что такое, товарищи, химия. Все мы знаем Сахару, вели-

чайшую в мире пустыню. Так вот химия и на эту Сахару находит управу: придуман такой полимер, который держит воду в песке. Выходит, скрепляй Сахару, где нужно, этим составом, поливай водичкой и разводи дыни под щедрым африканским солнцем среди самумов...

И тут же, как ястреб с неба, бросилась к трибуне Коротеева — колхозный экономист.

— Что это нам агроном тут представил? — взвилась она, у нее был резкий голос, даже уши закладывало. — Кабачок «Тринадцать стульев», какой по телевизору хлопнули, а он его тут открыл? Про какую-то красоту земли, про Сахару... Может, ему лично и нравится на Сахаре этой дыни под ихним солнцем выращивать, а мы живем, насколько я понимаю, здесь, у себя дома, и, насколько я понимаю, дыни эти выращивать не собираемся... Это я к вопросу, к вопросу, — закивала она президиуму, — чтобы агроном, соколик ясный, куда зря, не залетал. А по существу вот что. Плывет что-то, путает агроном. Ошибочки тут подметила, вот именно. Во-первых, вышеупомянутый сад был разбит при нэпе, так старые люди рассказывают, а не при царе Горохе, как указывает агроном, и царя с таким именем у нас, как известно, не было, а был царь Николай, по прозвищу «Палкин»...

— Ну, Николавна, Николавна, — смягчал ситуацию Бодраков, ведущий митинг.

— Ты, председатель, меня не окорачивай, я свое дело туго знаю, — психанула Коротеева даже на председателя. — Во-вторых, вот налицо у агронома несураница, противоречие. Значит, ему, агроному — рачителю земли — этот бугор жалко стало, а те гектары, с какими можно еще что-то сделать, как-то использовать, он готов пустить под откос. Это, мол, красота земная, а те земли вовсе нехороши...

— Ну, что исделаешь, Николавна, если сама ты такая справная, толстая и на морду подходящая, — не выдержала бабка Криунова в первом ряду, — а сестра у тебя щепка, как протокол.

— Какой протокол-чостокол? — поправил Бодраков Криунову.

— Ты вот что, бабк, — уперлась взглядом в нее Коротеева и дунула в разгоряченное лицо себе вверх, под волосы, — ты тут агитацию не разводи, все равно сыну твоему доплату за пахоту не начислю, не заслужил. И не ходи ко мне больше в контору, больше по этому

поводу с тобой не разговариваю... И, в-третьих, товарищ агроном, как это вы взялись судить об эконо­мических вы­годах, когда они еще не подсчитаны, не известны. Это — главное... И в конце слова агронома совсем не серьезны, мальчишка какой-то, а не агроном.

Едва ушла Коротеева к валуну, как мячик, подскочил представитель от школы — парнишечка, Варюши Чумаковой — медички — сынок.

— Вы, Николавна, совершенно не правы, — тонким, срывающимся голосом крикнул парнишка.

— Вот еще петушок, нате вам, снесся, — ехидненько этак, на всех прорезала горлом своим Коротеева. — Николавна я ему, будто нет у меня имени-отчества.

— Все зовут вас так — Николавна, — не смутился парнишка. — Насчет дыни вы совершенно не правы. Дыни могут расти не только в Сахаре, но и тут у нас, и мы всей нашей школой доказали, нас за это в Москву посылали на выставку...

Туго зажмурив глаза, даже белые мухи там, под веками, потекли и запрыгали, Егор ждал Лихопекова. Наконец, попросил слова и Лихопеков.

— Три профессии для меня лично, — сказал он тихо и медленно, думая, — имеют свой, особенный смысл, потому что они самые мирные, больше всего, на мой взгляд, служат человеку — это профессии хлебороба, учителя и врача. Заметьте, товарищи, на первое место ставлю я хлебороба!.. Доводы агронома мне кажутся убедительными. Я слышал, как все вы поддерживали его. И это большое счастье для человека, специалиста — попасть в точку, идти в ногу с людьми и со временем. И если бы вы спросили мое мнение, я бы лично проголосовал «за». За сохранение этого места, красы земной, как ее создала мать-природа, если хотите для воспитания будущих поколений...

Солнце взобралось уже высоко, день был в самом разгаре. Буйствовали цветущие травы, сами по колено и выше, они давали на сено хорошие виды. А кругом полно­листные, раскудрявые шевелились березы; дубы и те успели обволкнуться молодым, глянцевым листом, стояли дремотные, мудрые... Праздник лета — всего живого, растущего, когда все в надеждах и ожидании, девушки плели испокон венки из желтых цветов — кукушкиных слезок, пускали их по реке, а суженые ловили пониже, у устья...

Увезли стол, уехал с Коротеевой Бодраков. А раско- диться никому не хотелось. Не за тем собирались, чтобы взять да и разойтись. «Эх, да где наше не пропадало! — взмахнули люди лопатами. — Комплекс комплексом, парк парком, а жизнь жизнью». И окрестности огласились ударами железа о камень, перестуками топора и лихими, дружными вскриками...

Поработав до жженья в ладонях, до удовлетворенья, все присели на травку да выложили еду и питье, все, что захватили из дому. Чего там, праздник, так праздник, в самом деле, отпахались-отсеялись, хоть вздохнем перед се- покосом. И, кажется, вышка качнулась от песни, в небе как завис, да так и висел, любопытствуя, коршун.

Ступив за валун, Егор столкнулся лицом в лицо с кем-то, поднял голову: перед ним была Стешка.

— Жду тут, заждалась, — сказала она и опустила глаза. — А вас с Любой нет и нет.

— Спешил так, — ответил Егор и не знал, что ему де- лать дальше.

IX.

...Егор давненько стал примечать в себе, что дома Ми- лю он словно не замечает, она как хлеб, что ли, как кис- лород. Но стоит ему куда-либо уйти на весь день, а тем более на какое-то время отъехать, он начинает чувство- вать вокруг себя пустоту, вроде чего-то ему не хватает, прямо наваждение, болезнь какая-то, так привык к ней, что ли, без нее уж не может... А как же, выходит, Стеш- ка? Любовь — это гармония, ею движется мир...

Сплюнул Егор: эка куда его завело, взял в руки тяпку потяжелее — «полумесяцем бровь», отцова тямочка, и по- шел окучивать картошку. Егор знал хорошее средство от дурноты в голове — работу.

На «Москвиче» подъехал отец из Ярища, пришел сюда к Егору, на огород. Отобрал свою тямку.

— Отдохни, сынок. — И с ходу стал клясть Бодрако- ва. — А мне отсюда, из Тигановки, — сделал отец вывод, — расстояние что в Ярище, что в Оболешево, а то даже до Дровосечного — одинаково. Я — вольный ветер, могу пой- ти хоть куда. Была бы шея, хомут найдется.

— Чего это ты так? — поинтересовался Егор.

— Допоплату сняла с меня эта стерва... Николавна, — вонзил в борозду тямку отец.

— Отец,— сказал Егор, заметно волнуясь, ему было интересно мнение человека земли, вспахавшего на своем веку не одну сотню гектаров,— как ты думаешь, «командный пункт», место у триангуляционной вышки, красивое место? Можно его отдавать под застройку?

Старший из Тигановых долбил по осоту тяпкой, добил его, наконец, так и срезал начисто.

— Откровенно сказать,— вонзил Трофим «полумесяц» в землю,— мне, сынок, все равно. Дадут наряд — буду грунты ворочать, все сдвину и передвину, не дадут — пережду, обойдусь... Да нет, не из-за денег, сынок, какие там деньги! Мне теперь после смерти Устюши, мамки твоей, деньги смысл свой вроде как потеряли, душа к ним не тянется, вот и ты уж поднялся на ноги, зачем они мне?.. Хм, а деньги-то? Про деньги, когда они есть, все больше молчат, а кто больше ругает — лицемеры и лодыри, нехорошие люди. По-ихнему деньги — зло. Я раньше, когда Устюша жива была, а особо по молодости, так не думал: деньги мне помогали, с деньгами можно дружить — ими дома, садики детям строят, ракеты запускают в небо, а уж от людей зависит, какими ракеты те сделать — мирными ай военными, куда их повернуть. Так и деньги, у злых людей они злые, добрым они свободу действий дают, разворот... Ну, а мне они теперь так, ни рыба — ни мясо, стало быть, к жизни упал интерес, так понимаю, плохо...

— Ну, а что же главное у тебя, папа?

— Главное? — устремил Тиганов Трофим на сына ясные, синие, еще не выцветшие глаза.— Главное, что ж, остается работа, она подпирает, не дает падать.

— Дадут наряд — неужели взворочаешь все вокруг вышки, красоту такую? — вцепился Егор в отца взглядом.— Ты, бать, хоть что-нибудь понимаешь?

— Понима-а-аешь! Кабы не понимал,— усмехнулся горько отец,— на твоей бы матери не женился, взял бы какую попроще... Я через эту вышку бегал к ней на свиданку во-он куда, в ее-то деревню. А под утро, бывало, возвращался домой, тогда мопедов и мотоциклов не было, ноги за все отвечали. Поднимусь к вышке, присяду, жду солнышка... а родился ты вот, сынок...

— Ну, так срыл бы тот бугор ай не срыл? — стоял Егор на своем, от волнения даже голос присел, стал сырым, сиповатым.

Отец опустил голову, потом поднял ее, покрутил желваками, чубом тряхнул, усмехнулся.

— Хм... нет, не срыл бы, наверно, сынок, — глянул отец куда-то ввысь, поверх дома. — Нет, не срыл бы! Ду-ху, пожалуй что, не хватило бы, точно.

— Ну, вот, — вздохнул Егор облегченно .

Х.

Набил оскомишу этот вопрос, где привязать комплекс — какая, собственно, разница? Может быть, и нигде. Бодраков придал ему на какое-то время значение, чтобы отвлечь от себя внимание: тучки слишком стали сгущаться над его головой. Теперь же, когда он понял, что так сошлись Лихопеков с Егором Тигановым, при-спела пора кончать эту комедию, дальше опа ни к чему. Вот навязло в зубах место привязки этого комплекса — «командный пункт», да гори оно синим огнем!

Солярку к агрегатам, сеявшим горох в третьей бригаде, не подвезли. И механизаторы чуть ли не с кулаками накинулись на Тиганова Егора: полдня простояли без дела. По указанию Бодракова, Егор включил вчера в сводку и передал в районный информационно-вычислительный центр эти гектары, значит, и он несет личную ответственность за искажение данных. И Егор бросился в Ярище, к председателю.

Бодраков куда-то исчез, а в бухгалтерии оставил твердый завет: небольшой «резерв главного командования» никому не выписывать, а кладовщику, под страхом смертной казни, никому ничего не выдавать, даже если в бухгалтерии проявят слабость и выпишут. Коротеевой же наказал, если появится агроном, передать ему устно, что, мол, если надо, пусть съездит сам в Алатырь на железнодорожную станцию, туда, на нефтебазу. По его сведениям, как раз на днях должно поступить горючее, в том числе и солярка. Вот пусть как член правления там и покажет себя, на весь колхоз постарается.

На нефтебазу солярка покамест не поступала, правда, в загашнике у них кое-что было. Человек, ведающий отпуском нефтепродуктов, в том числе и солярки, выяснив, что Егор от колхоза, начал делать ему намеки, напускать туману относительно какого-то «брatца Ивашки, у которого паслись в огороде барашки, съели всего немнож-

ко — пол-огорода картошки и в придачу барана для... выполнения плана».

— Барашки баранину не едят, — не стал входить Егор в глубину слов этого маленького, но начальника и кинулся к большому. Но директор, как на грех, отбыл в областной центр, на головную базу, пробивать горячее, в том числе и солярку.

Егор побежал к телефону: что же дальше делать, к кому идти? Трубку поднял Лихопеков.

— Езжай домой, хватит мотаться, — приказал он. — Я тут распорядился насчет нашего «неприкосновенного запаса»: агрегаты уже работают...

Бодраков встретился ему в коридоре конторы. Проходя мимо Егора, он слегка улыбнулся. «У, лисица, — посмотрел ему вслед Егор, — небось, и во сне кур считаешь». И зашел в общий кабинет за Бронькой слетать на его «вертолете» в третью бригаду.

Проверяя глубину заделки семян, Егор ходил по краешку поля. Рядом урчал агрегат Корнилова Николая, Бронька вел с ним разговоры. На воем «рафике» к ним подскочил Лихопеков.

— Ну, как мы тут? — сделал он несколько шагов в поле и наклонился, ковырнул землю, проверяя глубину заделки гороха. — Надо было сеять его чуть раньше, подтянулся бы по холодку, а то в самую жару пойдет в рост, кабы жара не придавила.

— Не придавит, — сказал Егор. — Не должно придавить.

— Ты уверен?

— Прогноз читал.

— Э-э, — усмехнулся Лихопеков, — был бы дождик, был бы гром. Да кто ж теперь этим прогнозам верит? Это только в Югославии есть один такой дед, который дает точные прогнозы: «Борис Колчицкий сказал»... На небо надейся, а сам не плошай. Нам этим летом надо сделать задел кормов, осенью телочки начнут поступать из Подмосковья, а мы с комплексом все телимся, к месту никак не привяжем... С утра сегодня был на совещании в райисполкоме, собирали со всех хозяйств как раз по вопросу резервов в производстве продукции животноводства, говорили о перспективах. Нас за этот комплекс уже цитировали, почему, дескать, тянем с местом привязки, когда строить будем? Накрутили хвоста подрядчикам, субподрядчикам. Стены, для ускорения сроков, будут возводить

из сборного бетона, крышу — арочную... В общем, на днях заявятся землеустроители во главе с Кондауровым. Бумаги свои, Трофимыч, просмотри еще раз. Бодраков все крутит с местом привязки... В общем, ищем рукавицы, а они, брат, за поясом, так...

— Бригаду надо встретить, как следует, по-человечески, — заволновался Егор.

— Само собой, — дружески улыбнулся ему Лихопеков, — одни ангелы с неба не просят хлеба. — И, уже уезжая к другим агрегатам, сказал ободряюще: — Ничего, все будет нормально. Бодраков не стопчет, свинья не съест.

Лихопеков умчался. Поймав свежий ветерок от Клубря, со стороны Арысь-горы, Егор почувствовал, как захолонуло, сдвинулось что-то в груди: вот и пришло времечко, вот оно и подступило. Не сегодня-завтра приедут делать разбивку комплекса, первое твое, Егор Трофимыч, такое серьезное, принципиальное дело.

Они сели на Бронькин «прбит» и покатали в Ярище. «Хорошо, что «вездеход» у Броньки работает не на солярке», — отметил Егор про себя.

Вот и Ярище, контора. Егор рванул дверь, Бодраков как раз шел навстречу.

— На днях приезжают землеустроители, — выпалил ему Егор.

— Знаю, — скуповато сказал председатель.

— А у нас еще не готово мнение.

— Да, не готово, — смотрел Егору в глаза Бодраков.

— Так ведь и Лихопеков поддерживает идею привязки в старом саду, — стоял Егор на пути председателя.

— Ну, знаете! — вспыхнул Бодраков. — Мнения не черчатки, их просто так не меняют. Зимой Лихопеков стоял за одно, сейчас — за другое. В таком случае, кому надо, укажут и Лихопекову.

— Это же наше дело — выделить место для фронта работ, — настаивал агроном.

— А их дело утвердить или не утвердить! — повысил голос на него Бодраков и, забыв, куда собирался, вернулся обратно к себе в кабинет.

— А старый сад лучше отвечает условиям типового проекта! — уже в спину договаривал Егор председателю.

— Чего это он, Бодраков-то? Вот хозяин-то... Ты, Егор Трофимыч, не уступай, — отозвались голоса перед конторой правления — доярки и механизаторы; сегодня как раз выдавали зарплату.

Егор только сейчас их заметил. Сбежав по порожкам, заторопился привычной дорогой — к развилке, мимо «командного пункта», домой. Уже возле вышки, на другом склоне холма, он увидел песочного цвета «козел». Двое стояли перед машиной. В одном из них Егор узнал Кондаурова, другого человека Егор видел впервые.

— Любуетесь? — подошел к ним Егор.

— Да уж, — ответил сдержанно Кондауров. — Знакомьтесь: один из тех, кто будет строить ваш комплекс, — Зонтиков, командир областного студенческого стройотряда.

— Ну и сами-то вы к чему подошли, к какому решению? — добивался Егор от Кондаурова.

— Напрасно вы так, молодой человек, — изменился в лице Кондауров, однако говорил по-прежнему тихо и сдержанно, перекатывая в глубине горла «р». — Напрасно так думаете... Я хорошо помню вашу просьбу относительно выбора места для комплекса. Но поймите одно: комплекс вам не корова, не конь, привязали к этой ракете, объедена трава — перевязали к тополи, дубу. Это ведь на всю жизнь, навсегда.

— Потому-то к вам мы и обращаемся, — старался говорить Егор помягче, но убедительно.

— Кто мы?

— Молодежь села, специалисты, многие другие труженики.

— Но ведь мне виза нужна на документах, вы же визы не ставите?

— Не ставим, — согласился Егор. — Однако мы здесь хозяева, а не кто-то другой.

— Завтра ребят своих привожу, бригаду, — говорил Кондауров, обращаясь не то к Егору, не то к командиру стройотряда Зонтикову. — А пока на разведку приехал, хочу кое-что выяснить. Если ездить автобусом, дело затянется, а сроки поджимают, тянуть дальше некуда. А если поселимся тут на недельку, надо вкалывать с темна до темна.

— Конечно, надо поселиться, — вырвалось у Егора.

— Это уж какие возможности создаст нам для работы и быта ваш Бодраков, — длительным, всепроникающим взглядом смотрел на него Кондауров.

— Поскорей, товарищи, поворачивайтесь, — подал голос командир стройотряда Зонтиков. — А то не заме-

тишь, как кончится сессия, мы нагреем к вам сюда строить.

— А где жить будете? — поинтересовался Егор.

— А где скажете: в общежитии, в клубе. Вот тут и разбить бы палаточки! Мы не против, мы — народ неприхотливый, не то, что проектировщики, — поддел Кондаурова командир стройотряда. — Это им подавай шашлыки и побольше кваску.

— Вам в самом деле тут нравится? — подошел Егор к Зонтикову. — А рука наляжет коровники строить? Бить кайлом по глазам земли?

— Нам красивую местность встречать не впервой, — говорил тот исключительно для Егора. — Мы ведь строили не только по области, но и по стране, были под Омском, в Молдавии, даже на Сахалине...

— Но ведь если бы для людей, а то ведь для коров! — сказал Егор с болью.

Райцентровские укатили в Алатырь, а Егор как упал лицом в матерые травы тут же в саду, так в них и утонул. Над затылком его волнами шли облака, и тени от них, он знал, стелились по долам, перелескам, то по пахотному, то по травам, и ветер ершил, задирали им бока — то зеленой, то серебряной стороной, такая чересполосица, а там, вдали, оживали под облаками рыжие блики по чернозему — шкура бенгальского тигра. Егор лежал лицом вверх, чуя затылком каждую травинку под собой, и облака эти начали качаться над ним: то притягиваться сюда к нему взглядом, то отходить в бесконечность, в недра небесные, где за этой голубовато-розовой толщей, подсвеченной солнцем, угадывались звездные сочетания, иные миры. Действительно какая же она у нас большая и маленькая, эта наша Земля. Так хочется, чтобы на ней было все хорошо, неужели не могут быть счастливы все одновременно, неужели счастье одних должно строиться на несчастье других? Здесь живут Бодраковы, а где-то там, в Латинской Америке, или с той стороны, возле самой границы, сейчас раздаются взрывы...

Только что говорили о механизации времени. Голоса Зонтикова и Кондаурова продолжали витать тут поблизости, рядом... Да, век девятнадцатый и частично двадцатый создали то, что сейчас мы имеем: культ техники, эпоху умных машин, куда же деваться слабому, если даже создавшему их сильному человеку они оставляют все

меньший шанс, игольное ушко, через которое уже не пролезет верблюд? Значит, человек становится лишним? Лишний человек, лишнее общество, лишнее человечество? К такому ведут людей те, у кого под рукой пусковые кнопки, по чьей команде, вселяя страх и правя им, где-то там, за границей, в Латинской Америке, тела солдат разносят в куски ракеты и мины, а дома, как при любой войне, рвут на себе волосы матери... «Модель всего мира зависит от модели сообществ», — сказал Зонтиков. — «У вас, Егор Трофимыч, пока заурядный колхоз, — продолжил мысль его Кондауров. — А вы создайте себе иную модель — с полетом, одухотворенных и сплоченных честных людей, и вы сами увидите, как дело потянет, подтянет вас, и зло сожмется, и мир станет чище. Он чище становится, когда борются за настоящее дело — с полем, которое надо вспахать, со знаниями, которые одолеть надо, с листом чистой бумаги, с тонной угля под землей. С высотой человеческой, чтобы, одолев ее, стать, в конце концов, самому человеком...»

Высоко в небе раздался щелчок, это переходил звуковой барьер самолет. И тут же, обострясь, к Егору прихлынули запахи разнотравья — тонкие, сладковатые, и такие камфарно-крепкие, что никак не хотели ни с чем сочетаться, так и держались отдельно от первых. Пахнул ветерок и разом прогнал весь этот настой, в смещении воздуха Егор уловил еще не саму свежесть, еще только ее приближение и понял, какой прохладой будет окутана ночью каждая балка, каждая былка.

Окинул хозяйственным оком площади вокруг себя, представил сад таким, как если бы тут везде были кодовники, и понял вдруг, что все у них в самом начале.

XI.

Через день Кондауров привез из Алатыря бригаду. Это был в основном народ молодой, не совсем еще оперенный, не так давно закончили вузы и потому не отвыкли петь песни, по-студенчески подтрунивать друг над другом и хохотать во все горло, едва брались за рюкзак и садились в автобус. Первым делом на добитеньком, купе колхозном «Кубанце» покатали к вышке — на «командный пункт», долго, серьезно оглядывали намеченный парк на холме и окрестности. Ничего не сказав, отправились к старому щербатому саду под самым Ярищем. Тут и заявили Кондаурову:

— Какой разговор! Ну, конечно, этот Тиганов прав. Будем разбивать комплекс именно здесь.

Кондауров перед ними словно помолодел: засмеялся, поддакивая, стал руками размахивать, даже песню под нос себе замурлыкал — их слова для него кое-что тоже значили. И вот он решительно направился к конторе правления, в кабинет к Бодракову.

— Мы приехали, — распахнул дверь Кондауров и кивнул за окно: — Вон бригада.

— Наконец-то, — широко улыбаясь, протянув сразу обе руки, по кабинету шел навстречу ему Бодраков. — Рады приветствовать горожан на нашей земле деревенской.

— Теперь так, — заметил Кондауров, — не известно, кто городской, а кто деревенский.

Стояли друг против друга, и каждый от каждого хотел своего. Один — как бы без лишних хлопот получить визу на привязку комплекса в старом саду, поддержать, так сказать, идею, овладевшую массами, хотя, конечно, можно и настоять на своем мнении как специалиста, но к чему лишние осложнения, авторитета этим себе не наживешь. Другой — как бы сразу взять быка за рога, склонить Кондаурова на свою сторону, пока эти прыткие молодые ребята не успели к нему подкатиться, они такие, с ними ухо держи востро. И потому Бодраков сказал так, как будто другого мнения, иного варианта и в природе не было, чего уж там, дело решенное.

— Мы тут посоветовались, — добавил Бодраков в голос побольше металлцу, — и твердо решили: комплекс привязывать к так называемому... мы тут так называем... «командному пункту», к местности у триангуляционной вышки. Во-первых, и это, скажу вам, самое главное: выбор места продиктован заботой о благе людей — животноводческие помещения будут хорошенько удалены от села. А сие, сами понимаете, фактор немаловажный: скот, и ребенку ясно, — это не совсем, извините, приятные запахи, мухота.

— Н-да, да уж, — односложно повторял вслед за ним Кондауров.

— Во-вторых, фактор пропагандистский: комплекс пока такой первый в окрестности, новое дело... размахнет свои белые крылья в приятном месте, на высотке, издали будет всем виден. Говорят, у нас тут ходит такое поверье, будто сам Лев Толстой, когда писал роман «Война и мир», имел в виду эту высотку. Мол, Наполеон, ес-

ли бы вел сражение в этой местности, выбрал бы для своего командного пункта ее...

— Н-да?! — не выдержал Кондауров. — А почему не Кутузов? И к чему тут Лев Толстой, нечего трепать всуе имя великого человека, дела это не касается... Насколько мне известно, есть еще один вариант — привязать комплекс к старому саду. На наш взгляд, этот вариант предпочтительней.

— На чей это — «наш» взгляд? — уперся Бодраков подозрительным взглядом в главного инженера.

— Науки, дела, которое я представляю, — не смутился ничуть Кондауров. — Как сказал в свое время Леонардо да Винчи, наука — полководец, а практика — солдаты.

— А я вот визу тебе и не поставлю! — налился краской, аж побагровел председатель. — Вот и пляши, как хочешь, со своими солдатами.

— Подпишешь, никуда не денешься — спокойно сказал Кондауров. — Когда нас сюда направляли, велели оформить все в самые сжатые сроки. И так вы тут затянули с выбором места...

— Нет, это вы затянули, вы не ехали к нам сюда, сидели и ждали у моря погоды, — сбылся Бодраков. — А приехали — не хотите работать. И я доложу, кому следует.

— А я доложу, что вы тут сами резину тянете. А когда мы без вызова, сами приехали, оказалось, что к делу подошли недобросовестно, вместо серьезных рекомендаций суете нам первое попавшееся место. А когда мы как специалисты все же находим подходящую точку, вы еще и палки в колеса вставляете. Мы должны сделать все экономично, рационально, без всяких потерь. Как сказал один известный ученый, мы имеем всего один экземпляр Вселенной и потому не можем экспериментировать...

— Да что вы все лезете ко мне с именами, цитатами! — стоял на своем Бодраков.

— Да вы же с имен-то и начали, Финаген Ксаньч, забыли? — усмехнулся инженер из Алатыря. — Наполеона-то на этой вышке кто помянул ненароком?

— Наполеона, Наполео-о-на-а — заворчал, тоже снижая тон, Бодраков. — Юмора не понимаешь... Наполеон-то Наполеоном, а вот визу тебе не подпишу. И без шуточек, гори оно синим огнем.

— Как знаешь, Финаген Ксаньч, — пожал Кондауров

плечами. — Давай, жми на всю катушку, если тебе керосину не жалко. А насчет размещения моих ребят и питания все же распорядись, к тебе ведь люди приехали и не на гулянки — работать.

— Дам команду, — буркнул Бодраков, — не обидим. — И заворчал под нос себе про это свое клятвое-расклятое председательское положение, про колхоз весь такой-рассякой. «Кто в лес, кто по дрова, — нащупывал Бодраков нужную стежку. — Это наши со своим «ре-альным» мнением успели к Кондаурову подкатиться, ну и прохвосты!

И Бодраков перенесся мыслью на то, как все-таки приструнить ему если уж не Лихопекова — этот слишком матер, ходит сбоку, в бой напрямую не лезет, то хотя бы более податливого из двоих, этого сосунка Егора Тиганова. Бодракову припомнились картинки из своего детства, когда давным-давно, еще перед войной, бригадир на их крае села, не поладив с отцом Финагена, использовал прием, наверное, всех времен и народов: для пущего воздействия на Бодраковых стал подтравливать его, Финьку, — надежду и опору отцову. То погонит с мужиками в лютую стужу в извоз, то пустит слушок, что у Финьки-де от тяжелого подъема «пуп развязался», негоден-де ни на что, чтобы девки шарахались. «Ты у меня в люди вылезешь, я тебя прикатаю», — грозился бригадир, создавая о нем вседеревенское мнение. Тогда, по молодости, Финаген особо не понимал серьезности бригадировых действий. Только теперь вот, с годами, с нажитым опытом, обозревая иной раз свое прошлое, Бодраков оценивал по существу многое из того, что вершилось тогда в их большом и крепком селе.

Если, бывало, пустят славу, что мать твоя — драная кошка, в лопухах с приезжим начальством спала, то сестрам твоим хоть тут не живи, все равно замуж не выйдут. Так и будет переходить эта слава от матери к дочери, от дочери к внучке. Зато, если дед твой был шибко грамотный да еще имел перед обществом кое-какие заслуги, то и внуку, глядишь, найдется в сельсовете какая-нибудь должностипка.

Вот отчего иногда молодежь уезжает из деревни: не хотят нести родительский крест, на новом месте — новая жизнь. Дела-а-а!.. А у этого сосунка Тиганова Егора отец, Трофим, сколько он, Бодраков, его знает, был пьянчужой, от зеленой не просыпался, если не на мильен, то на добрых полсотни тысяч, это факт, угробил колхоз-

ной техники. А сынок его в город съездил, образование там получил, а теперь разоряется тут, он радатель общественного, а мы, выходит, тут все дураки, частный сектор, кулаки недобитые.

Сосед у Трофима, что справа — Алтахов Степан — в город подался, а Трофим распахал межу, прирастил огород своей теще. Опузатился картошкой, никакие «колорады» у него ее не берут, кооперацию осенью загружает — вот тебе и автомобиль марки «Москвич». А Егор на нем ездит, неплохо устроился. Мы за жабры его и подцепим. По закону, не придерешься, теще Трофимовой огород тоже вроде положен, век в колхозе работала, а фактически результатами пользуется агроном. Превышение площади, использование служебного положения... Пропустить все через Куротееву, эта пока безотказная, его председательский рупор-динамик, недаром говорят. У такой «динамки» — уже проверено, истинно — муха мигом обернется слонем, а слон — мухой, а ты после отбеливайся, что ты не какой-нибудь дизель, который работает исключительно на сливочном масле... Поссорь, боже, народ — накорми воевод, а что делать? Так опутали они его — этот Тиганов Егор с Лихопековым. Молодые, да ранние. Современные. Втихаря, незаметно, а такие сети расставили, что скоро не то, что работать, — жить, даже дышать невозможно будет, как сплели моток вокруг шеи.

Умственное напряжение, вызванное разговором с алатырским инженером-землеустроителем, плохо сказалось на настроении Бодракова. В душе образовался изъян, прорва какая-то, яма, куда разом просыпалось все, что вынашивал он в себе долгие годы. Вместо этого рядом, словно гора, взявшись ни с чего, появилась и росла до уже необъятных размеров тревога. И в центре ее было то, что Бодраков вдруг стал себя понимать, что он не единственный на земле, что есть на земле и другие, которые все воспринимают не хуже его, может, даже и лучше его самого, и даже делают, пожалуй что, лучше, если уж лучше все воспринимают. Вот как. Ему вдруг сделалось ясно, что, пока он председательствовал, не заметил, как рядом встали другие. А они, другие, в это время учились, постигали жизнь и шли неуклонно вперед. Теперь он стоит перед ними, и фразочкой уже не отделаться, люди идут за теми, кто больше знает и может. Вот оно перед ним — отсюда и в необозримое будущее, время специа-

листов... А визочку Кондаурову он все-таки не поставит.

На другой день Кондауров развил активность: с одним встречался, с другим разговаривал, выяснял различные мнения относительно места привязки комплекса. Бодраков наблюдал за ним искоса, но покамест не вмешивался, пускай себе тешится, лишь бы с Лихопековым да Тигановым Егором не состыковался. Во избежание этого Бодраков услал одного на станцию — лесоматериал для колхоза пришел, срочно надо вывезти груз, чтобы не платить за простой вагона железнодорожникам, другому — придумал дело в отдаленной бригаде. Весь день сегодня оба прокрутятся, а там видно будет, что делать завтра.

С утра алатырские землеустроители устраивались в клубе, куда Бодраков приказал перебросить для них из кладовой койки с панцирной сеткой и постельные принадлежности. А потом целый день пробыли на пруду, у всех на виду гоняли бреднем рыбу прямо возле щита, на котором зияло крупными буквами воспреещение Бодракова. Когда Бодракову доложили о таких неприглядных действиях приезжих из города, он и это выдержал: ладно, что поделаешь, — гости. К вечеру гости тут же, на берегу, запалили костер и под жареную рыбешку угощались тем, что сами же приносили сюда из кооперации. Песни свои они допевали в помещении клуба, куда уже при луне провожали друг друга спать.

Бодракову того и надо было. С полвосьмого он, как обычно, появился в своем кабинете. Тут же (вероятно, следил за ним из окна клуба) к нему прошествовал Кондауров.

— Головушка не болит? — поинтересовался председатель.

— О чем речь? — пожал плечами главный землеустроитель.

— О работе, — сдвинул Бодраков брови. — Целый день вчера прорыбачили. А к вечеру докатились до песен, песни пели.

— И заметьте где — в клубе! — улыбнулся в ответ Кондауров. — А мы всегда поем, у нас даже диплом за участие в областном смотре имеется. А какие претензии, что, плохо пели?

— Пели-то вы хорошо, — сказал тоже с усмешечкой Бодраков, — да про вашу самодеятельность вынужден,

повторяю, сообщить в райисполком. Сейчас вот, сию же минуту!

— За тем сюда к вам и пришел, — так же спокойно сказал Кондауров. — Из вашего же кабинета буду тоже звонить и в райисполком, и куда повыше, в область. Если и сегодня не дадите фронта работ, сворачиваемся и уезжаем назад. Больше вам тут песни петь не намерены. А рыбу мои люди ловить были вынуждены: в колхозную столовую на довольствие не поставлены, а в магазине у вас тут одни консервы «Завтрак туриста»...

— На довольствие не поставлены? — живо поинтересовался Бодраков.

— Не поставлены.

— Мне Коротееву! — крикнул в пустой коридор председатель. — Я же распорядился.

— Кто она у вас тут — заместитель или за председателя? — спросил Кондауров. — Она вчера больше всех из себя выходила.

— Исполняет тут... распоряжения, — замялся Бодраков и выскочил из-за стола сбегать распорядиться, чтобы в бухгалтерии выписали продукты для приезжих из города на сегодняшнее число и так далее.

И тут дверь распахнулась, в проеме стоял Лихопекков.

— Ты почему так быстро? Не поехал, что ли, на станцию?! — набросился на него Бодраков.

— Ложные данные, — не глядя на него, проходил вперед Лихопекков. — Вагоны с лесоматериалами еще не поступали.

— Не ставит визу начальник-то ваш, — не то пожаловался, не то просто так сказал Кондауров. — Вчера по его вине пробездельничали, рыбку ловили, сегодня клубничку пойдем собирать, а завтра...

— Ягодки собирать рановато, еще только цветут цветочки, — ответил ему Бодраков.

— Вот-вот, махровым цветом цветут, — продолжал смотреть Кондауров на Лихопеккова.

— Да что вы тут, право, в бирюльки, что ли, играете, Финаген Ксаныч?! — шагнул Лихопекков на председателя, желваки на скулях его так и окаменели. — Меня специально на станцию отправляете, хотя заведомо знаете, что вагоны еще не поступили. На документе визу не ставите, срываете землеустроителям начало работ... Товарищ Кондауров, — повернулся он к ивжеверу, — я

сам все, что надо, согласую с начальством и сам, если надо, поставлю подпись.

— Попробуй! — угрожающе сдвинулся с места Бодраков.

— Знаете, Финаген Ксаныч, это как называется?

— Что называется?

— Ну, когда низы не хотят, а верхи не могут.

— Знаем. Труды классиков от корки до корки...

— Так вот это называется — халиф на час, ясно? — хлопнул дверью, уходя, Лихопеков. — Я сейчас не звать буду, а поеду в район и лично расскажу обо всех, Финаген Ксаныч, о ваших художествах.

— Поезжайте! — перешел сразу на «вы» с Лихопековым Бодраков и совсем другим тоном, значительно мягче, обратился уже к Кондаурову: — Ну, что там у нас на повестке?

— Визу, Финаген Ксаныч, — раскрывая папку с бумагами, сделал шаг к нему Кондауров. — Мне, в конце концов, все равно, — хитрил он, — где привязывать этот ваш комплекс. Это ваше тут внутреннее дело, а я вам его хоть у чертей на куличках, хоть на луне привяжу. Но, насколько я понимаю, Финаген Ксаныч, общее мнение, подкрепленное мнением специалистов, склоняется в пользу старого сада. А вы один... да, лично вы... встали поперек, как, извините, какая-то статуя.

— Я не статуя, — вздохнул Бодраков, вытирая носовым платком лоб, потом шею. — В том-то и дело, что не статуя, а человек. Столько лет, братцы мои, работал, тянул возище, а теперь, значит, статуя. Ясно выразился этот... мой заместитель: революционная ситуация, и мне пора, выходит, на свалку, под меня уже молодцы этикие подставлены.

— Не расстраивайтесь, Финаген Ксаныч, не надо, к чему уж, — говорил Кондауров вкрадчивым голосом, а тем временем клал раскрытую папку перед председателем.

— Спасибо на добром слове, инженер, — поднялся Бодраков, сказал устало: — Но бумагу я тебе пока что не подпишу, подожди со своей визой маленько. Согласую с районом — дам знать. Часок-другой дела тебе не испортит.

— Хорошо, — взял папку свою Кондауров под мышку и спокойненько вышел: он умел быть человеком.

Бодраков смотрел ему в спину, в его пиджак с кокеткой из искусственной кожи и сам думал о жизни, о Ли-

хопекове: будет ставить в известность начальство или не будет, кто позвонит к ним туда первым?

Полдня Бодраков просидел у телефона в размышлении, не зная, что делать ему с Кондауровым, вот навязался на его голову. Не знаешь, как и выкручиваться, чтобы волки были сыты и овцы целы. Вопрос заострен теперь так: не просто надо поставить визу, а поставить ее там, где требует алатырский инженер, что равносильно тому, чтобы выполнить волю этих... Лихопекова и Егора Тиганова.

Перед обедом к нему подкатилась Коротеева и сказала, что «динамка» закручена, она лично высветила перед кое-кем из людей удаленный смысл комбинаций колхозного агронома, в результате чего он ездит на новеньком «Москвиче». Бодракову опять отчего-то вспомнилось свое детство, молодость, родное село и бригадир, севший на шею их с отцом, и ему сделалось неожиданно горько за себя, так прескверно. И подумалось ему, что жизнь-то у него не в ту сторону побрела, если он связал свою душу с дьяволом, ему, дьяволу, дай только мизинец, он всю руку тебе по локоть оттяпает...

ХИ.

Лихопеков встретил Егора во дворе мехмастерских уже после обеда и сообщил, что Бодраков бумаги все-таки подписал и землеустроители уже приступили к делу. Чтобы удостовериться в этом, они тут же вдвоем заторопились в старый, щербатый сад. На ходу Лихопеков рассказывал, что Егору уже было известно: Бодраков — одновременно с визой — разрешил молодому, недавно присланному в хозяйство зоотехнику заселить дом, где была библиотека.

— Ничего, первый же, — успокаивал Лихопеков Егора, — из двух домиков, что строят шефы, будет твой. Поселишься, брат ты мой, на новой улице, в двухэтажном коттедже, обещаю тебе, Трофимыч.

— Да я что, я ничего, мне и в Тигановке неплохо, — сдерживался Егор. — Это все Миля взлотошилась сюда, на центральную, к школе. Детей, какие еще в пеленках, учить собирается.

— И правильно делает, — возразил Лихопеков.

И оба подумали о Бодракове, о том селе, откуда наш председатель родом. И оба одновременно — Тиганов Егор с Лихопековым — подумали так же о бренности жизни,

о ее скоротечности, неумолимом движении, в котором заложен элемент жестокости, беспощадности обновления. Истину изрек тот, кто сказал: грехи нам пишут на металле, заслуги чертят на воде. Все воздается сторицей, металл держит лишь очертания буквы, а не сам ее дух...

В саду, среди сухостоя, пропавшего за какие-нибудь три-четыре года обширного вишняка, уже кипела работа. Землеустроители — в ярких, различных расцветок рубашках и одинаково зеленых брезентовых штанах — рассыпались по всей площади объекта и что-то замеряли, наклонясь, целились вдаль через свои приборы, переговаривались на расстоянии, возбужденно смеялись.

Кондаурова нельзя было узнать. Он был сейчас остр на слово, энергичен, переходя от одного к другому, запуская всю эту механику. Как-никак первый объект в текущем сезоне, за зиму засиделись в своих кабинетах, скисли от бумаг, истосковались по настоящему делу.

— Ну, и как вы, орлы? — услышал Егор Лихопековский голос.

— Ребята рвутся в бой, — отвечал за всех Кондауров. — Вот тут, смотрите, целесообразно спроектировать водонапорную башню, а здесь рекомендую посадить кормоцех, тогда по этой прямой пойдет по конвейеру кормораздача от коровника к коровнику. Современное, удобно, экономично... Первый коровник, кровь из носу, должен быть смонтирован уже к этой зимовке, так?

— Подошлю, сюда вам бульдозер, — сказал Лихопекков. — Пусть срежет эти бугры, легче будет работать... Да, инженер, где-то в конце лета к нам уже поступят телочки из-под Талдома, из Подмосковья. Так что ты, Трофимыч, давай наращивай кормовую базу.

— А что, охота тут ничего? Места у вас знатные, — живо поинтересовался Кондауров.

— Места-то знатные, — улыбнулся Егор. — И рыбалка хорошая, даже стерлядь водится, триста рубликов хвост.

— Ды ну? — округлились глаза у Кондаурова.

— Вот тебе и «ды ну», — раскатисто, во все горло расхохотался Лихопекков, от всей души засмеялся Егор.

И обоим было так хорошо, так долго они поджигали друг друга, что легко становилось телу, просто ноги от земли отрывались от каждого нового взрыва смеха. Как и не было за спиной последних месяцев жизни, длинных таких, изнурительных дней.

— Да пу вас, — отмахнулся от них Кондауров и пошел по объекту. А Егор с Лихопековым еще долго стояли, оглядывали и словно впервые видели этот старый, заброшенный сад. Егор чувствовал рядом локоть товарища, он боялся еще назвать Лихопекова другом.

— О чем ты думаешь? — спросил его Лихопеков.

— Стою на вышке, — сказал очень серьезно Егор, — а надо мной летят белые чайки с черным в подкрыльях. Игра такая: у каждого поколения разное, у кого как: белого или черного больше или меньше под крыльями, это сколько им передали родители, ведь так?

— Так, — кивнул ему Лихопеков: он думал о том же.

— Я как понимаю войну, — прикрыл Егор веки, — это — когда подлость, отсталость, ненужность людская цепляется за свои привилегии, не хочет сходить со сцены, а молодое, здоровое тянется к солнцу, как его не пустить?

— Я понял тебя, — сказал Лихопеков, выходя из-под вишни на освещенное место. — Все дело в том, чтобы человек сам себя контролировал, так?

— Так, — кивнул Егор: он думал о том же.

С краю сада толпился народ. А ярищенцы все подходили, не решаясь двинуться дальше, оглядывая привычную местность и не привычную для нее суету, землеустроителей в ярких рубашках. Возле Природина о чем-то оживленно говорили механизаторы, из которых выделялся головой на длинной и тонкой шее Колька Корнилов. Здесь же была Вера из почтового отделения, Катюшка Добренкова из столовки, даже дед Комолый оказал честь, притащился. Конторские во главе с Коротеевой держались отдельно.

Природин приблизился к ним, поздоровался за руку.

— Ну что, начали ребята? — кивнул он на людей Кондаурова.

— Как видишь, Евсей Нилыч! — по-мальчишески звонко вырвалось у агронома.

— Еще один бугаек объявился, — не выдержала Коротеева.

— Заимел силу, — засмеялся дед Комолый, — вот голосок и прорезался.

— А ты бы, петух, помолчал, ты свое откукарекал, — поддела старого Коротеева, и все ее окружение грохнуло, закатилось от смеха.

Егор заспешил домой поделиться радостной новостью.

Лихопеклов уловил его желание и подумал об обещанном им жене Егора — когда еще было! — стандартном домике, с старой библиотеке, которую Бодраков отдал под жилье сейчас молодому зоотехнику.

— Едем вместе, — сказал Лихопеклов, направляясь к «рафику». — Беру все на себя.

Проезжали мимо столовки, отметили каждый: в глубине двора стоял мотоцикл Броньки, ну и прохвост, этот Бронька! За медпунктом сверкала свежей побелкой старая библиотека. Дом, который Лихопеклов обещал Миля, теперь доставался другим...

Миля приняла оба известия одинаково невозмутимо.

— Поздравляю, — сказала она мужу и Лихопеклову.

— С чем? — спросили они ее в один голос.

— С победой, — смотрела она серьезно на них. — С вашей и Бодракова.

— Н-но... М-Миля, — двинулся было к жене Егор.

— Конечно, — улыбнулся с иронией Лихопеклов, — надо же Бодракову чем-то утешить себя... Да вы, Эмилия, не переживайте, первый же дом, что сдадим на центральной, будет ваш с Егором. И место в конторе вы займете согласно вашему образованию — экономиста. Все образуется...

Устинчик таскал Лихопеклова за нос, за уши, за волосы, не хотел отпускать.

— А мы и не волнуемся, — одевая, целовала Миля Устинчика в голое пузочко. — Чего нам с тобой, сынок, волноваться. Мы и знали, что это просто слова, только слова... А мы возьмем да вытащим свой первый диплом педучилища, да и пойдем в Селиванову школу, сами будем учить Ивашку... А ты, отец, сходи к бабе Гале, принеси нам с Устинчиком парненького молочка.

— Хорошо, — сказал Егор и вышел из дому вслед за Лихопекловым.

«Рафик» скрылся из виду, и Егор еще долго смотрел ему вслед. «Надо же, что придумала Миля! В шутку или всерьез она про Селиванову школу?» Отца дома не было, еще не приехал с работы, и Егор не утерпел, поделился новостью с бабкой Галей про то, как уже шурует вовсю в старом саду Кондауров, и про то, как молодой зоотехник тут же купил в сельмаге и уже поставил в дом шифоньер. Чтобы сгладить впечатление, не забыл упомянуть и про обещание Лихопеклова, на что старая тут же и

сказала: «Ну вот, когда зубов не стало, и орехи принесли».

По посадке, «Светлым березовым ходом», вниз сюда от автобуса, спускался отец. Подошел и сказал, просветлев, со значением:

— Кустик розы той, сынок, у мамы твоей, у Устиньито... зацепился. Ходил туда сам на днях, видел. Сидел-сидел черным, хоть выкидывай, а тут вдруг взял и дал первый листок, значит, прижился, дело пойдет.

— Хорошо, — сказал сын.

Ноги сами несли Егора к кладбищу, где лежала она, его мама, Устинья.

Она перед ним была все такой же, что и совсем ведь недавно. Всегда жива в его памяти, особо с тех самых дней, как он вернулся сюда в Тигановку обратно из города. Легко листику оторваться от ветки, попробуй приставь. Егору вспомнилась вдруг одна картина из Третьяковки, кажется, Иванова. Не та, что в полстены, — «Явление Христа народу», а рядышком, маленькая, локоточком прикроешь, а как держится перед глазами: отдаленный пейзаж и одинокая ветка... отчаянно вытянулась на ветру...

Такое иной раз тут им овладевало отчаяние, что хоть волком вой, а к чему туда возвращаться? И вспомнить-то в городе нечего, как хлебнуть пришлось.

Комплекс встал перед ним, как из сказки, — белокаменный, прямо дворец. А за ним глаза мамыны. Они утягивали его к себе, Егор торопился, почти бежал к ней туда на заросли.

Он нашел на кладбище могилку Устиньину — своей матери. Могилка была, конечно, там же, где и была. Да вот он в изголовье и куст, высаженный отцом! На ветке один-единственный листик. Осилил распуститься, голубчик. Егор повел взглядом и только тут заметил, что кругом все зеленое, буйное. Пока отошел только листик, за листиком еще листик, потом еще и еще, вскоре, надо думать, все зацветет, покроется шапками. Интересно, какими — желтыми или, как у Адамовой мельницы, голубыми? Все, конечно, зависит от почвы, в которой все наши корни...

И вдруг Егора пронзила боль где-то там, под рубцом, где прошелся со скальпелем доктор. Этого еще не хватало! И в преизбытке чувств, почти теряя сознание, Егор ухватился за куст и низко, в пояс, поклонился земле:

— Здравствуй, мама. Я пришел к тебе, видишь? Вернулся сюда насовсем.

А через день Егор взял с собой Ивашку, и они пошли в Козюлькин лес по грибы. Ноги сами внесли их на верх, на Арысь-гору. Так здесь высоко, так видать далеко, аж до самого Ярища. Большак на гряде, по всхолмленной равнине, как на ладони. Редкой ночью по нему, прокатанному машинами, в едком бензиновом запахе, не протрусит к колхозной конюшне, к молодой жеребятинке, лобастый волчище; такой мудрый — след в след — по торному пути убегает обратно. А зимой от поселков, напизанных, как ожерелье, по чистюнькинской пойме, в снеговой сиренево-белой заверти просвистит за матерым самокатный «буран»-вездеход...

— Вся страна перед нами — не объехать, не облететь, — сказал Ивашке Егор.

— И дела, и науки встретятся разные! — ответил Ивашка Егору.

И сказали тогда оба вместе, а Чистюлька-речка с Падуна ответила эхом:

— Будет день («будет день»). Будет ночь («будет ночь»). Будут ветры в лицо («ветры, ветры в лицо»). Пронесем же сквозь них

ясность души,

беспокойство свое,

правду чувств и поступков,

и мужество.

г. Орел

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	128
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	286

Леонард Михайлович Золотарев

КОРМИЛЬЦЫ

Редактор *В. П. Перкин*

Художественный редактор *В. С. Корнеев*

Технический редактор *Н. Ф. Кленова*

Корректор *Н. Г. Пролетина*

ИБ № 1502

Сдано в набор 23.12.85. Подписано в печать 21.05.86. ЦП 06466. Формат 34×108¹/₂. Бумага типографская № 2. Обыкновенная новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,48. Уч.-изд. л. 19,83. Тираж 30 000 экз. Заказ № 829. Изд. № 68. Цена 1 р. 60 к. Приокское книжное издательство, 300000, Тула, Красноармейский пр., 25, корп. 1. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, пр. Ленина, 109

№ 60к.